

# ЛЕОНИД ЛЕОНОВ



Пирамида



ВСЕМИРНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Леонид Леонов

# **Пирамида**

«ЭКСМО»

1994

## **Леонов Л. М.**

Пирамида / Л. М. Леонов — «Эксмо», 1994 — (Всемирная литература)

«Пирамида» – философско-мистический роман Леонида Леонова, над которым писатель работал на протяжении более чем сорока лет. Будучи закончен вчерне, увидел свет в год смерти автора (1994) в трёх спецвыпусках журнала «Наш современник» с подзаголовком: «роман-наваждение в трёх частях». В произведении рассказывается о приходе на Землю ангела, который представляется Дымковым. Цель его визита на Землю неизвестна. Он выходит на контакт лишь с девушкой-медиумом Дуней Лоскутовой. Дымков начинает выступать в цирке с фокусами в труппе артиста Дюрсо, дочь которого, киноактриса Юлия, пытается соблазнить ангела на дела, выгодные ей лично. Встречается с Дымковым и Сталин, но ангел на сотрудничество не соглашается. В отдельных главах Дымков и Дуня путешествуют по параллельным мирам и планетам, наблюдая в основном распад и гибель цивилизаций. Другой сюжет романа – история Вадима Лоскутова, сына священника, убежденного коммуниста, пишущего роман о древнем Египте, о строительстве огромной пирамиды для фараона. Роман сложен, полифоничен, до предела перегружен философскими отступлениями, но безусловно интересен для внимательного, заинтересованного и терпеливого читателя

© Леонов Л. М., 1994

© Эксмо, 1994

# Содержание

Часть 1. Загадка	6
Глава I	6
Глава II	12
Глава III	18
Глава IV	21
Глава V	31
Глава VI	39
Глава VII	48
Глава VIII	52
Глава IX	57
Глава X	66
Глава XI	72
Глава XII	81
Глава XIII	90
Глава XIV	103
Глава XV	111
Глава XVI	125
Глава XVII	130
Глава XVIII	137
Глава XIX	149
Глава XX	157
Глава XXI	163
Глава XXII	176
Конец ознакомительного фрагмента.	192

## Леонид Леонов

### Пирамида

Не рассчитывая в оставшиеся сроки завершить свою последнюю книгу, автор принял совет друзей публиковать ее в нынешнем состоянии. Спешность решения диктуется близостью самого грозного из всех когда-либо пережитых нами потрясений – вероисповедных, этнических и социальных – и уже заключительного для землян вообще. Событийная, все нарастающая жуть уходящего века позволяет истолковать его как вступление к возрастному эпилогу человечества: стареют и звезды.

Однако наблюдаемая сегодня территориальная междоусобица среди вчерашних добрососедей может вылиться в скоростной вариант, когда обезумевшие от собственного кремешного множества люди атомной метлой в запале самоистребления смахнут себя в небытие – только чудо на пару столетий может отсрочить агонию.

Из-за недостаточной емкости памяти людской события угасающей поры хранятся ею в тесной упаковке мифа или апокрифа, вплоть до иероглифа. Громада промежуточного времени, от нас до будущих хозяев омолодившейся планеты, уплотнит историю исчезнувших предшественников в наконец-то прочитанный апокриф Еноха, который объясняет ущербность человеческой природы слиянием обоюдо-несовместимых сущностей – духа и глины. Гулкое преддверие больших перемен надоумило автора огласить свою, земную версию о том же самом на страницах предлагаемой книги.

*21 марта 1994 года*

*Автор*

## Часть 1. Загадка

### Глава I

Поздней осенью предвоенного года меня постигло очередное огорчение ремесла с мотивировкой, сулившей на сей раз наихудшие последствия. В письме вождю, объясняя уже состоявшуюся премьеру опальной пьесы передоверием театра к литературному имени автора, последний просил взыскивать с него одного. Неделью спали не раздеваясь, в ожидании ночного стука в дверь, поневоле мирясь с тишиной, пока опережают более срочные кандидаты на возмездие и длится сезонно-ведомственная перегрузка.

Опасаясь заразить друзей самой прилипчивой и смертельной хворью лихолетья, сидел в своем карантине до поры, когда вдруг потянуло отдохнуть от судьбы. После нескольких проб наудачу наметился постоянный маршрут вылазок за горизонт зримости.

Стояла туманная погода с таинственно призывающей миражностью. По-трамвайно, с пересадками ехал до последней остановки и потом вдоль всяких новостроек, обреченной на снос деревенской ветоши и зеленых заборов птицефабрики, мимо пустыря с горелыми бараками; и, помнится, сквозь знобящий зуд, смрад и лязг дорожных машин выходил наконец в морозящий загородный простор. Для надежности еще чуток тащился по раздолбанному грузовиками проселку, чтобы у сворота на Старо-Федосеево подняться на высокую насыпь древнего, царской булыгой крытого тракта, уводившего во глубину сибирских руд и дальше – еще страшнее. Отсюда полчаса ходьбы до облюбованного мною уголка на земле.

Так, к сумеркам, добирался я до старинного, в черте окружной железной дороги Старо-Федосеевского некрополя. Основанный в екатерининскую пору, он стал у москвичей заветным местом для раздумий о потустороннем, а там, глядишь, и самого погребенья, где вдали от городской суеты, под сенью раскормленной сирени и среди скромных современников покоились со своими супругами забытые ныне столпы отечественной коммерции, медицины, адвокатуры и сцены, а также их усопшие малютки. Снаружи к дремучему тамошнему древостоя примыкала опрятная березовая рощица, освоенная окрестными жителями под бытовую надобность выходного дня. Подтверждалось, как обожает молодая жизнь резвиться у гробового входа. К шелесту палого листа под подошвой то и дело примешивался хрустящий отзвук недавних гулянок, компанейских общений с возлияниями. Здесь, на пяточке моей пустыни, под утешный скрежет битого стекла кружил я, слагая мысленное, с отказом от ремесла, послание потомкам.

Меня приманил слабый загадочный свет меж обнаженных ветвей в глубине. Через повернувшийся лаз в кирпичной кладке кладбищенской ограды с холодком в спине двинулся я на ощупь среди крестов и статуй. Удача вывела меня к древнему храму, смутно белевшему сквозь изморось под пологом низких лохматых небес. Судя по благодному сиянию в глубине оконных амбразур, там внутри шла прощальная вечерняя служба. В воображении моем косяком вытянутая на восток, обитель мертвых удивительно походила на корабль перед уходом в невозвратное плаванье. Все было готово к отплытию: провожатые давно разошлись, пассажиры мирно почивали по каютам. Стая предзимнего воронья шумно кружила над погостом, устраиваясь на ночлег, словно ветер иной, запредельной непогоды клекотал в черных рваных парусах. И уже на паперти опознанный отрывок церковного напева отозвался во мне гулом целительных детских воспоминаний, и не было сил сопротивляться их властному зову. Не обошлось без колебаний, как могло состояться богослужение в храме, закрытом две пятилетки назад ввиду упразднения православного кладбища под центральный стадион с воинствующим на фронте девизом безбожья: в здоровом теле здоровый дух, который по Ювеналу, кстати, достигается

лишь упорной молитвой богам. Вдруг мнимая палуба качнулась подо мною. В запасе еще оставался целый миг для бегства, но одержимость моя оказалась сильнее непонятного страха.

Я перешагнул порог и, отойдя в сторонку потемней, огляделся.

Всенощная подходила к концу, и близился тот умиротворяющий момент, когда корабельщик в алтаре поручает Всевышнему довести его утлое суденышко на вечное пристанище **вскрай** моря.

После знобящей осенней мглы в лицо повеяло приветным теплом горящего воска. Храм представился мне просторнее своих истинных размеров за счет полупотемок и той гулкой тягостной пустоты, что наступает в таких зданиях перед уходом божества. Два мощных столба сводчато подпирали нависавший сверху сумрак ночи. Чем жарче вера, тем проще требуется ей жилище; невеселая скудость сияла вокруг. Осенняя сырость сползала из дырявого купола, и ветерок запустенья раскачивал пламя свечей. Некому стало залатать кровлю, прибрать сизый и плоский, невесть откуда взявшийся и как бы приступкой служивший камень у подножья колонны. Апостолов и патриархов на фресках виднелось больше, чем молившихся внизу понурых богомолок. Теснимые плесенью праведники на верхних ярусах по частям покидали обреченную обитель. От иных только и сохранилось – осеняющее троеперстье, развернутый свиток в руке, клочок святительского омофора. Уцелевшие, похоже, вопросительно, как в неминуемую судьбу свою, вслушивались в доносившийся к ним с левого клироса чистый, глухим стариковским дребезжаньем сопровождаемый, девичий дисканток, потому лишь на той серебряной ниточке и удерживался весь корабль у причала. Трудно было уловить смысл исполняемого ирмоса, звучавшего подобно **вокализу**, куда каждый вправе вкладывать **свое** содержание. Пленительный голос принадлежал совсем юной девушке в венчике из плетеных косичек. Ей вторил старик в округлой, неухоженной бороде. Втроем со священником в алтаре они составляли церковный причт бывшего старо-федосеевского погоста.

Поющая девочка на клиросе сразу привлекла мое внимание. Худенькая и простенькая, она могла показаться дурнушкой, не мне однако. Сияние пылающих свечей поблизости придавало юной певице призрачную ореольность, усиленную наброшенным с затылка газовым шарфиком. Кроме того, во всем ее облике читалась та кроткая, со скорбной морщинкой у рта отрешенность от действительности, возмещаемая ранним прозрением вещей, недоступных ее ровесницам, что в простонародной среде всегда служила приметой особого благоволения небес, а в науке – проявлением душевного расстройства. Время от времени, склонив голову на бочок, она не по возрасту озабоченно внимала кому-то прямо перед собою, и я осторожно сменил место – узнать, кто ее незримый собеседник.

Сквозь плывущее свечное мерцанье виден был по каменному своду колонны изображенный в полный рост, узкоплечий, скорее долговязый, нежели просто высокий, и чем-то не по-земному привлекательный юноша; и хотя без обычных примет небесности, сразу в нем опознавался ангел. Непостижимо, как было ему канонически дозволено вместе с высшими чинами архангельского звания оказаться на церковной фреске дальше паперти, где по обе стороны от входа белоснежно-крылатые вестники записывают на длинных свитках имена нерадивых прихожан, досрочно покидающих богослуженье. В отличие от них здешний был в холщовой по колено рубахе, и с опояски на ремешке у него свисала связка крупных старинных ключей, что указывало на охранительную должность у загадочной, нарисованной позади него, на мощных петлях, кованой двери – входом неведомо куда. Какая-то сокровенная эпопея из тех, что заслоняются от нас шумной повседневностью, разыгралась тут незадолго до моего прихода. Она еще излучалась из самих стен, словно проходящая звезда начинила все кругом своим сверканьем и заодно породнила певчую девочку и ангела навек в некоем нездешнем качестве. По тогдашнему настрою моему немудрено было увидеть, как, чуть отслоившись от колонны, он молча, вполоборота, по странной птичьей повадке – сверху вниз, произнес подружке не услышанное мною слово, в ответ на которое она обронила такую же рассеянную и неразгаданную

улыбку... И тотчас, повинувшись навыку ремесла, я поднял свою чудесную находку. Вряд ли поток нагретого воздуха от горящих свечей мог шевельнуть широкий рукав ожившего ангела, причем явственно звякнули ключи от затаившегося здесь клада. Меня пронзил озноб открытия.

Предвестие желанного недуга вытеснило недавнюю горечь, превращаясь в тугое бесноватое пламя. Напрасно прежние, в порядке очередности созревающие души ненаписанных книг ломались из меня наружу, как из горящего дома. Им приходилось посторониться, пока через кончик пера, как по трапу, не сойдет на бумагу скромная, с веснушками и в ситцевом платице, снаружи ничем для глаза не примечательная девочка со старо-федосеевской окраины. Отсюда смутная, пока столь заманчивая на дальнем прицеле и, оказалось впоследствии, неосуществляемая тема размером в небо и емкостью эпилога к Апокалипсису. Мне предстояло уточнить трагедийную подоплеку и космические циклы большого Бытия, служившие ориентирами нашего исторического местопребывания, чтобы примириться с неизбежностью утрат и разочарований, ибо здесь с моей болью обитал я.

Хмурое небо конца тридцатых годов со зловещими тучками еще худших потрясений на горизонте не располагало к живописанию подлинной, тогдашней действительности, полностью осознанной современниками лишь к концу столетия.

Невзирая на осеннюю непогоду, я заладил таскаться в храм чуть не каждый вечер. Мне не везло. Кроме имени, за целую неделю только и удалось разведать, что Дуня моя доводилась дочкой тамошнему батюшке, квартировавшему в черте кладбищенских владений. Из облюбованного уголка с видом благоговейного усердия слушал я доносившееся из алтаря его молитвенное бормотанье, пока не привлек к себе внимание приметливых старушек: случалось и на паперти под мелким дождиком безнадежно караулить свою удачу. Из-за нерешимости моей подойти для знакомства всякий раз девочка успевала сбежать мимо меня по ступенькам, под накинутой поверх головы ветошкой, и с легким шелестом исчезнуть в морозящей мгле.

С запозданием пускался вслед, но мраморные истуканы и кресты на могилах ловили меня в объятья, железные решетки цеплялись за плечи, деревья кропили водою, ветками хлестали по лицу: мертвые жалели Дуню и оберегали ее, как могли, от людской огласки. Все же посчастливилось однажды прорваться сквозь их враждебный строй на опушку кладбищенской рощи. Погода чуть разветрилась, и молодой месяц на минутку высветил опрятную продолговатую поляну и уединенный, на дальнем конце, в окружении хозяйственных пристроек, приземистый, со ставнями и мезонином домик причта, куда скрылась беглянка. Догадка, что собак на кладбище не держат, повела меня напрямиком на освещенные окна, отражавшиеся в просторной луже от вчерашнего ливня. Из предосторожности я двинулся к цели сторонкой, по еще влажной высокой траве, и тотчас скрипучий голос из палисадничка подтвердил, что не иначе как нечистая сила понесла меня в обход мощеной тропки.

Хромая, побрел я к обозначившейся в сиреневых зарослях скамейке, где в ошметках на босу ногу, с моряцким бушлатом на плечах сидел знакомый по клиросу старик. Подпершись локтями в колени, видать, по минованьи **недуга** и за неимением чего покрепче похмелялся всухую пряным листовым настоем предзимья.

– Считай, пофартило тебе, любезнейший, – распрямляясь, заметил Финогеич. – Давно слежу, как ты путляешь. Закрывают нашу лавочку! Вот, бывший **погребало** — сижу на чистом воздухе, отдыхаю от жизни своей. Третьевось исторического покойника доставали, на новую квартиру перевезли: певец свободы, сказывали. Глубокий раскоп оставили, засыпать не стали: все едина – на снос!

– Чего же не окликнул, чудило? – в поддержание знакомства по-свойски упрекнул я. – Впотьмах долго ли было и башку сломить.

– А я со скуки! Гадал, минует тебя судьбица либо в самый раз угодишь. Соображаю, нашему брату, который **выпимши**, тому любая ямина не повредит. А коли не спьяну, пошто к ночи притащился? Ежли грабить, то и со счету сбились, сколько разов грабленные!

По внезапному наитию я назвался сотрудником ходовой вечерней газетки: собираю крупницы истории, рассыпанные по плитам столичных некрополей. По вечернему часу любое объяснение звучало столь же правдоподобно. Во укрепление знакомства я протянул ему жестянку с трубочным табаком и осведомился: не курит ли?

В подозрении – не ловушка ли, не подкуп ли? – старик не торопился с ответной благодарностью:

– Кто же от угощения отказывается, – усмехнулся он, делясь местом на скамье и с запасцем забирая щепотку, бумага нашлась своя. – При неполном нашем питании курево составляет существенную вещь. Сеял я его, табачище, в позапрошлом сезоне, неважный у нас родится... больно сладостен, а силен, до сажня вымахивает! Местность наша богатая...

Он принялся раскуривать даровую, в мизинец толщиной сигарку. Пока горела спичка, у меня было время подробней рассмотреть предлагаемого мне судьбой благодетеля. В придачу к черной, без седины, бороде был он такой рябой, что нельзя было долго смотреть на него без утомленья, зато в глазницах светилась та прозрачная доверчивость, какую русская сказка приписывает лесной блазне.

– А вообще-то для покойника грунты здесь на редкость благоприятные, – продолжал он, затянувшись в ту полную силу, когда, по народному присловью, из-под ногтей дым идет, – желтый песочек по самую глыбу: ровно в материнском объятии лежи-полеживай... Кабы солнышка вдобавок! Знать московская тут похорониться стремилась. Русский купец предпочитал привозные мрамора, итальянские. Уже в ту пору, сразу после флота, обрядился сюда по нашему помиральному ведомству, тому сороковой годок пошел; тогда почти на каждой ямине стояла фигура прискорбного содержания: слезы проливающая дева над разбитым кувшином либо ангел, трубящий пробуждение мертвых... Не подумайте, что жалею, либо на Бога ропщу. Вот и при церкви нахожусь, а ведь не шибко верующий... Не в том смысле, что их вовсе не существует. По моему разумению, ангелы, как и бесы, почти те же люди: снаружи не отличишь, но хотя, несмотря на всею науку, в людском облике и действует промеж нас, а непохожие...

– В чем же, в чем же они непохожие? – бережно, чтоб не спугнуть удачу, дважды коснулся я заветной струны.

– Да как тебе пояснее выразить... С виду они обыкновенные, кепочка-шляпенка чуть на бочок, скромное пальтишко с зимним проветриванием, а от холода не дрожит! Суший холостяк, а прибранный да ухоженный. Опять же, будучи под запретом пользоваться на себя без крайности господнюю благодать, а даже без пищи обходится, разве только иногда для виду изюмцу поклует. Словом, совсем двойной, а вся прочая сноровка людская. Далеко искать не надо; совсем недавно один такой, заблудившийся в здешних дебрях и весь в глине заостенелый, как раз на сей скамейке, где ты сидишь, беззвучно слезу обронил о своей участи на чужбине, если не считать землю местом его лишь временной деятельности...

– От одиночества, что ли? – тоном безразличия спросил я. – Почему бы чудаку не войти в близкие отношения с подходящей девицей как из хозяйственных соображений, так и для совместного проживания? – И в ответ получил как раз ожидаемое опровержение догадки, что по бессмертью своему публика эта избавлена от земного воспроизводства себе подобных.

– Видите ли, в общем устройство их такое, что всем наделены, кроме глупостей, – намекнул Финогоич. – Какое будет ваше мнение на сей счет?

Я присоветовал старику обратиться письменно через газету к видному ученому по данной отрасли и другим пережиткам старины, некоему Шатаницкому, который повсюду, вплоть до отрывных календарей, опровергал обывательские суеверия.

– Слышал я, слышал про Шатаницкого, главным атаманом у безбожников числится... Башковитый господин, обходительный, и пуше всех студентов Никашку, сына моего, приголубил. Неча сказать, подобрал себе младенца понянчиться на досуге! То пособие схлопочет, то еще что, а только сдается мне – темнит проклятый!..

Нам тогда обоим и в голову не приходило, что кто-либо из домашних за спиной у нас, нечаянно выйдя на крыльцо, слышал происходившую беседу. Покашляв с предостерегающим значением, батюшка удалился, а тотчас появившийся на смену годков тринадцати отпрыск, по имени Егор, зловещим тоном оповестил собеседника: что его **папаша кличут**.

Надежды мои рушились в полном разгоне. Старик поднимался с явным смущением по поводу предстоящего разноса. Неохотно всходил он на крыльцо, брался за железное кольцо на двери вместо нынешней скобки. Чуть спустя, следом за ним, подобравшись к окну, я заглянул поверх занавески.

Цветные лампы благостно сияли в углу, пар от самовара весело стелился по низкому, меловой бумагой оклеенному потолку. За чайным столом налицо находилось все лоскутовское семейство. Дуня шептала что-то смешное на ушко матери, уважаемой Прасковье Андреевне, которая протягивала налитую чашку угрюмому молодцу сверхплотного телосложения с изобильной, свисавшей на лоб прической. Встретясь с таким по ночной поре, любой без раздумий поделился бы с ним своим имуществом. Потом оказалось, то и был единственный сынок Финогеича, который с повинной головой, спиной к изразцовой печке, как раз выслушивал от священника обстоятельную нотацию о вреде празднословия с захожими людьми.

Также хватило времени рассмотреть кое-какие подробности небогатого их жилища: вышитое цветными пряжами **Поклонение Волхвов** на стене, иконы с зажженной лампадкой в углу, вазон с крашеным ковылем на книжной этажерке, канарейку в клетке над фикусом. Не дочка, как следовало ожидать по ее болезненной чувствительности, а мать раньше прочих учуяла соглядатая под окном. Произошла маленькая суматоха, после чего выскочивший наружу тот глыбистый парень незабываемым голосом опросил с крыльца, кому не терпится отвратить здешнего гостеприимства. Задержись я лишнее мгновенье, знакомство наше с милейшим Никанором Васильевичем случилось бы при куда менее благоприятных обстоятельствах, нежели две недели спустя... Кстати, нет способа вернее попасть в яму, как поспешно избегая другой... Не сомневаюсь, Дунины покровители помогли мне оскользнуться посреди поляны в дождевой луже со льдинкой первого заморозка... По счастью, яма оказалась не глубже пояса, иначе дальнейший розыск пришлось бы отложить до выздоровления.

За воротами, чуть отряхнувшись, я взглянул в зенит над собою. В небе тесно, на расстоянии коробка спичек, две звезды зловеще сияли прямо над головой в ожидании, к маю, третьей, красной, что знаменовало крушение цезаря и великой державы в конце предстоящей войны, о чем пока никто в мире не подозревал.

К сожалению, и позднейшие мои попытки дознаться истины разбивались о настороженное сопротивление старо-федосеевцев. После полученного нагоняя Финогеич, начисто утративший былую словоохотливость, вовсе не поддавался ни на сухумский табачок, ни на бутылку плодоягодной, случайно отыскавшуюся в моем портфеле. Сам о. Матвей, когда я дружественно и как бы в полупутку обратился с просьбой о консультации для задуманного сценария из жизни ангелов, в ответ только головой покачал.

– Не к лицу вам, сударь мой, – укоризненно произнес священник, – при полуседых-то висках сущими пустяками заниматься! В то время как смирный народ наш уже который годок любовно, не покладая рук воплощает бессмертное сочинение Карла Маркса и его великих сподвижников, – всю тираду свою он вымахнул мне в одно дыханье, не поперхнувшись.

Подобной же неудачей завершилась и моя атака на младшего поповича Егора, беспатентно практикующего починкой примусов, зонтов и радиоприемников, вдобавок, как оказалось впоследствии, злостного мудреца в отношении современности. Единственно за попытку подарить ему на память альбом редких почтовых марок, без дела завалившийся у меня со школьной поры, надменный отрок лишь язык показал человеку втрое старше себя, чем подтверждалось сугубо неправильное воспитание молодежи и в духовной среде. Точно так же не повезло мне и с **матушкой**.

На неделе выпал погожий среди дождливой осени денек, когда, прогуливаясь в тамошних местах, я по той же оказии очутился под заветным окошком домика со ставнями. Слышно было сквозь открытую фортку – кто-то напевал вполсилы бесхитростную с напевом, как баюкают ребенка, домашнюю песенку. С замираньем сердца опознал я надтреснутый, пусть ни разу не слышанный голос Прасковьи Андреевны. За работой и, видимо, в одиночестве, на руку мне, она в неумелом стишке изливала свои потаенные думки. По отсутствию соблазна для воров все двери в доме ждали меня настезь. Из-за спешки я опрокинул какую-то бадью в потемках сеней. Прихватив неотлучное вязанье и насколько позволяли опухшие ноги, матушка заспешила на шум моего вторженья. Лишь позже сообразил я возможные последствия для насмерть перепуганной старухи, завидевшей незнакомца во мраке дверного проема. Примечательно, не в глаза, а на руки мне смотрела она и, значит, только внушительный портфель с данайскими дарами помог ей успокоительно истолковать мое поведение.

Из дрожавших пальцев выскользнувший клубок шерсти покатился под комодик, и поднимать его обоим стало некогда. Как ни старался я словесно и мимически выразить глубокое удовлетворенье по поводу состоявшегося знакомства, на все мои настоятельные доводы поделить кое-какими сведениями о любимой дочке без дурных для нее последствий, старуха упорно сыпалась на отсутствие у них в семье милицейских приводов и судимостей. Так, со взаимным бормотаньем ходили мы вокруг накрытого к обеду стола, пока сиплая кукушка из часов не призвала просителя к благоразумию... Надо считать удачей, что на обратном пути возвращавшийся с Дуней Финогеичев сынок встретился мне уже за пределами кладбищенской территории, причем его костоломная громада вразвалку проследовала почти вплотную к местной трансформаторной будке, за углом которой я как раз читал **случившуюся** в кармане газетку, невзирая на плохое освещение.

## Глава II

И тут в крайнем расстройстве, по дороге домой, надоумился я толкнуться в пятую, самую запретную для меня дверь профессора Шатаницкого, который по словам Финогеича, отечески поддерживал сына во всех его нуждах, а тот, вместе с отцом жительствова по соседству в домике со ставнями, наверно, был в курсе всех семейных событий бывшего священника Матвея Лоскутова, что и открывало мне прямой выход на желанный для меня клад. Сам покровитель значился директором таинственного учреждения с названием, почти не поддающимся беглому произношению – «Институт прикладных, проблемных и прелиминарных систематик», которое выглядело защитной маскировкой явно оборонного объекта. Торопясь скорее приступить к делу, покуда не охладело намерение пробиться сквозь стенку запретности, я вошел в первую попавшуюся телефонную будку. И, видимо, пока с трубкой в руках раздумывал, добуду ли в справке секретный номер Шатаницкого, машинально раз-другой крутанул диск автомата, и сразу по вопросу с упоминанием Шатаницкого понял, что я уже прорвался по назначению. И не успел я намекнуть, что литератор такой-то нуждается в срочной консультации профессора по его специальности, как получил ответ: «Да, мы уже знаем». И мне лестно было услышать, что и на академическом Олимпе знают о моем существовании. Но тут же приветливый женский голос, как бы на всякий случай, поспешил предупредить, что профессор не сможет принять меня в ближайшие полтора месяца ввиду длительной заграничной поездки по ряду университетских городов. И лишь по смиренному молчанию моему убедившись в серьезности моих намерений, секретарша ободрила меня сочувственной скороговоркой, «что если ваша тема не терпит отлагательства, то профессор успеет до отъезда послезавтра в десять у себя в институте уделить вам целый час и даже полтора, если потребуется».

Несомненную удачу мою несколько омрачали и заранняя осведомленность о моем визите, и быстрая смена отказа согласием на аудиенцию, и кое-какие лишь теперь осознанные странности того же плана позади. Время от времени, несмотря на основную нагрузку, он профессор публиковал в журналах трудные, но тем более до жути пронзительные обзоры очередных и покамест незримых реальностей мироздания, снискавших ему у благодарных читателей репутацию корифея всех наук.

За ним и раньше замечались причудливые склонности, вроде появляться в разных, но сразу опознаваемых обликах, или исчезать, растаяв в воздухе, не простясь. Но тут бесчисленную рать его почитателей, жаждущих любой утешения от эпохальных переживаний, буквально сразила внезапная, в захолустном листке и мелким шрифтом напечатанная сенсация, будто кумир их, трижды и одновременно, в один и тот же день и час, пребывав на международном конгрессе любителей-ихтиологов, с букетом возле самолета с только что прилетевшей заокеанской делегацией и в юбилейном президиуме какого-то почтенного хрыча смежной специальности. Однако, по мнению явного клеветника под чисто бесовским псевдонимом Бубнило, абсурдная чушь сия объяснялась не присущей гениям рассеянностью, а скорее прямой принадлежностью к высшему разряду inferнальных существ, обычно к ночи не упоминаемых. И лишь в самом конце доносного фельетона иносказательно намекалось, что пресловутый Шатаницкий, он же Шатайницкий, он же Шайтаницкий в действительности является не только нынешним резидентом преисподней на святой Руси, но и видным участником знаменитого ангельского мятежа против небесного самодержавия, после чего начались время, история и люди.

Догадка его строилась не только на сказаниях древности и на сомнительной тактике нашего отечественного атеизма, который, пытаясь упразднить всевышнего посредством умерщвления священников и осквернения алтарей, ни разу теми же средствами не посмел хотя бы замахнуться на его противника, не оттого ли, что всевластные главари утвердившегося

режима втайне видели в нем соратника и ветерана с революционным стажем, стократно превышающим совместный диверсионный опыт всех активистов насильственного счастья.

Кстати, в своей недавней и нашумевшей книге «Разоблаченная космистика», написанной на случай возможных анкетных затруднений впереди, означенный корифей так убедительно, приемом обратной диалектики, разгромил невежественные суеверия старины, себя самого в том числе, что я уже не верил в его собственную оккультную сущность.

И отправляясь к нему в адскую дыру за лоскутовским кладом, намеревался заодно пристально оценить возможности ее хозяина, с целью пристроить его на вакансию в будущем сочинении в качестве эзотерического персонажа.

Тогда, в то время, я еще не знал, что каверзная, уже слагавшаяся тема, вода по бумаге моим пером, через столько лет, день за днем, порой по букве в час, позволит мне определиться на циферблате главного времени – откуда и куда мы теперь – но и раскроет логический финал человеческого мифа.

Адская дыра Шатаницкого помещалась на шестом этаже засекреченного института в длинном коридоре с книжными шкафами, куда меня без пропуска, лифтом доставила молчаливая девушка с неразборчивым лицом. В ту же минуту из деканского кабинета, броском, не менее дюжины вырвалась горстка перепуганных старичков, торопившихся скорее убраться домой, что служило дурным предзнаменованием. Дверь оставалась открытой, как приглашение, и, признаться, не без трепета в подколенках переступал я порог, готовясь увидеть длинного черного мужчину в глухом до ворота казинетовом сюртуке с леденящим зиянием во взоре. Вопреки ожиданиям, сидевший за столом корифей оказался неожиданно мелковатым, уже запенсионного возраста, но еще подвижным и даже вполне домашним, только почему-то с незапоминающимся лицом, пригодным на любую уважаемую должность от архивариуса до библиотекаря, деятелем в двояковыпуклых очках, который пристально и вдобавок через лупу изучал, если мне не изменяет память, обыкновенный кусок пемзы. Не отрываясь от занятия, он дружественным жестом указал мне свободный, чуть поодаль, стул. За плечом у начальства, положив мощный кулак на спинку кресла, хмурый, со свисающей на лоб гривой, стоял увалень, в котором я тотчас и нервным чутьем опознал моего Никанора Шамина.

Не решаясь с ходу брать быка за рога, я начал нашу беседу с догадки, не тех ли самых закоренелых церковников только что спровадил он с глаз долой, то и дело досаждавших ему каверзными вопросами типа, если Бога нету, кем тогда обеспечивается устойчивая, без заметного износа, долговечность такой несусветной машинищи, как мироздание.

Выяснилось, что сортом повыше кроткие и душевные старички, сплошь заслуженные деятели разных искусств и наук, проживающие в престижных пансионатах и лишь после долгих хлопот проникшие в служебное капище Шатаницкого, приходили сюда, чтобы от имени всех старожил земного шара пожаловаться корифею на его ближайшего ученика с кличкой Откуси, который, по столичным слухам, собирался опубликовать диссертацию на крайне скользкую тему. Года три назад сей даровитый паренек, случайно прогуливаясь в дремучих саянских предгорьях, обнаружил под навесом скалы небольшую, полтора на полтора, колонию розоватых, с просинью, на шаткой ножке высотой с палец и, как оказалось, мыслящих грибов. Неизвестно, что именно происходило в них в тот час – месса, митинг или коллективная медитация – но в бормотанье их, если зажмуриться, то ясно прослушивались характерные стридулирующие фонемы раннего санскрита. Они-то и вдохновили даровитого ученого на докторскую диссертацию с заключением, что дрожавшие тогда у ног его в ожидании неминуемой расправы скромные создания являются истинными предками человечества. Напрасно совестливые старцы молили Шатаницкого не смывать библейскую позолоту с молодежи, которая, оказавшись во вседозволенной срамоте, такие вертепы учредит на родных могилах, что, как говаривали в старину, упокойнички во гробах спасибо скажут, что умерли, – и в крайнем случае, если нельзя отменить приговор науке, то хотя бы малость повысить родословную людишек

на уровень гриба съедобного, в пределах от боровика до рыжика. Но тут один из гостей, древней и ядовитей прочих, костяным пальцем пригрозил, что непрерывная пальба по святыням недостижимой дальности кончится однажды соразмерным откатом той же пушки, которая расплющит главного каноника со всей его компашкой заодно.

– ...И не успел я кротко посоветовать скандалисту не шалить огнестрельными предметами во избежание вреда для собственного организма, как вся орава ринулась от меня наутек, видимо, оскорбленная кощунственным зачислением в потомство безмозглого гриба. Как видный мыслитель здешнего района скажите, милейший Шамин, ведь правильно я истолковал их досадное бегство, не так ли?

– Кротким-то голосом вы их так застращали, дорогой учитель, – солидно ухмыльнулся Никанор, – что я и сам, пожалуй, враз сообразил бы смыться куда поглубже, чтобы срочно с казенной помощью не переправиться на тот свет.

– Ценная гипотеза, – ироническим кивком похвалил Шатаницкий, – моя попроще. В идеальной утопической разверстке, на века вперед, коммунальная дележка уже теперь лимитных благ пищи и пространства обрекает человечество на неминуемое, в конце концов, измельчание вида до ста миллиардов особей на чашку Петри, и тогда, уплотняясь в бархатистую розовую плесень, оно станет гордиться пусть отдаленным родством с поганкой, которая самостоятельно, хотя и с помощью ветра, летала над землей в поисках ниши для жительства, – плавно заключил он и вопросительно взглянул на меня.

– Моя совсем иная, – отвечал я, – в том плане иная, что старость есть четвертый сезон жизни, когда вдруг внезапная тишина, и холодеют ноги, и метельные сумерки за окном, и перед выходом в ночь – добавочная минутка для примирения с грибной эфемерностью земного существования...

Но тут, по ходу раздумья, как половчее встроить услышанное в уже созревающий сюжет, меня точно ветром шатнуло в сторону смежных и куда более сложных затруднений.

Если шарлатанская интонация любых суждений корифея, о чем бы ни шла речь, являлась естественным акцентом презрения к нашей действительности, вследствие его затянувшегося пребывания в беспросветной тьме опалы, то чем всякий раз диктовалась его тяга исказить их смысл до абракадабры – произвольным свойством личности, как цветного стекла, даже солнечному лучу придавать свою окраску или сознательным сейчас намерением затруднить мои догадки о причине слишком быстрого, в один прием, успеха при вручении заранее предназначенного для меняклада.

Кстати, от попыток разглядеть нечто главное в лице моего визави, стал я испытывать гадкую ломоту в затылке. И когда я, вдоволь наслушавшись балаганной галиматии, осведомился наугад, какие крупные катаклизмы или еще похлеще новинки состоялись за минувший год в окружающем нас астральном архипелаге, тот поведал мне замысловатую байку, завершившуюся в подтверждение моих догадок вручением уже предназначенного мне лоскутовогоклада или наваждения.

Оказалось, что услышанная мною уже двухлетней давности важнейшая сенсация века недаром так тщательно охранялась от огласки в силу своей стратегической значимости. Началось с того, что видный сотрудник великого вождя Скуднов Т. И. подарил своей бывшей школе старинный, на трех латунных ножках телескоп. И воодушевленные приближающимся пятидесятилетним юбилеем дарителя ребята единогласно порешили встать на вахту в честь юбиляра и открыть именную звезду соразмерной величины.

С помощью самодельной приставки загадочной конструкции из всякого лабораторного утиля под командой своего наставника Пхе, они пристально обшарили местное небо и с третьего захода в запредельной пучине небес, в созвездии Водолея, обнаружили целый архипелаг неизвестных планет. Сканирующим облетом двух из них, несмотря на густейшее задымление, как у нас, на обеих было обнаружено обилие храмов, заводских корпусов и другой мощной тех-

ники, также обширные посевы неизвестного хлебного злака и главное – огненные траектории уже межпланетной перестрелки, что является приметой давно обогнавшей нас суперцивилизации. Спектральный анализ, хотя и обнаруживший в тамошних окрестностях мощные сгустки гуминового существа, плавающие в облаках сильно ионизованного газа (пардон, того же происхождения), не смог показать присущий ему запах, чем выявляется любое массовое скопление организмов. Вспомним Филона Александрийского, прозрачно намекавшего на густую заселенность мира духами стихий, или Гершеля с его проницательной догадкой о жителях на Солнце – наглядное свидетельство о мощном прозрении больших умов, опережающих свою эпоху.

– А так как людское множество, сопряженное с ростом коммунальных потребностей, определяет логику общественной эволюции – развитую промышленность, мощную рабочую стихию, прибавочную стоимость, борьбу за рынки сбыта, социальный антагонизм, обусловленный перекосом с излишеством и нищетой на флангах и, наконец, бурные приступы революционного самоочищения – все это призывает вселенскую братию к единству, которое позволит обеим сторонам установить надежные форпосты в глубинах мироздания для совместной хозяйственной деятельности, где мы сможем в обмен на их передовую промышленную технологию поделиться своим обширным опытом массовой культуры, коллективизации и классовой борьбы. И оттого, что природа в сходных условиях при создании тварей стремится повторить свои от века испытанные системы, вроде стереоскопического зрения, пищеварительного потока или при бездорожье куда более надежных, чем колесо, радиально подрессоренных ног и даже зачатков мышления, то несомненно, что и более просвещенные туземцы с помощью дальнобойного, недоступного пока здесь космического зондажа раньше вас успели выявить свое генетическое сходство с вами. Не так ли? – своеобычно вставил корифей, предоставляя мне право выбора альтернативы. – Мои дозорные сообщили, что на днях к нам оттуда инкогнито прибывает загадочная личность, некто Дымков, который под видом чудака, странствующего по смежным галактикам, скупает, выменивает на бусы, монетки и ленточки, коллекционирует мечтания тамошних жителей и, по-видимому, кое-что более ценное заодно, оставляя на память о себе какой-нибудь сюрприз убойного действия. Он направлен не в обличье купца или миссионера, как раньше засылали к аборигенам, а под видом ангела, что при угрозе неизбежной у нас поимки позволяет ему укрыться среди верующего простонародья и даже не исключается – где-нибудь на кладбище у духовного лица. Допускаю, что, как и вы, он постучится ко мне за автографом и, наверно, в поисках дружбы, сразу устроит вам ночную прогулку над Москвой, так что остерегайтесь этого пройдохи, Шамин. Кстати, не стоит пренебрегать и показаниями и самого сведущего автора по части миров невидимых, некоего Оригена, что только высшие чины небес состоят из чистого духа, любые прочие же лишены материальности и, значит, при сошествии в нижние этажи стихийно меняют свою предельно разреженную каркасно-циклопическую структуру, построенную из шквальных ливней сверхкоротких излучений, исполинского натяженья темных космических масс, гравитирующих на запредельной скорости, вольных звездных ветров и еще не раскрытых учеными гормональных дуновений вообще откуда-то извне на местную, более скромную, всего лишь атомную инженерную конструкцию. Отсюда, концентрируясь в земные габариты, галактическое долгожительство приобретает видимость бессмертия, а сомасштабно уплотненный творческий потенциал становится даром чудотворения. Но сама внешность пришельцев оттуда остается стандартно прежней, раз и навсегда проверенный ген, кодирующий их суть и форму, всюду будет один и тот же, отчего при переходе в земные параметры тамошние гиганты и становятся неотличимы от людей. К сожалению, наука бессильна пока объяснить, каким образом те и другие, они и вы, являясь всего лишь костяками энергетических вихрей, таинственно вписаны в работу физических законов, осуществляющих всеобщее равновесие. Недаром кое у кого возникает опасение, что живая клетка, уже давно в обгон мысли и с риском вывернуться наизнанку устремившаяся в беспредельность, сослепу ударится о нечто, спрятанное там, отчего может получиться внезапное и вонючее воз-

горание, как от спички, смаху чиркнутой о коробок. Ввиду прибытия столь важного, видимо, и неприглашенного гостя возникает ответная необходимость внедрить к ним туда, как и они к нам, целевого наблюдателя, – сказал Шатаницкий и лишь теперь решился представить мне своего подопечного: – Этот даровитый юноша создает большой аналитический труд обо мне, где намеревается доказать современникам и мне в том числе, что я совсем не тот, кем являюсь в действительности, и в случае успеха он станет энциклопедистом по части эзотерических наук и полноправным преемником легендарного Элифаса. И у вас, милейший Шамин, в наличии имеются все данные для блистательного восхождения на вершину, – как бы увлекаясь и даже завидуя Никаноровой младости, стал перечислять он.

– А чего же тут думать? Служба легкая, если на командировочные не поскупитесь, ходи да гляди, где, что и как, а в промежутках спи-отдыхай, сколько нужно по усталости. Однако доехать в такую даль и месяца в два не уложишься, так что все дело в харчах, чтобы не скучать в дороге, – не мигнув глазом, мгновенно откликнулся Никанор в манере охламона и пентюха.

– Не беспокойтесь, Шамин, суточные будут по первому разряду и харчей получите достаточно, чтобы не скучать в пути. Славно, что договорились наконец, – дружественным тоном заключил корифей. – Надеюсь, работа ваша движется благотворно. Кстати, передавайте мой поклон дорогому Матвею Петровичу.

На уходе с порога еще разок я оглянулся закрепить в памяти прообраз своего будущего эпизодического персонажа. Но если прежние литературные характеристики падшего ангела Света строились на зыбкой двоякости его противоречий, вроде мудрости и низости, показного обаяния при заманке клиента в западню и мертвой хватки в отношении с клиентами, либо скорбного величия его незаживляемых воспоминаний о безвозвратном и мстительной ненависти к Творцу за разжалованье в цари местного Мрака, то задуманный мною в качестве адского в нашей стране резидента – неуловимого возраста, мерцающей внешности вообще ускользающий от словесной характеристики иррациональный субъект с недвижной маской безразличия на лице и поднятой ладонью, провожавшей из-за стола гостя, – вдруг представился мне вполне земным существом эпохальной тогда породы, которая посредством лести, оперативности и социально благополучных анкет стремительно, минуя дипломные проверки, достигала номенклатурных высот. Универсальная осведомленность в самых спорных проблемах познания на стыке враждующих мировоззрений создавала ему в глазах толпы ореол корифея передовых наук, а непримиримый скептицизм насчет идейных заблуждений старины, нравственных в особенности, с замахом на непознаваемое, и вдобавок высокомерная, гортанно-лающая страстность персональной неприязни к самой теме, умело низведенной на уровень философической байки для нищих скорее разумом, чем духом, создавали в аудитории впечатление, будто лектор персонально и давно занимается мироустройством человечества под началом кого-то выше и могущественнее, который с момента появления людей находился в серьезных неладах с их создателем.

В совокупности перечисленные достоинства повышали у властей предрежащих репутацию корифеевой благонадежности в смысле своей веры до гробовой доски с правом полной автономности в его ученых дебрях. И тут пронзила меня ошеломительная догадка, что самоуличающий псевдоним **Шатаницкий** служил ему надежным инструментом мимикрии, а псевдокомический камуфляж под Антихриста – прикрытием далеко не карьерной, нелегальной деятельности, которую история еще расшифрует в надлежащем объеме.

Блокнотная запись отставала от беглой лекции корифея, и образовавшиеся пробелы пришлось заполнять впоследствии профанскими домыслами, что явно затрудняет восприятие всей концепции в целом. Чтобы не стать эпигоном в очереди стольких литературных ходатайств за лукавого скорее перед общественным мнением, нежели перед вечным Судьей, автор дал обет представить на суд читателей весь следственный материал в девственном виде, в каком тот достался ему по ходу дознания.

Здесь мелькнуло в уме: не тем ли объяснялись и щедрость дара, и сама по себе подзрительная легкость достигнутой аудиенции, чтобы моим пером от лица людей поставить публично через всю вечность им же перекинутый каверзный вопрос Всевышнему – для чего затевалась игра в человека?

Кстати, в тот же вечер накоротке состоялся разговор Никанора с Матвеем Петровичем.

– Вы же встретитесь с ним не для того, чтобы душу продавать, а для того, чтобы с его помощью взглянуть на истину с обратной стороны... Вам не придется тащиться в его логово на шестом этаже. Он сам охотно приедет к вам в любое время дня и ночи. Кстати, Дуня сказала мне вчера, что собирается привести к вам Дымкова для личного знакомства, и если бы, как бы по рассеянности, вы назначили обоим столь несовместимым визитерам один и тот же час, то могли бы, присутствуя при их встрече, вывести даже из обоюдного молчания их кое-какие сведения о замыслах непримиримых крайностей.

– Что ж, стоит и впрямь рискнуть для пользы дела в какой-нибудь погожий праздничный денек, – задумчиво произнес Матвей Петрович, имея в виду шумный первомайский праздник, когда общее внимание будет отвлечено от сверхсекретного события.

### Глава III

При выходе на улицу мы с Шаминам сразу договорились о времени и месте предстоящих встреч. Кстати, оказалось, что к концу месяца ихний сосед по домику со ставнями, бывший дьякон, переселяется от российской действительности в тихий уголок где-то под Тюменью. Тогда одна из двух, ближайшая к сениям комнатуха его вполне сгодилась бы нам для бесед на лоскутовскую тему. Заодно попутчик мой справился о моих впечатлениях от Шатаницкого, но я уклонился под предлогом слишком малого времени для оценки столь значительной личности и ответил вопросом, каким образом вообще образовался странный симбиоз столь несхожих натур, как он и Шатаницкий. Тут Никанор и посвятил меня в историю их недавней и сомнительной дружбы как активного вдохновителя и таким образом соучастника всех событий, изложенных в моей еще не написанной книге. По словам Шамина, чисто охотничья тяга его к подозрительному корифею обозначилась сразу по прочтении фельетона Бубнилы и не менее памятного эссе Фурункеля, тоже беса, о триумфальном возвращении вчерашнего черта из недавней опалы в реальную академическую среду. В обоих доносных документах, по сходству лексики и почерку мышления написанных почти одновременно и тою же рукой, явно подразумевается тот, о ком речь, – сей подозрительный деятель передовой науки, наотрез отвергаемый ею же самой. Чтобы разгадать такой ребус – зачем понадобилось заведомо несуществующему господину держаться за почтенную номенклатурную должность, Никанор, помимо обязательных для тогдашней молодежи безбожия и бдительности, обладал еще незаурядными качествами настойчивости и проницательности, которые и толкнули его на опасный розыск истины. Вечерком однажды хитрый студент пришел к своему учителю с просьбой автографа на его зачитанной до дыр **Космистике** и по ходу беседы виновато признался в заветной мечте создать портрет корифея в полный рост его личности при условии непосредственного наблюдения вблизи для полноценной обрисовки.

– Тогда скажите, мой юный друг, как вы намереваетесь осуществить свое благородное намерение – в художественном, скульптурном или даже музыкальном аспекте? – поощрительно осведомился оригинал будущего шедевра, как бы выбирая себе позу и внешность, чтобы пуще не омрачить свой облик в сознании человечества.

– Ни в коем случае, – как бы радуясь удаче, почти вскричал Никанор, – только в словесном оформлении.

Похоже, что корифей соглашался из расчета, что благодарный за опеку простоватый стипендиат посилено, в духе современности, объяснит его неприглядную деятельность, и тогда философские каракули юнца станут весомым документом о неизбежности Зла в мировом процессе. Таким образом, казалось бы, оправдывалась народная молва, что тонкая лесть способна усыпить любые организмы даже потустороннего профиля. По-видимому, корифея настолько встревожили шаминские о нем подозрения, что он не раз пытался выкупить их у своего разоблачителя ценою любой, на выбор, блистательной карьеры впереди, даже дразнил его титулом будущего Колумба галактических территорий, «пока ихние Колумбы не открыли нас», но в таком зловещем тоне, что храбрец на всякий случай прятался в оболочку и лексику охламона и пентюха, притворным смирением защищаясь от чудовища. И тут, не стерпев затянувшейся тихомотины и решась на прямую атаку, Никанор сказал, что его тоже беспокоят участвовавшие пришельцы оттуда, несомненные лазутчики в том числе, и высказал надежду лично словить одного из них, уже затаившегося у нас, пожирней, чтобы выведать тамошние секреты: как ухитряются залетать к нам в такую даль или как без повреждения проходят сквозь каменную стенку, а также другие полезности заодно.

– Что же, на мой взгляд, весьма уместное соображение, – задумчиво сказал Шатаницкий, – если учесть, что человечество приблизилось к финалу отпущенной ему скромной веч-

ности, который для верующих станет огненным апофеозом Судного дня... А для науки – обыкновенной эволюционной вспышкой нашей вселенной, когда она, с разбегу пробившись сквозь нулевую фазу времени и физического бытия, ворвется в иное, еще не освоенное математическое пространство с переносом туда интеллектуальной столицы мироздания. Очевидный теперь крах вчерашней эры завершится неминуемым пересмотром печально не оправдавшей себя парности Добра и Зла за счет полной отмены нашего ведомства и его иерархической системы. А в такой обстановке, сами понимаете, ваши бредни обо мне могли бы причинить крупные неприятности не только нам одним. Прикиньте в уме, как разбушевался бы кремлевский властелин, если бы услышал хоть намек, что под орлиным-то крылышком у него, дотоле мнившего себя грозой глобального империализма, угнезвился штабной форпост империализма вселенского. К тому же, если мы периодически сокрушаем святыни и сокровища людей по старинке, с передышками на ремонт развалин, достойных превратиться в пепелище – вечный источник их литургических вдохновений, то доктрина великого вождя работает с непрерывной вибрацией, расшатывая нестерпимым зудом социальной неприязни все общественные и технические устои до молекулярного распада. Сообразите, что он учинил бы нам по отсутствию иного, более прочного и стойкого объекта для утоления ярости, подкинув пломбированную ампулу с наиболее убойным, на России проверенным штаммом бактерий в нашу подземную державу, где наравне с князьями и вельможами имеется такая же шелудивая и, как порох, вспыльчивая голытьба, и тогда мощный выплеск старинной лавы из недр земного шара, к тому же изо всех семисот вулканов сразу, доставит значительные неудобства проживающим на его поверхности.

В ответ на мое молчаливое недоумение, зачем ему понадобилась только что услышанная путаная галиматья вроде бы ни о чем, Шамин счел долгом своим как гида иносказательно предупредить меня о досадных последствиях нашего вторжения в довольно сложную лоскутковскую эпопею, точнее эпопею, с учетом собственных его наивных богословских заблуждений ради посильного оправдания бесчисленных бедствий, ниспосылаемых людям под видом огненной ласки Божией. В том и заключается опасность, что самые запретные тайны, добываемые раскопками в свыше заминированной местности, взрываются так быстро, что смельчак, успевший осмыслить ценность добытых сокровищ, не успевает поделиться ими со своими современниками в силу своего исчезновения.

– Но не страшно вам ледяной рукой самим шарить эти же тайны под мышкой у вашего шефа Шатаницкого? – спросил я.

– Но у меня имеется надежный аргумент в защиту, который я случайно, вслед за Шатаницким, обронил давеча, но вы не заметили его. Этот аргумент ведет меня напрямки к разгадке, почему **он**, некто несуществующий, прячется от другого, почти такого же, как сам он, реально не существующего.

– От кого же, по вашим предположениям? Вы уже знаете?

– Я знаю только то, что вы успели вложить в меня, приглашая в свою команду. Дальнейшее я буду вам докладывать по мере моего вызревания в вашем воображении. Чутьем я уже понимаю, кто персонально имеется в виду. При расставанье сегодня он пригласил меня зайти к нему на квартиру с расчетом показать себя мне поровну в обеих ипостасях реальности и нереальности, приспособительно к моему низшему интеллекту, чтобы заслониться мною от такого же, для нас с вами реально не существующего.

– Ага, признали наконец даже царственное величие того, чье существование только что отвергли?

– Все правдоподобно о неизвестном, недоступном нашему воображению. Покамест я только возвращаю потомкам их законное право творить, как выразился ваш лесник Вихров, толкуя на свой лад речение Августина, что «чудо не противоречит природе, чудо противоречит лишь тому, что мы о ней знаем», – четко, вразбивку, как по книжке, прочел Никанор, в неожи-

данно новом облике представая предо мною: – Поймите, дорогой Леонид Максимович, я не могу логически уложиться в это дело. Есть какая-то другая пара другой надмирной реальности.

К тому времени как раз подошел мой автобус, и Никанор успел спросить меня напоследок: «Я не рассердил вас своей защитительной речью? На всякий случай вы могли бы заслониться от грозящих вам опасностей, перекантовав их на кого-нибудь из окружающих по вашему выбору».

– Благодарю вас. Непременно воспользуюсь вашим советом защититься средствами моего ремесла, – сказал я, уже вскочив на подножку автобуса.

## Глава IV

Скоропреходящей славой певцов и других деятелей, наделенных, скажем, ораторской гортанью, отмечен тернистый путь дьякона Никона Аблаева. Уцелевшие от рассеяния старо-федосеевские прихожане, наверно, помнят первозданные рокоты, подобно меди звенящей извергавшиеся из него как на ектениях – по мере приближения к **странствующим и путешествующим**, так и на знаменитых его многолетиях, в особенности ценившихся в купеческой среде, даже из других приходов. Ценителями был пущен слух, будто большой колокол у Параскевы Пятницы, что еще красовалась тогда в Охотном ряду, является родным братом дьякона, коего якобы отливали в один с ним прием, из остатков сплава, что похоже на преувеличение, хотя и лестное. Во всяком случае, неизгладимый трепет переполнял сердца молящихся, когда, совершая кажденья, продвигался он сквозь них в громадном, цвета морской пучины серебрянотканом стихаре при стоячих, как во смерче, волосах; отчего и в крещенские морозы мог не пользоваться шапкой. По скромности ума воздерживался он от мышления вслух, так что и, оскользнувшись в житейское ничтожество, сохранял библейское достоинство и несколько китовье обличье по причине широты лица и массивности телосложения. Кроме того, Никон Аблаев, опора многочисленной по тому времени родни, являл собой образец кротости, простодушия и доброты.

Наличное его семейство состояло из малолетних двойняшек от рано умершей жены и жилистой и безответной тетки, на которой все и крутилось, как на подшипнике, да еще одно время из младшей его же сестры-монашки, отпущенной на братнее иждивение из колонии исправительной. По счастью, Бог ее прибрал как раз к сроку, когда в одну из трех занимаемых ими каморок переселились Шамины, отец с сыном, из сторовеющей сторожки. Не старая и еще миловидная, она угасла к началу старо-федосеевского разорения скорее от скорби, нежели истощения, подкинув взамен себя брату на руки сынишку семи годков. Сей худенький мальчик Сергей, всем виновато улыбающийся, словно сознавая преступность своего появления на свет, и завершал собою смирную, совсем неслышную, однако при скудном достатке довольно прожорливую ораву. Не умея накормить ее, дьякон подобно сказочному богатырю оказался на распутье – податься ли ему в бухгалтеры, грабители или нищие? По врожденной неспособности к ответственной цифири счетное дело отпадало само собой; ремесло с кистенем более подходило к его телосложению, но отвращало периодическим пролитием крови, а столь отягчающие обстоятельства, как здоровье и внешность, затрудняли прошение милостыни. При виде надвигающихся туч Никон Аблаев предпринимал обход близлежащих казенных мест в поисках какой-либо непрерывной и несложной должности, ибо Господь избавил его от общеизвестных огорчений, связанных в ту пору с избытком ума или образования. Естественно, нигде не проходило бесследно появление на пороге столь архаической фигуры – ростом под потолок, в широчайшем кожаном поясе и с можжевелевой клюшкой, в заграничных пьексах с загнутыми вверх носками.

Похоже, жалким юморком балаганного вторжения дьякон рассчитывал смягчить свою социальную неприкасаемость, даровым развлечением приобрести милость чиновника; самое невинное сношение с лишенцем грозило тому суровым взысканием. Однако смешливое, втайне сочувственное оживление скоро угасло, а в противность правилу, обратная аблаевская дорога домой становилась втрое длиннее... Конечно, на обширной тогдашней стройке легко нашлось бы занятие попроще для пары лишних, еще крепких рук, кабы не постоянные, чисто сатанинские препятствия, словно чьей-то нечеловеческой воле и власти требовалось перед неминуемой дьяконской гибелью, как он сам про себя пошутил, побрить тупой железкой свою жертву наголо.

Судьба нередко старается скрасить прискорбные обстоятельства существования безобидной с виду шуткой. Кстати, о пьексах; тогда же в самом начале тридцатых годов, в зимнюю полночь однажды к Лоскутовым постучался бывший член приходского совета – некто Подшибякин и в доверительной, с глазу на глаз, беседе сообщил о состоявшемся у них с женой решении прекратить жизнь посредством самоудушения дровяным угаром. (За неделю перед тем начался месячник штурма на частную торговлю, и останки от богатейшего подшибякинского магазина спортивных товаров подверглись отчуждению в пользу районного спортактива.) На что о. Матвей уместно применил пастырское увещание, раскрыв отчаявшимся супругам красоту жизни, также указал на несовместимость веры и отчаянья. Признательные за спасение – лишь бы Коминтерну не досталось! – владельцы в ту же ночь доставили в Старо-Федосеево на салазках часть утаенного имущества в составе трех пар финских лыж, а в придачу к ним объемистый куль разномерной обуви, годной и для носки в быту, кроме того непочатый ящик чего-то, матушке показалось – по весу, не иначе как толкательных чугунных шаров...

– Щекотно и холодно жить мне стало, отец Матвей, ровно сом я, в рыбью вершу иду... – намекнул Аблаев однажды, озираясь, чтобы пуще не обозлить кого-то поблизости. – Поминутно мнится мне боковое мерцание, и вроде хвост юлит, а чуть обернешься – пропадает.

Характерно, что из тех же соображений предосторожности о. Матвей пропустил сказанное мимо ушей.

И хоть понимал дьякон, что в беде по гостям таскаться то же, что заразу разносить, незадолго до катастрофы, видимо, отчаявшийся в бесплодных хлопотах Аблаев, неразлучный теперь с племянником, чаще повадился навещать Лоскутовых всякий раз во время ужина – покормить ребенка за чужой счет.

– Имеется ли живая душа в вигваме? – трубно возглашал он с порога. – Ступай, погости у них, Сергуня, чайком погрейся, а я издали на тебя полюбуюся. Тут люди хорошие, они и **потом** тебя не обидят, – и толчком в плечико направлял племянника на поклон к Прасковье Андреевне, сам громоздко опускался на стоявшую близ сеней семейную реликвию – узкий с позолотцей диванчик, тоже подшибякинское подношение, в домашнем просторечии **канане**; подразумевалось, что сам дядя уже отужинал.

Из-под приспущенных век, опершись подбородком в можжевельный посошок с воротяжку, следил он, как матушка, освобождая место для юного гостя, торопится скрыть чем-нибудь скудные улики своего сомнительного достатка. Все здесь служило бездельному дьякону укором, никто в семье не сидел без дела. На манекене у окна красовалась пышная кофта, только что сошедшая со спиц хозяйки. Судя по струйке канифольного чада, тянувшегося в открытую форточку, младший лоскутовский отпрыск Егор у себя за ширмой колдовал над чьей-то сломавшейся радиодиковинкой, тогда как глава семьи в тесной каморке по соседству завершал суточный урок по починке обуви от местного населения. К тому часу все были в сборе, кроме Дуни, поздно возвращавшейся из вечерней бухгалтерской школы, куда с грехом пополам удалось пристроить дочь лишенца. В непогодные вечера по причине глухих пустырей Никанор нередко выходил встречать ее на трамвайную остановку.

– Намедни ходил по объявлению в институт художества, где открылась вакансия натурщика, – излагал дьякон свои мытарства, – разделся, оглядели со всех сторон, пожурили, что осунулся. Работа почасовая и вроде сходная, хотя духовному лицу в трусиках-то перед девчатами, которые с тебя срисовывают, негоже сидеть: щекотно, зазорно и холодно. Как-никак, хоть и бывший, но все же дьякон я, и негоже телесной наготой хлеб насущный зарабатывать!

Но тут мнения разошлись. По здравому суждению Прасковьи Андреевны, ничего предосудительного в таком занятии нет, ибо художество и в храмах применяется, а с нищего тем более Господь не взыщет. Супруг же ее высказался в обратном смысле, дескать, духовному лицу не безразлично, в каком виде предстать перед будущей, хотя и некрещеной, паствой. Одно дело изображать богатыря Илью Муромца, или Стеньку Разина, либо земледельца за сохой, и

совсем другое – натянуть на себя личину, искажающую в человеке подобие Божие. На беду, после первого же пробного сеанса в обличье римского гладиатора с запрятанными под пожарную каску волосами в местной стенгазетке появился устрашающий запрос одного активного атеиста в адрес дирекции – доколе и с какой целью вдохновляется наша чуткая молодежь, срывая красками портрет махрового лишенца?

Подобным же провалом на идеологической подкладке завершилась и аблаевская попытка пристроиться в студию на Потылихе, где собирались было снимать детское кино с его участием.

– А что, роль предложили сомнительную? – встревожился Матвей.

– Да нет, восточная сказка обыкновенная. Просто дух Агафит-Абдул, проживающий в запечатанной бутылке под Дербентом, вырывается на свободу, отчего среди жителей происходит большая суматоха с участием милиции. Но требовалось весь волос с башки заодно с бородой удалить, глаза навывкате для устрашения... да что там, на любое непотребство согласился бы. В моем положении хоть в тюрьму проситься!

– С малютками-то и в тюрьму не примут... – сочувственно тужила матушка и давала совет толкнуться в лесорубы или землекопы, куда нонче всем **нам** один путь готовит судьба.

Здесь в разговор вмешался третий, появившийся из-за ширмы, мальчик Егор. Ни к кому не обращаясь, обронил он неожиданную сентенцию о значении душевной гибкости в условиях налетевшей исторической бури. Думали, что подразумевается гибкость лозы, под ветром пригнувшейся к земле во избежание поломки, тогда как отрок имел в виду мудрость воды, способной принять форму любого сосуда, повторяя самое фантастическое русло и оставаясь собою, чтобы при благоприятной okazji вырваться из навязанных ей преград. И, как всегда, родители мысленно отметили несвойственную его возрасту дальнзоркость ума.

Предельным неблагополучием веяло в ту пору от дьякона: боязно было в глаза ему взглянуть, чтоб не прочесть там правду. Тем временем с обострением нужды вслед за самоваром прожиты были прочие аблаевские ценности: хорьковая ротонда, приданое покойницы, и золотые часы с цепочкой, подписное подношение ревнителей церковного благолепия. Дальше пришел черед за излишками одежды, посуды, обиходной утвари: все сглотнул расположенный близ кладбища толчок, пригородное крестьянство охотно брало даже подержанные детские игрушки.

И напоследок, с отчаянья решась кутнуть напропалую, дьякон после жаркой русской бани вдоволь полакомился ледяным пивком и... утратил свой трубный *profundo* бас, а заодно и надежду отбиться от судьбы, после чего как бы во исполнение чьего-то тщательно продуманного бесовского замысла все покатилося в яму.

Неделю спустя все затихло за стенкой у Лоскутовых, которые боялись к дьякону в окошко заглянуть, чтобы не наткнуться на какое-либо страшное зрелище... пока не открылось, что Дуня украдкой бежит подкармливать аблаевских девочек. И тогда родители, учитывая безвыходное состояние голодающих соседей намеренно оставляли в сенях на полке в холодке деликатную милостыню – то остатки обеденных щей и хлеба ломоток, то полседетки в бумажке с парой отварных картошек в придачу, во избежание подозрений всего по малости и делая вид, будто не замечают пропажи.

Если же подсчитать, сколько всяких харчей перетаскала туда милосердная Дунюшка тайком от родителей, не посмевших ее остановить, то, конечно, без соседской доброты Аблаевы раньше срока достигли бы той крайней нужды, когда неотвязно одолевает поиск легкой смерти. Кроме некоторой худобы за счет прежней могучей телесности, только в том и выражалось у дьякона его бедственное состояние, что временами выключался из сознания и глядел в точку перед собою, пока не стряхнут, не пустят в ход, как остановившиеся часы.

Но и на краю пропасти не покидала Аблаева надежда на доброту Господню, помогавшую ему и в беде сохранять достоинство сана, – вплоть до одного ужасного сна, когда Прасковья Андреевна наотмашь отчитала его: «Чего-чего уставился, бесстыжие твои очи? – на весь мир

кричала она дьякону, не успевшему и протянутой руки опустить. – Накинулись на Матвея, кабы он еще сторукий был, да разве столько ртов сапожной иглой прокормишь... Конец, конец нашей милости!..» До рассвета вслушивался Аблаев в несмолкавшее над ним гулкое эхо раз-носа, чудом не разбужившее малышей.

После стольких неудач душевно обессиливший Аблаев прекратил свои напрасные хождения по отделам кадров и день уже не выходил из дома, лишь затемно иногда пускался вместе с племянником в долгие, непонятные прогулки по городу. И Бог знает, о чем толковали они, старый да малый, с пустынной набережной уставясь в черные, стылые воды Яузы, либо на бульварной скамье бездумно следя, как откуда-то из тьмы ночной возникающие снежинки, покружась в свете фонаря над головой, внезапно гаснут, возвращаясь в неведомый мрак. В тот последний месяц не так сблизило их кровное родство, как общность судьбы, точнее, недоумение перед нею. Когда разразилось несчастье, то, по рассказу Финогеича, за сорок с лишком лет его кладбищенского служенья никто не убивался так пронзительно над покойником, не рвался за ним в могилу, цепляясь за гроб, будто обнимая уходившего, как над Аблаевым осиротевший Сергунька.

К тому времени обе стороны, живя рядом, сознательно избегали встречаться ввиду неминуемого разговора на одну и ту же, скрываемую и по-разному болезненную для них тему. Но однажды близ полуночи, отправляясь к знакомому шоферу за лоскутом ворованной подошвенной кожи о. Матвей невзначай и лицом к лицу столкнулся с Аблаевым, который возвращался домой после обычного для всей голодной твари поиска любой жертвы, волоча за собой полусонного парнишку.

– Вот с приятелем, вдосталь надышавшись свежим воздухом на сон грядущий, от трудов праведных отдохнуть идем... – застигнутый врасплох сипловато полупризнался дьякон.

Давно догадавшийся об истинной цели их необычных ночных прогулок и решась про-рваться сквозь разлучавшую их стену отчуждения, батюшка в таком же смущении поинтересовался в открытую – велик ли улов:

– Что, никак опять с пустыми руками?

– Не скажи, бывают и удачи, то бутылка-другая попадетсЯ, вещь с малым повреждением, еда, почти не бывшая в употреблении, требующая немало хлопот вернуть ей пищевую пригодность для ребятков, – также нараспашку отвечал Аблаев.

На минуточку у обоих полегчало на душе – настолько, что батюшка рискнул присоветовать дружку впредь обходиться без помощничка, чтоб не лишать его сна, не застудить в наступающей непогоде... А дьякон, отмахнувшись, жестоко пошутил – дескать, пора им закаляться к светлому будущему, которое уже не за горами.

– И то правда твоя, Никон, уж скоро мы оставим их перед лицом пустыни: пуцай при-общаются помаленьку.

И опять замолкли, попеременно ощутив на себе пристальный детский взор с вопросом, на который у взрослых не бывает ответа.

– Суетимся, стареем, Никон, а меж тем ранняя сменка-то подрастает... Ишь вытянулся, славный, ко всему понятливый, нешумный совсем: никогда тебя скрозь стенку не слышать! – похвалил Матвей, коснувшись влажного от измороси вязаного его беретика. – В кого же ты, в мать али папашу задался такой, тихоня?

– У меня папаши не было, мамку мою урки в лагере изнасильничали... вот я и зародился ей на горе, – не по-детски звенящим голосом признался мальчик, словно извиняясь за свое незваное появление на свет Божий.

И до гробовой доски Матвей Петрович не мог простить себе этот далеко не самый тяжкий грешок на фоне тогдашних злодеяний. Вина его состояла в том, что, хоть и лишенец, зато с наличием в семье трех рабочих единиц – он, неурочным часом оправдываясь перед совестью

своей, а на деле из малодушной боязни разгневать хозяйку, воздержался оказать вовсе нищему собрату посильное, но немедленное гостеприимство.

Всю следующую неделю, похоже, от Аблаевых даже за водой не выходил никто, словно вымерли. Дуня, относившая ребятам по колобку да миску вареной свеколки, застала всех дома, кроме хозяина. Сергуня зачарованно глядел в окно на скакавших по снегу ворон, тетка с ожесточением все стирала что-то, младшие беззвучно играли на полу. В сумерках охваченный дурным предчувствием Матвей навестил только что, якобы с поденщины, вернувшегося соседа, и тот с запинкой сообщил ему о своей потребности посоветоваться об одном, не при детях, самоважном деле. Так, по отсутствию более подходящего укрытия, очутились они в незапертом храме. К ночи до костей леденящий ветер поднялся, буквально с ног валил, а там, на правом клиросе, несмотря на холодище, было тихо и уютно, для их цели в самый раз хорошо – при свете крупносвечного воскового огарка, который шипел и брызгался, словно отбивалось от наползавшего изовсюду мрака. Немудрено, что в тогдашнем состоянии оба не заметили спокойной, на противоположной стене, откуда-то из щели убегающей в купол полосы таинственного сиянья... Но откуда было взяться луне в ту व्यюжную ночь?

Зябко потирая руки, дьякон грел их, почти вплотную поднося к пламени свечи.

– Да не пугай ты меня, сказывай, о чем молчишь, Никон... – под конец взмолился Матвей и за плечи его потряс, изнемогая от ужасных догадок.

– Благослови, Матвей Петрович, великий грех принять, – твердо вымолвил Аблаев и так вздохнул, что заматававшееся пламя упорхнуло бы, кабы не привязанное на фитильке. – Ничего мне не осталось, кроме как...

– Не смей, не смей, и слушать тебя не хочу... – зашептал о. Матвей, неуверенный, что хватит в создавшихся условиях всего христианского красноречия отговорить беднягу от задуманного шага. – Давно уныние в тебе примечаю, а нет ничего грешнее, чем духом пасть, когда все на свете нипочем становится. Понимаю, что дело твое аховое: утопая, за бритву схватишься, однако не затем, чтобы ею себе по горлу полоснуть. Если кормчие почнут шататься, всему кораблю гибель. Оглянулся бы на праотцев, как иного с головой волна накрывала благодатно, но избегал пучины не утративший веры пловец! – и сам еле преодолевая отчаянье, показал наугад на одного из них, внимавшего им сверху, со штукатурки.

– Погоди, Матвей Петрович... – отстраняясь от его объятий, молвил дьякон. – Рановато меня погребаешь, опять же ребяток в могилу с собой не возьмешь. Тут дело похуже складывается, потому что выхода у меня иного нет. – И вдруг усмехнулся с явным вызовом, неподобающим для места, где находились. – Дивлюсь, какая же ему власть на меня дадена, захватил поперек тулова и держит, зубов не разжимая, дыхнуть не даст?

Если в прежних упоминаниях о своих напастях дьякон подчас намекал на причастность к ним исконного врага неба и рода человеческого, то сейчас пришла пора содрогнуться и старофедосеевскому батюшке, едва смекнул – о ком речь.

Неточными, сбивчивыми словами дьякон поведал о. Матвею, как незримая, не называя – чья, глумливая рука затягивала на нем удавку... Испытывая на шее тесноту, затруднявшую дыхание, Аблаев дерзнул добиваться личного приема товарища Шарапова, который оказался в опуске. Замещавший его начальник со странно уклоняющимся от рассмотрения лицом подсказал просителю, что работы у них хоть завались – при желании любую должность подберут, хотя бы на прокладке эпохальной железнодорожной магистрали – с условием снятия сана и публичного отречения на большом рабочем собрании желательно в таком стиле, чтобы не только исключалось возвращение на покинутую стезю, но и те, кто собирался податься в религию, навек закаялись после такого зрелища.

Консультация происходила в полутемном, насквозь прокуренном и столь тесном закутке, что вплотную набившиеся туда местные, почему-то все на одно лицо – секретари, экспедиторы и коменданты – могли лишь стоя, один из-за плеча другого, наблюдать свою безмолвную, рас-

слабленно громоздившуюся посреди добычу; и все хором склонялись намеченную операцию начинать без промедления, ибо как с зубами, чем быстрее, тем менее болезненнее. Так что оставалось договориться только о самой процедуре отречения.

Тотчас на шуршливую змейку похожая девица позвонила директору недавно отстроенного в этом же районе Дворца культуры, который, похоже, того лишь и дожидался у телефона. В назначенное утро обнадеженный дьякон направился к нему на поклон, но к большой досаде Минтая Миносевича срочно вызвали в райком, после чего тот перебрался в плановую комиссию, откуда проследовал напрямиком на областной смотр балагурства и празднословия. Все шесть часов, проведенные в приемной, Аблаев оглаживал на себе гриву и, прокашливаясь в рукав, занимался сравнительным изучением бород и причесок на развешанных по стенам портретах ударников и лишь в обеденный перерыв, когда помещение опустело, поотдохнул от сверлящего из всех щелей любопытства.

К концу дня вернулся Минтай, смуглый мужчина, весь как бы изнутри проросший волосом, с адской поволокой в глазах, настолько внушительных размеров, что Аблаев казался при нем бородатым отроком. Видимо, из равнодушия к предлагаемому товару директор клуба все время беседы, пока проситель излагал свои нужды, то читал газету, то заколачивал в себя под пиво бутерброды с кетовой икрой и под конец без единого слова, нажатием кнопки передал дьякона клубному режиссеру для дальнейшего оформления. Обладая большой творческой фантазией, тот молодой человек предложил уже готовый на бумажке ритуал мероприятия с последующим во избежание скуки острижением волос, кроме чуба да запорожских усов под гетмана Наливайку. По игре воображения он даже придумал выпустить Аблаева на рампу в полном церковном облачении для глубины впечатления. Однако согласились на подрясник и без парикмахерского глумления в конце. Номер должен был завершиться страстным призывом прозревшего неопита ко всем ксендзам, муллам и буддийским ламам последовать его примеру. В целях идеологической цельности самое составление текста клуб брал на себя.

– Сам знаю, на что иду, – сокрушенно заключил дьякон свою повесть, – но, веришь ли, Матвей Петрович, на разбой пошел бы для деток, да вот на беду купцы-то перевелись нынче на Руси...

Некоторое время равномерная капель где-то в алтаре нарушала ночное безмолвие.

– Когда же назначено душу-то из тебя вынать?

– Сегодня что у нас, среда? – из какой-то ужасной дали откликнулся дьякон. – Вечерком послезавтра...

Оба не отводили глаз от длинного пламени, которому оставалось не больше пяти минут горения.

– Кровью-то расписки не требуют?

– Прямого разговора не было, но, веришь ли, как вспомню про девочек, как они там неслышно на полу в пестрые стекляшечки играют, как на руки мои глядят, когда вхожу, то вчетверо отдал бы... – и вдруг, не сдержась, спросил: – Что у **них там**, наверху, нищему за измену положено?

Вызывающий вопрос выражал скорее степень аблаевского смятения, нежели бунта. В создавшихся условиях отговаривать дьякона от задуманного было так же неуместно, как воспрещать ему принести себя в жертву ближним, тем паче малюткам, защита которых сама собой подразумевается в христианской морали.

Да и не в том ли заключается обязанность священника, чтобы обелить очевидное бессилие небес, похожее на прямое попускание заведомому злодейству, и примирить ум с горестной неизбежностью скорбей на земле. Тогда-то, поставленный в необходимость, и открыл Матвей дьякону самые коварные, с канонической точки зрения, скопившиеся, довольно рискованные мыслишки за неслыханное время сиденья за сапожным верстаком. Он гораздо больше нагово-

рил в тот раз, чем здесь приведено, жарче и сбивчивей, зато короче, так как недосказанное возмещалось преимуществами непосредственного общения.

По Матвееву признанию, его тоже давно смущали кое-какие явления, внешне как бы порочащие логику Божественного промысла, что однако не означает крушения веры, а лишь подчеркивает несовершенство наших знаний о Боге. Туманная, потому что впервые и вслух, высказанная мысль касалась главного догмата веры о непостижимом, во дни Ирода царя, сошествии Божества на казнь во искупление первородного греха. Ибо в чем ином может проявиться родство зеркального двойника с оригиналом, как не в божественности человека и человечности Божества.

– Подумаешь, Никон, на заре райского новоселья какая неизбывная беда приключилась: молодница неразумная, едва замужем, плода запретного вкусила. И за то проклят был во чреве весь род людской со всею еще неродившейся детворою включительно... А без того рокового яблочка, кабы воздержалась, кем бы люди остались – мотыльчками, воробушками, зверями лесными? У царей выше всех прочих совершенств – справедливость. Не усташусь открыть свою догадку об истинной причине милосердного акта Господня. Оно действительно состоялось, сошествие с небес, во исполнение первородного греха... весь вопрос – чьего? Не потому ли, что, вдоволь наглядевшись на горе людей, обусловленное их телесной природой, и порешился отец небесный предать палачам возлюбленного сына своего, чтобы испил чашу неведомого ему дотоле страдания нашего? Иначе, если впрямь нет у него жилища милее сердца человеческого, то как ему, осознавшему свою причастность к обстоятельствам, в этом доме пребывать и царствовать?.. Смекаешь теперь, в чем заключался голгофский подвиг его на земле? – глаза в глаза спросил о. Матвей и вдруг до холодной испарины ослабел весь, отрекшись от коренного догмата веры своей. Единственное оправдание о. Матвею заключалось в том, что страшную тираду свою произносил как бы в иступлении.

– Полагаешь ли, отче, что и в самом деле неприятно Господу нашему созерцать с небеси, как Аблаев понесет шершавому Минтаю душу свою за паек продавать? – со скрипучим сарказмом справился дьякон, и батюшка не ответил на его ужасный вызов, содрогнувшись при мысли, что там, наверху, слышат их диалог.

– Рвет мне сердце крик души твоей, но молчи, молчи, пусть не гордятся горем нашим, – чуть спустя, оправясь от шока, сказал дружку о. Матвей и какими-то неповторимыми, навзрыд, словами прибавил в утешенье, что сам Иисус будет стоять рядом с ним на помосте и совместно пригубит чашу горечи его. – Давай обнимемся напоследок, конченный ты мой человек!

Наставление бывшего попа завтрашнему отступнику, как вести себя на эшафоте, подошло к концу. Догоравшая свеча долизывала растекшуюся под огарком лужицу воска, и вдруг, перед тем, как погаснуть, взметнувшееся пламя населило сумрак кругом скользящими тенями, так что в последнее мгновение Никону почудилось даже, как еретическими вольномыслиями напуганный старичок в нижнем ярусе иконостаса, участник Никейского собора, по пояс высунулся в их сторону, приложив к уху ладонь. В следующий момент храм потонул во мраке, выбирались наружу впотьмах и ощупью в уже наступившую длинную бессонную ночь. Никто, кроме Финогеича, не знал о предстоящей аблаевской перековке, но и все остальные жители домика со ставнями провели в невыносимом томлении духа тот бесконечный день, пока ближе к вечеру не прибыло начальство с подручными.

В общем-то, от кладбища до Дворца культуры было рукой подать, однако Минтай сам подкатил за добычей на машине едва ли не за час до начала, и хотя дьякон был тоже изрядного роста, у него похолодело в сердце при виде сопровождающих его сотрудников впечатляющего вида: один из которых с челюстями для раскусывания кокосовых орехов, другой же имел лицо как переспелый ананас; всю дорогу до места он-то, на случай бегства, как бы по рассеянности и держал мощную длань на аблаевском колене. Не смея войти без дозволения в святое место, они протяжными воплями клаксона вызывали жертву к себе за ворота. Аблаев настрого запретил

домашним провожать его даже взглядом из окна. В последнюю минуту погружаемый в машину, в обжимку усаживаясь посреди провожатых, вдруг погано ослабевший весь, стал волноваться и заикнулся в шутку насчет пивка для храбрости. Было отвечено, что на обратном пуги хоть ведро любой крепости, а туда – ни-ни, чтоб не получилось неуважение к аудитории.

Выступление Аблаева намечалось в промежутке между двух эстрадных номеров, и во избежание пристрастного любопытства встречного персонала к отступнику, дьякон был доставлен через запасный ход напрямиком в кабинет директора, где его ожидал на подносе чай с бутербродом и трехъярусным пирожным на бумажке. Впрочем, оставленный без присмотра с незапертой дверью пленник вскоре пропал, и его нашли за туалетной комнатой в конце коридора, где он, приоткрыв стеклянную дверь на заваленный снегом балкончик, жадно закуривал мятую и не первую, видимо, папироску.

– Вот к проклятию готовлюсь, – сипловато покаялся Аблаев.

– Зря на сквозняке торчите, – потирая руки, точно мыл перед едой, приветливо пожурил его директор, – без того голос стал совсем как колокол надтреснутый.

– От переживаний растрескался, – в смертной истоме поведал дьякон.

Вокруг них в зловонном тумане пополам с табачным дымом тасовалась текучая толпа, и состоявшаяся здесь беглая беседа на далеко несовместимую тему, под шум спускаемой воды, воспринималась дьяконом греховным криминалом высшего порядка.

Разговор у них начался советом Минтая не трепыхаться зря, так как сама по себе предстоящая Каносса для новичка настолько щекотливая, на деле не большее, чем застарелый зуб тащить.

– Шибко-то в церковную схоластику не вдавайся, – фамильярным тоном сообщника по злодейству ободрил он напоследок, – а вот мужской сальный анекдотец в адрес Магдалины не повредит. Сообразно текущему моменту, юмор – улыбка ума. И особенно подкупает меня в тебе детское простодушие и нечто от Фомы Аквинского, в смысле быковатой внешности при чувствительной душе. И не дрожи.

– Стараюсь. Вот спросить еще собирался да забыл, как вас по отчеству величать, – от робости замялся Никон, – Минтай... Миносевич?..

– Нет-нет!.. Покойный Минос доводился мне папой разве лишь в том разрезе, что его супруга произвела меня на свет от его же родного дяди Посейдона, владыки морей, в честь его родители звали меня ласкательно Минтаем, так что во избежание династической путаницы зови меня просто товарищ Минотавр. Теперь что тебя беспокоит?

– Долго ли продолжится крестная мука моя?

– Ну это, братец, по рвенью... главное – с огоньком, чтобы мостов в прошлое не оставалось. Однако нам пора! – покровительственно заключил он, возлагая ладонь на темя аблаевское, причем оказалось, что тот приходился ему едва под локоть.

Видимо, в обиходе попривыкнув к повседневной бесовщине вокруг себя, люди сейчас не замечали вблизи, что при своих габаритах дьякон выглядел почти раза в полтора мельче клубного директора, про которого тамошние завсегдатаи шутили, что в его сапоге уместился бы мальчик лет восьми.

Тут Аблаев ощутил электрическое прикосновение просунувшейся под локоток руки, которая напрямик повела его сквозь почтительно расступившуюся публику перед экзотической фигурой дьякона в рясе с длинными волосами, как было условлено по сценарию отречения. И когда после нескольких ступеней вверх, за поворотом вправо открылось зияющее пространство, у него подкосились ноги, и пришлось бы экую громаду волоком тащить на помост, как на дыбу, если бы не лишняя спасительная минутка ожидания за кулисой, пока кончалось выступление самодеятельного квартета щипковых инструментов, задумчиво исполнявшего свой коронный номер на мотив – однозвучно гремит колокольчик.

Обычно клубные концерты передавались по радио, и дьякон заранее упробил Финогейча подежурить тот страшный часок под говорящей тарелкой в заводском снежном скверике. Всякая боль легче выношится, если родная душа хоть издали присутствует в момент ее причиненья. После выпавшего утром мокрого снежка хлипкое затишье установилось в природе; тяжкий шелест капли несколько мешал старику читать по звукам происходившее в зале, и по признанию старика, слезы в горошину катились у него из глаз, пока слушал корявое, по бумажке, бормотанье человека, публично, с растоптанием, отвергавшего Бога своего.

В те годы с целью привлеченья зрителя клубы стремились полезное сочетать с развлекательным – как детям добавляють сиропцу в горькое лекарство. Появление дьякона, принятого публикой за обещанного в программе иллюзиониста, знаменитого своим искусством мгновенно менять внешность, пол и возраст, было встречено чуть ли не овацией. Когда же Аблаев стал рассказывать, как порвали паутину средневековых суеверий, вырвался он на простор истинного прогресса, в зале пополз ропот разочарования. К несчастью вдобавок, самый текст покаенья, после долгих согласований в инстанциях с уймой обязательных цитат и вписок, по-птичьему трепыхался в дрожащей руке отступника, отчего случались двусмысленные оговорки, так что сбившись под конец, оратор перешел на смешное нечленораздельное гуденье. Выпущенный ему на выручку конферансье завел уморительный диалог на профессиональные темы, и, в частности, осведомился – сможет ли артист в подтверждение распространенных слухов произнести показательные многолетия, будто посредством акустических колебаний можно разрушить стеклянный сосуд средней емкости? Отступать было некуда: уже какие-то ловкие ребята бесовского облика тащили из буфета посудину на двести граммов с прицепом, а с первого ряда комично удаляли подростков, чтобы не поранило. Совсем не к месту заплакавшего дьякона вывели под руки в мертвой тишине, а Финогейч со своего поста смог расслышать чей-то вздох, сопровождаемый словами: о Господи!

Между прочим, зал был набит до отказа, а в переполненной директорской ложе находилось немало влиятельных лиц с женами, среди них знаменитый корифей Шатаницкий, которому очень понравилось мужественное, в коллизейном стиле, самосожженье.

В подсобном коридоре, отваясь на спинку скамьи, где его оставили отдыхать после казни, долго ждал дьякон, что вот-вот вынесут ему разрешительное, с красной печатью, свидетельство на право получения должности. Но время шло, с эстрады доносился сперва грохот полусотни каблуков, затем музыкальный плач пилы, а он все ждал, потому что смертельнее всего было теперь вернуться к семье без фактической расписки ада в получение одной исправной человеческой души. Проходивший мимо давешний сподручный Минтая посулил выслать справку тотчас по получении бланков из типографии и поручил милиционеру проводить гражданина на улицу. Здесь, лишь за воротами, на размокшем от слякоти пустыре, издали признав по походке, и подхватил ослабевшего великана подоспевший Финогейч. Домой возвращались затемно пешком.

– Духом-то не падай, Никон Степаныч. Главное – отлежаться теперь. Через овражек переберемся и дома, – твердил старик, поддерживая плечом обугленную громаду, и всю дорогу горевал об отсутствии баньки в Старо-Федосееве, ибо нет лекарства полезнее от всех болезней как на раскаленном полке, где впережку с ознобцем убаготворить тело веничком, пока не станет на место вывихнутая душа. – Злые стали люди, злые докрасна...

В заключение же пытался рюмочкой заманить пострадавшего к себе, чтобы сразу не пугать ребяток.

Те еще не ложились, и несмышленные повскакали навстречу ввалившемуся кормильцу. Мимо протянутых рук, пройдя к себе за занавеску, дьякон слег в постель и двое последующих, без пищи проведенных суток же отзывался на собственное имя. Лишь неотлучавшийся Сергунька доставлял заметное облегчение другу поглаживанием недвижной руки. Напрасно приоткрывшаяся тетка молила его пропить накопленные себе на похороны семь червонцев; напрасно

заходивший проведать Финогеич подтверждал, что прижиганье образовавшейся душевной раны действует не хуже бани; напрасно отец Матвей пытался влить в аблаевское сердце пастырский бальзам.

– Как подымешься, – говорил о. Матвей, раскрывая свой заветный клад, который втайне хранил на черный день для себя, самую главную свою надежду – уйти от судьбы, – сложишь всех ребяток заедино с барахлом в один кузовок да и махнешь на алтайское приволье. Проживает у меня там на небольшом озерце родной дядя жены, чуть постарше меня, человек хороший, тоже попом служил да после ссылки по нужде, как и я, в пчеловоды перековался. Ни тебе прописки в такой глуши, ни гоненья. А что касемо пищи? Так зверь-то не цингует, живет, а воск и медок, надо полагать, и при полном коммунизме не отменяют. И мнится мне среди работы за верстаком, будто иду босыми ногами по росной травке, иду и мысленно плачу от радости: совратился, сам не знаю куда, где не велено больше томиться, вздрагивать, казни ждать. Так и сижу с иглой в руке... Ты меня слышишь, Аблаев?

Однако тот молчал, рассеянным взором уставясь в окно на повалившийся хлопьями снег и – еще дальше куда-то. Он догорал молча и помер со слезами на глазах на пятые сутки без единого слова прощанья и прощенья.

Осиротевшая семья так же кротко и неслышно, как жили, куда-то стаяла вместе со снегом той зимы, и что случилось с ними потом – лучше не задумываться.

## Глава V

Слишком приятельское приветствие сомнительного корифея бросает дурную тень на человека вполне достойного, кабы не его богословское мудрование о вещах, запретных для ума, и еще надлежит заблаговременно изложить кое-какие сведения о бывшем священнике Матвее Петровиче Лоскутове, на судьбе которого построен ключевой миф о нынешней верховной смуте.

В сущности, жизнеописание бывшего священника целиком уместилось бы в полстранички. Добрые и щедрые наставники, как бы передавая из рук в руки, заботой и лаской пестовали его убогое детство. Еще в школе местный учитель, чахоточный мечтатель, отбывавший там царскую ссылку, заронил в кроткого паренька искру подвига во имя некой общечеловеческой цели, а после смерти матери мастеровитый шорник, по-соседски приютивший сироту, обучил его всем статьям своего умения – от сложной архитектуры русского хомута до всепогодной крестьянской обуви, что впоследствии и пригодилось о. Матвею, когда под влиянием обстоятельств вынужден был сменить пастырское служение на сапожное ремесло. И наконец, епархиальный архиерей, на выпускном экзамене тронутый поэтическим, без выхода из канонических рамок, толкованием столь туманного догмата, как тринитарность, не только довел даровитого юношу до семинарии, но и по уходе на покой, когда тот по традиции занял унаследованный от тестя скромный приход, не оставлял своего любимца без покровительства. Не он ли попозже, на основе своих служебных связей исхлопотал будущему ересиарху беспримерный дотоле перевод из вятской глуши прямиком на скромное, но еще доходное подмосковное кладбище? Но версия эта маловероятна в общественных условиях того периода, когда синодальное ведомство надолго утратило былую значимость.

Открытие Бога, ставшее призванием отца Матвея, состоялось в раннем возрасте, когда по дороге из лесу домой его застала в поле такая праздничная Ильинская гроза. Молнии с огненным треском раздирали небо над головой, а ливневая влага, ручьем стекавшая под холстинковой рубахой, придавала душе и телу жуткий трепет посвящения в тайность, а все вместе становилось восторженным чудом, облекавшим парнишку с головы до пят.

В избе у шорника хранилась старопечатная, именуемая **патерик**, книга с жизнеописаниями отшельников, иерархов и свяennemучеников российских. В зимние вечера, при копилке, ведя пальцем по строкам, питомец читал ее слепнущему благодетелю, который немигающим взором смотрел в огонь, умиленный чужою судьбою, не доставшейся ему самому. Юного грамотея тоже манили необычайные приключения святых героев, в особенности их поединки с нечистой силой, как у Иоанна Многострадального, по шею закопавшего себя в землю, и дикая прелесть уединенного жития в таежной землянке, куда слетаются окрестные птахи навестить праведника и охромевший зверь лапой стучится в оконце на предмет удаления занозы. В семинарские годы он помышлял о миссионерстве на северной окраине, чтобы, подобно Иннокентию Камчатскому, в утлом челноке пробираясь среди смыкающихся льдов, нести слово Божье отдаленным алеутам. В памяти юноши еще не угасло прощальное напутствие чахоточного учителя следовать примеру именитых предшественников прошлого века, тоже бывших семинаристов, беззаветно потрудившихся на ниве очевидного теперь разрушения исторической России. Выходец из деревенской нищеты, о. Матвей одно время испытывал горячие симпатии к революции бедных, и сам был не прочь принять в ней посильное участие. Тем паче прельщала русского батюшку новизна, преобразующая человечество наподобие всемирной, во Христе, образцовой пасеки, причем общественная устойчивость диктовалась уже не головоломным сплетением обоюдоострых истин, а тем социальным инстинктом улья, где все одинакие, и оттого некому завидовать, нечего красть и незачем убивать ближнего на баррикаде... покуда на собственном опыте не убедился, что означенная, медок творящая пчелка

трудовая, не забывающая о воине для свечи пасхальной, ныне насильно, во имя какой-то другой, не понятной ему цели впрягается в ее земной насекомый интерес с запретом мысленно всматриваться в небо, что и служило ему самому наглядным доказательством своей политической неграмотности.

С той поры героические помыслы его сменились преждевременным стариковским влечением к мирной жизни, чтобы, сидя в кругу многодетной семьи на террасе уютного домика с видом на речку и во благовремение вкушая вечерний чаек, слушать мелодичную русскую песню возвращающихся с покоса поселян либо, еще краше, любоваться деятельностью местных, своего прихода рыбаков, как они дружно и воздерживаясь от возгласов крестьянского просторечия, тянут на берег свои мрежи, полные живого, трепещущего серебра.

Казалось бы, всего тут с избытком наговорено про бывшего попа Матвея, однако не заключался ли коренной просчет эпохи именно в упрощенном подходе к человеку на основе анкетной биографии, которая есть не более чем телесный экстерьер, без заглядки в тайники подсознания, где под опекой рассудка ютятся в тесноте совесть и вера. Словом этим обозначалось у о. Матвея непрестанное, сродни таланту, ощущение благодетельного, над собою, присутствия надмирного и всевластного существа, отвергаемого наукой по невозможности приручить его в пробирке, *in vitro*, для подключения к коммунальному хозяйству на манер электричества. Ввиду масштабной несовместимости сторон для непосредственного общения человека с божеством, по ничтожеству одного и величию другого, детская вера сводилась к готовности при жизни пролежать песчинкой на безвестной вселенской тропке в ожидании – когда однажды, при обходе звездных владений Господь коснется его своей пречистой стопой. Отнюдь не чудо требовалось отроку; на пути к будущему призванию в раннем возрасте усваивается стариковская мудрость, что постоянным пребыванием среди дивных творений природы притупляется наше восприятие их божественной прелести. Также рано понял он, что и всякая драгоценность в потемках музейной витрины сверкнет не раньше, чем высветит ее там и прогреет благоговейное восхищение созерцателя. Простонародная душа терпеливей к страданию в надежде, что всякая, без вины, боль земная посмертно, по золотинке за бочку слез, вознаграждается в небесах. Впрочем, священник и не нуждался в подтверждающем сей тезис знамение небесном, пока все казни египетские не обрушились на его страну. Раскорчевка бывшей империи под всемирную цитадель интернационального братства началась планомерным искоренением православия, заложенного в фундамент русской государственности. Вслед за изъятием ценной служебной утвари из алтарей стали редеть храмы на Руси, а с уцелевших посылали их медные глаголы, чтобы вкрадчивым напоминанием не омрачали наступившую весну человечества. Старинный собор старо-федосеевского некрополя с наспех залатанными повреждениями октябрьского штурма еще сохранял свою внешнюю парадность, быстро тускневшую от наплыва покойников, которые буквально ломились на кладбище, отбоя нет, слово торопились поспеть на обительский корабль до его отхода в потустороннее плавание. Не радовали бедного вятского попа обманчивые приметы приходского процветания – текучая волна богомольцев, расточительный дым кадильный, гробы, проплывавшие мимо под безутешные рыдания провожатых, вплетенные в райские напевы почти концертного хора: пугало зловещее обилие отовсюду слетевшейся экзотической гольтыбы.

Точно с ветру взявшиеся благородные матроны в кружевных траурных косынках убрали нагар со свечей, торговали рукодельными цветочками и погребальной мишурой в украшение могил, а преобразившиеся в садовников и регентов бравые, воинского обличья и с седыми подусниками старички пели в хоре, хлопотали по благоустройству новоприбывших на кладбищенском новоселье. Задолго до утрени, от ворот до паперти выстраивалась шеренга обломков прошлого, где попадались призрачные игумены владычных монастырей, и митрофорные протоиереи с академическими значками на груди, а среди них известный о. Матвею по семинарскому учебнику доктор томил евтики и, наконец, скорбно зажмурясь от постигшего их ничто-

жества, сами недавние давалцы на церковное благолепие. Все это чередовалось вперемежку с калечным и бездомным божьим людом, похмельным сбродом и просто рваньё человеческой; держась за вделанную в стенку железную скобу, чтоб не утратить место в толчее, они зорко караулили пятак богомольца, устрашаемого при виде стольких протянутых рук; разок-другой пришлось и чуть не батожком унимать их голодную корысть. Томясь стыдом за свою временную сытость, потому что всякий раз искал в этой галерее нищеты свою завтрашнюю участь, о. Матвей с опущенным долу взором торопился миновать их жалкий квохчущий строй. На всех пока хватало кутьи и милостыни, но уже поговаривали в народе, что новая власть царем да богачами не ограничится, а после малой передышки примется за самые небеса.

Не более двух лет длилось тревожное процветанье Лоскутовых на новом месте. Близ очередного Рождества порывом того ветра смыло с паперти нездоровую толчею затянувшегося праздника. Закрытием именитого некрополя как бы отменялся исконный обычай племени провожать усопших заупокойной молитвой с восковой свечой и ладаном. Из искры возродившееся пламя быстро становилось повсеместной огненной бурей, в которой пылала и плавилась всяческая сорная старина – святыни, обряды, потребности, ремесла, включая тысячелетнюю государственность и самую веру русских. В середине первой пятилетки, куда ни глянь, по всему горизонту стлалось незримое, обжигающее душу зарево.

В былых крестьянских пожарищах на Руси неизменно наступал тот переломный момент, когда во всю ширь отчаянья раскрывается бесполезность дальнейшего сопротивления огню. Уже без причитаний и молитв ночная суматоха сменяется отрешенным созерцанием, как повсюду прорвавшаяся сквозь стропила рыжеволосая беда швыряет в рассветную муть охапки искр, а шалый ветерок помогает ей пожирать основы бытия. Уже не плачут дети, бабы не бьются оземь головой, лишь собаки вопросительно косятся на помертвевших хозяев... Еще красочней из-под пера Матвеева вырвалось надгробное рыданье по отчеству в письме родному дяде жены, отставному протопопу Устину Зуеву, который, своевременно перековавшись на пчеловода, безнаказанно существовал пока в алтайской глуши.

«Доселе помнятся мне вещие слова твои из предпоследнего письма – «сколь не просится у тела душа моя, чтоб отпустило ее отдохнуть на небесном приволье, противится, держит крепко, дай Бог, в чаянии лучших времен... напрасно машет крыльями, бедняжка, отцепиться не может». Вот и моя тоже... Воистину обширная, незримая зола простирается ноне кругом нас: экое кострище из России содеяли – еще полвека отпыхает, пока не прогорит дотла! У них сколько веков плакал Иеремия, а мы только лишь спочинаем, и кто знает, надолго ли хватит наших слез. Соблазнились православные на жидкое братство и, не понюхав, вкусили досыта. Не про нас ли сказано: зарекалась ворона навоз скребать, а как увидит – обязательно. И вот – пала, грозная, в боях, не обнажив меча, дружина.

Я думал, когда новый строй придет, что будет общий улей, где все объединено. Людей ждет удел пчелок золотых, которые работают на хозяина и на Бога. А новые властители собираются перековать род людской на породу шершня, который, как сам видел, среднего размера муху обыкновенную запросто перекусывает пополам.

И вот, чуть сумерки, все мы, обреченное, слепнущее старичье, мысленно бродим по своей неостылой погорельщине и в потемках, благоговейно подымая из-под ног обугленные головешки, на ощупь пытаемся опознать, чем это было раньше. Доныне по указанию Господню гений и святость вели род людской из ничтожества на вершины всеобщего прогресса, но, чрезмерно жалостливые к чужому горю и, чуть дымком запахло, спешившие с ведрком помочь соседу, русские по любимой поговорке – на миру и смерть красна – сверх того мечтали об одинаковой для всех судьбе на базе равенства материального, однако же без превосходства умственного во избежание кровавых междоусобиц, чтобы всем и всего было поровну – вплоть до глада, холода и нищеты бездомной. Нас взяли на заманку всемирного братства... Боюсь, что вскоре Господь накажет нас исполнением желаний... – ибо оглянися, как жутко и страшно

железкой выскребаям разум из собственного черепа своего, стремимся погасить высший дар Его... кровью застигается рассудок от созерцания неотвратимых последствий... Невольная приходит на ум догадка – не в том ли заключалось историческое предназначение России, чтобы с высот тысячелетнего величия и на глазах у человечества рухнуть наземь и тем самым собственным примером предостеречь грядущие поколения от повторных затей учинить на земле без Христа и гения райскую житуху? И вот лукавый бес ночной шепчет мне под руку полюбоваться – как причудливо выполняется у нас нагорное пророчество о примате нищих духом в царстве Божиим.

Пишу сие не столько во утешение скорби, как ради осмысления жертвенной участи нашей в глазах потомков».

И потом приписал в конце:

«А еще грешен: частенько чудится мне, как бывало на вечерней зорьке перед покосом русские девчушки водили песни хороводные, в которых слышались зов, прощание и молитва».

Временами и вдруг одолевала о. Матвея срочная надобность выяснить – слышат ли там, в небесах, что творится на святой Руси?

Гонимый алканием чуда, не раз за зиму и на исходе дня, вскинув на плечи ветхий, вятской поры, козушок, кружным путем через боковой ход пробирался священник в обывательный храм. В год, как Кирова убили, жестокое поветрие порвало обшивку купола и через дыры вместе с голубями ворвались недуги подобных зданий, покинутых Богом и людьми. Пророки и евангелисты в кольцевом барабане покрылись известковыми нарывами, а запрестольная фреска вовсе превратилась в легкомысленный натюрморт. Зажмурясь, чтоб не видеть запустения, ничком валился на щербатый, выхоженный пол и, не простужаясь, по часу и дольше лежал распластаный, шепча сто тридцать восьмой псалом, и так был насторожен слух, что слышал паденье оторвавшейся от купола снежинки инея. Вдруг где-то над головой, как бы на тарабарском языке, возникала отдаленная речь вперемежку с плеском крыльев и глухим скрежетом скрестившихся мечей, и замирало сердце, принявшее мираж за докатившийся сюда отголосок битвы Добра со Злом. И не было о. Матвею ни намек, ни хотя бы утвердительного лучика в ответ, всего лишь курлыкали вверху слетевшиеся на ночлег иззябшие голуби, да вечерний сквозняк шевелил ржавые листы порванной кровли, да еще пришел Финогеич, отыскивавший пропавшего попа по следу в глубоких снегах той зимы.

– Беда с людишками, совсем припадошные стали! Подымайся, дакось я тебе помогу... – ворчал старик и придерживал беднягу под локоток, пока могильный озноб стекал обратно в камень. – Как в сказке говорится, чего еще тебе, старче, надобно? Сапожной иглой злата не добудешь, зато никакая рыбина зубатая в нищую-то нору за добычей не сунется. Слышь, волна какая вверху расхлесталась, а у нас тишина, как на дне морском. Нас-то многовато развелось, дай Ему отдохнуть от нас! Может, еще и повидаетесь, по ком скорбишь, потерпи... – И всю дорогу выговаривал смилившемуся батюшке о вреде лежания на плитах, ровно вымолоченный сноп – долго ли остудиться этак-то, а тот повинно отшучивался, дескать, приговоренные не простужаются.

...За те памятные полтора часа, потраченные на попытку логически расшифровать мистический иероглиф бытия, который все мыслящее читает в своем ключе, Матвею Петровичу живо вспомнилось одно опалившее ему душу утро давней поры полного сиротства между смертью матери и опекой благодетельного шорника. В бытность подпаском на селе, оставленный наедине со стадом и застигнутый грозой на лугу без всякого укрытия кругом, мальчик недвижно, с благоговейным испугом подлинного откровения выстоял литургию стихий, где чьи-то молнийные возгласы, чередуясь с басовитой осанной громов, завершились штормовым ливнем, насквозь промочившим парнишку. Наступившая затем, как бы по праву, робким щебетом пташек оглашаемая тишина звучала как совместный кому-то гимн благодаренья всей живности земной от затихшего стада до травы включительно. Любой из Матвее-

вых сверстников воспринял бы ту, во всю ширь окоема распахнувшуюся радугу как приглашение природы принять участие в ее беспечальных играх напропалую, но пастушонок лишь ежился в отяжелевших от влаги лохмотьях. Наверно, такая же, на грани разумности проступившая потребность в убежище от непогоды учила нашего предка преодолевать заодно и прочие неудобства первобытного существования, что и доставило ему сперва старшинство в семье, а затем и свойственную царям тоскливую одинокость, толкнувшую его впоследствии на розыск пусть отдаленнейшей, на микробном уровне, космической родни, которая почему-то никак не откликается на наши позывные. Не отсюда ли возникла дерзкая Матвеева догадка о вовсе невыносимом, герметически замкнутом одиночестве Демиурга, звездно взорвавшегося некогда блистательной россыпью миров?

Вчистую отбившемся от большой семьи Человеку потребовались труд и время изобрести перспективные средства общения с нею. Самым надежным из них оказалось полное, со стихиями заодно, порабоощение вчерашней родни во имя священной и пока никем не уточненной цели. Но если в мире, где подразумеваемое нечто глубокомысленно переливается из пустого в порожнее, эволюция осуществляет единственно осмысленное стремление к высшему совершенству, тогда что же является ее двигателем – соревнование с божеством, ностальгическая тяга ко вратам рая или нынешняя, во главу угла поставленная коммунальная обслуга расплодившихся земель? Уложившийся в дюжину строк обзор высотной гонки по гималайским серпантинам прогресса с тормозным визгом на поворотах и зависанием колес над обрывом, после подъема на перевал наконец-то завершается выходом в просторное небо. И там, в сияющей дымке горизонта, профилно угадывается мечта обетованная, совсем близкая теперь, кабы не зональная пропасть впереди. Поначалу мнилось – ничего не стоило перемахнуть ее инерционным броском сорокавекового разбега, но утратившая былую ангельскую крылатость старая мудрая глина тела Адамова опасалась сорваться в гулкую за краем круговерть с плывучими поверху облачками. Меж тем, сзади напирала беспечная, с несметными обозами цивилизации лавина человечества, и вот уж кончался отпущенный ему на раздумье лимитный срок. Именно тою, на полстолетия затянувшейся долькой космического мгновенья и датируется тогдашняя стоянка мира над бездной.

И правда, в сравнении с тем, что творилось на Руси, даже с учетом незаживаемой раны Лоскутовых, тишина установилась в старо-федосеевском некрополе, как на дне моря житейского. Если не считать газет с призывами на разгром старого мира, истинные отголоски бушевавшей наверху бури достигали сюда в виде обломков через заказчиков, вчерашних прихожан, нуждающихся в наставленье либо исповеди, или в панихидке по родственнику, внезапно изъятому из обихода, а то и ввиду собственной своей насильственной кончины. Особо запомнились два таких случая, – в одном – ветхая старушечка с ридикюлем слезно просила заочно отпеть любимого внука и, видать, то ли для снискания социальной симпатии, то ли из опаски, чтобы не спутали на небесах, совала растерявшемуся батюшке фотографию вихрастого юнкеришки в еще несмятых погонах. И у Матвея Петровича не хватило мужества отклонить ее наивную и фантастическую просьбу о придании земле фотокарточки убиенного без суда и следствия, хотя, кабы раскрылось, власти расценили бы его поступок как пособничество контрреволюции. Казалось бы, старушка добивалась даже канонически непредусмотренного погребения картонки с портретом расстрелянного. А в другом речь шла всего лишь о совершении погребального обряда, правда, в присутствии будущего покойника, в чем, по существу, заключалось благословенье его на нечто еще более страшное, чем простое самоубийство. Впервые опаленный дыханием эпохи, батюшка испытал надолго парализующий шок, словно прикоснулся к проводу смертельного напряжения.

Лунной ночью ранней зимы, сразу после Покрова, батюшку разбудил воровской стук в окошко. В шлепанцах на босу ногу, с одеялом внакидку и крадучись, чтоб не разбудить семью, выскочил в сени и, ухом прикинув к двери, ждал снаружи обычного пароля таких вторжений,

вроде нуждающегося в приюте запоздалого путника или срочной телеграммы, но молчали и на крыльце. Когда же, подчиняясь странному влечению, посдвинул засов, в дверную щель к нему силой протиснулся с воспаленным взором некий юноша, спекшимися губами шептавший что-то неразборчивое. Незнакомец именем Бога заклинал о. Матвея отпеть его безотлагательно, причем торопясь расплатиться за свою жуткую надобность, совал ему какую-то вещицу в бумажке наугад, в напрасном поиске кармана на ночной до пят рубaxe последнего.

Практически такое почти не встречалось в прошлом. Один ближайший, а ныне в дальней отлучке находящийся родственник, начитанный по части исторических курьезов, рассказывал отцу про известного своими причудами Карла Пятого, повелевшего придворным отслужить о нем заживо, в гробу, заупокойную мессу, и клир послушно исполнил над ним полный погребальный обряд. При внешнем сходстве разница заключалась в том, что если там, четыреста лет назад, отпевание происходило во утоление философской любознательности – испытать промежуточные состояния по дороге в царский саркофаг, то здесь таилось стремление любой ценой укрепить волю на умерщвление тирана, тем самым утратить чувствительность к ожидавшим его пыткам. Налицо был тот случай, когда дух, отрекаясь от жизни, делает тело послушным инструментом подвига, ибо мертвому дыба не страшна. Бедный поп оцепенел от догадки – на кого замахивался безумный юнец.

Оба они, священник и будущий убийца, дрожали.

Один – с перепугу, другой – от нетерпения выполнить веление совести. На выручку до костей промерзшего хозяина подоспел вышедший на шум Финогеич и, как был босой и не вникая в суть дела, ловким матросским швырком скинул с крыльца явно сыскную личность. Движимый не только отеческой жалостью, но и социальным сочувствием, пожалуй, к несостоявшемуся герою, почти двойнику другому, единокровному, батюшка вовремя приказал старику отступить от мальчишки, который, сидя на снегу, корчился и грыз шапку... Кстати, та оброненная в сенях вещица в бумажке оказалась золотой монеткой, в милицию о. Матвей свою находку не сдал как прямую улику общения с важным, да еще отпущенным на волю преступником, а также из боязни, что настрого спросят – где остальное.

Сходное вторжение эпохи на старо-федосеевский некрополь повторилось год спустя, зимой же и тоже при луне. Перестрелкой под окнами разбуженные жители домика застали лишь самую развязку события, когда погоня настигла беглеца. Немного удалось им разглядеть сквозь наспех расцарапанную наледь на стекле. В белесом сумраке ночи происходила суматошная, как в плохом кино, схватка теней, завершенная глухим, без вспышки, выстрелом впритык. К рассвету вышедшая на разведку молодежь ничего не обнаружила на месте происшествия, которое легко сошло бы за забаву могильных нечистей, кабы не красная льдистая дырочка, протаянная в натоптанном снегу.

...Оглушаемые фанфарным лязгом похвалы и ночным грохотом на всю мощь запущенных грузовиков, большинство современников, кроме самих расстреливаемых, не подозревало в полном объеме того, что раскрылось им после смерти вождя, хотя убойной всячины и тогда было уже достаточно для эсхатологических раздумий – чем в конечном итоге и, судя по такому началу, должна завершиться наша земная путевка. И так как застигнутым бедою на малом островке выгоднее держаться вместе, то на очередной вечерней сходке жителей домика со ставнями, встревоженных только что состоявшейся казнью крупнейших тогдашних генералов страны, естественно, возник вопрос: не заглянет ли теперь зловещая судьба и в их печальный закоулок? Сама собой возникла дружная, с участием тогда еще живого Аблаева, беседа скользкого содержания – откуда взялась такая разноликая, пополам с издевкой, скорбь земная, противоречащая догме о стопроцентной полноте христианского существования? Высказались одни мужчины, каждый – на уровне своего разумения о предмете и с тою предельной четкостью на гребне волны, когда мысль становится отпечатком личности. Сильнее всех подкованный в науках, студент второго курса Никанор, по аналогии с двойными звездами, выразил сме-

лую догадку насчет Добра и Зла, будто не **одно-единственное**, а целых два равноправных и взаимополярных начала своим вращением вокруг третьего надмирного и лишь математически помышляемого суперобъекта балансируют обеспечивают гармонию вселенной. По мнению тоже начитанного и младшего в семье тринадцатилетнего отрока Егора, беда диктуется переизбытком статического электричества, производимого все возрастающим в условиях крайней тесноты трением народов и особей друг о дружку, чем и объясняются частые самовозгорания человечины. Покойный дьякон, напротив, истолковал Зло как контроль над излишним милосердием Добра, его щедростью, попустительством, чтобы не случилось разорения и оскотения. Что касается Финогоича, то, мыслитель по своей шекспировской специальности, он разрубил завязавшийся узелок своей лопатой в том смысле, что скоропалительное, за шесть суток создание мира даже у Творца не могло обойтись без технических промахов, как нонче у Советской власти на наших глазах. Тут все замолкли и выжидательно уставились на своего председателя, которому полагалось заключительное слово. Наверно, как и у прочих знаменитых отступников, ересь матвеевская образовалась из постоянной близости к объекту поклонения, подобно тому, как от длительного пребывания в окружении царственной особы благоговение придворного незаметно вырождается в привычку, почтительную фамильярность, позволяющую ему снять пушинку с плеча государя, поправить складку коронационной мантии. И так как рассмотрение божественной темы под углом брэнного человеческого бытия в корне противоречило неприкасаемым догмам вероученья, то Матвей Петрович постарался значительно смягчить свое вопиющее вольномыслие, чтобы, по Писанию, с жерновом на шее не утонуть **в пучине морской за соблазнение малых сих**.

На стыке фанатической веры и благочестивого вольномыслия насчет кое-каких явных логических неувязок и вознамерился батюшка последовательно, догмат за догматом, разъяснить весь Филаретов катехизис на уровне, доступном даже для сельского населения. Было известно с давних пор: распря небесная началась из-за человека, оказалось тут, еще задолго до появления его на свет. И лишь после уймы бессонных ночей, которые провел за сапожным верстаком, мысленно исследуя ускользающую от ума непреложную истину, наткнулся вдруг на каверзный и никем дотоле не поднимавшийся вопрос: а собственно зачем, в утешение какой печали Верховному Существо, не знающему наших забот, потребностей и вожделений, понадобились вдруг грешные, дерзкие, скорбные люди и почему никто пока не усомнился в туманном богословском постулате об изначальной любви к своим завтрашним творениям, ибо как можно заранее полюбить еще не родившихся? Недели две подряд о. Матвей мучился над другою и явно духом тьмы навеянной догадкой, что человечество было изобретено по хозяйственным соображениям, дабы не пропадала даром излучаемая свыше благодать. Самое вероятное, третье, строилось на убеждении – ежели уделом земных властелинов бывало одиночество, то надмирный вдобавок, в силу своей способности делать благо без затраты физических усилий, в создании людей не знал и творческой сытости, достигаемой тою блаженной усталостью, позволяющей мастеру наградить себя своею собственной похвалой, для взыскательного художника высшею на свете, что полностью согласуется с библейским эпизодом, где создатель вселенной, по отраслям обозревая свое титаническое деяние, четырежды произносит ему скупую и щедрую оценку: **хорошо**. Отсюда начиналось все, о чем идет речь, и оттого даже в помысле трудно допустить такую разновидность предварительного пространства, как абсолютная пустота, чтобы в нее вписалось столь же иррациональное, потому что ячеистое мироздание со множеством одинаковых вселенных, мнимая несоразмерность коих объясняется чисто перспективным эффектом расстояния одной от другой, ибо в расширяющемся объеме без центра нет такой мелкости, чтобы еще меньшее, но равное не уместилось в ней. Мироздание, подобно батавской слезке, ворвалось в едва готовую пустоту с температурой абсолютного нуля клубком огненных молний.

И так без остановки вширь и вглубь, чем дальше, тем сложнее, пока поиск первичной истины, как обычно, не завершится вывихом ума. К тому же вся эта реальная необъятность предназначалась, видимо, для заселения обыкновенными людьми. Разгадка заключалась в том, что небесная благодать поступает к нам сверхмощными выплесками пылающей плазмы, в которой растворены равновеликие открытия по обе стороны Добра и Зла, одинаково для свободного выбора обеспеченные полновесной казнью вселенского всемогущества. Но люди из еще неостылых обломков протуберанца, вторично пропущенных сквозь жаркие тигли своих сердец, как из исходного материала, выплавили себе лишь таившиеся там дотоле сокровища, как музыка, молитва, магия, математика и прочие производные от мысли и мечты, – спектральный менталитет собственного, пусть на меньшем числе координат райского мирка, достойного звездою сиять в короне Вседержителя, если бы тысячелетия спустя ученые потомки не усмотрели в благородном диаманте досадные изъяны вроде погрешностей социальной огранки или затемнения по наличию глины, оказавшейся наиболее рукопослушным материалом при изготовлении перво модели человечества. Догматическое свидетельство Моисея об оправдании нашего праотца по образоподобию Божию и переданное нам в апокрифе Еноха дерзкое поведение будущего сатаны в большом доме подтверждают версию Матвея Петровича, что Адам был задуман Богом как промежуточная рабочая ипостась между собою и ангелами с подчинением последних человеку. Разыгравшаяся затем ссора плачевно отразилась на дальнейшей истории человечества. Впрочем, никаких ангельских мятежей не было, да и не могло быть, потому что как могли призраки пронзать друг друга копьями, рубить саблями, оставаясь бессмертными?

## Глава VI

С детства проявившиеся технические склонности у мастеровитого отрока Егора, наряду с сапогами обозначенные на фанерной дощечке у кладбищенских ворот, к тому времени приобрели в округе некоторую клиентуру, пусть более скромную, чем у отца. Избранные им ремесла: радио и фото, временные у будущего крупного конструктора еще неоткрывшейся отрасли, уже доставляли хоть и несравнимый с отцовским, все же чувствительный прирост в скромном семейном бюджете. Далекий от увлечений тогдашней молодежи, о. Матвей явно с укоризной относился к первому из них – в силу подозрительного звучанья непонятных наименований, наводивших на мысль о сущности участвующих там сомнительных стихий. Под странным названием супергеттеродина вполне мог скрываться продолговатый демон драконьего цвета с вилами в руках; модуляция невольно рисовалась батюшке в образе змееобразно извивающейся плясавицы, а при упоминании слова пентод в воображении возникал один вовсе вслух не называемый предмет. В особенности раздражали о. Матвея починочные, после школы, занятия младшего сына, когда тот со свистом и грохотом гонялся по всему свету в поисках заморских станций. И благодатная вечерняя тишина уступила место адскому беснованию, где в плескучее, медное завывание вплетались – то писклявый, то басовитый свинячий хрюк, то взводистые взвизги заведомых, как бы рогами бодаемых блудниц, исполняющих непристойные танцы в обнимку с видными деятелями обреченного капитализма. Да и то вряд ли пожилые христиане способны были в такой степени наворачивать суставы, крутить ногами вверх головы, под команду вертепозаведующего выколачивая чечетку.

– Ишь, как выгибаются, болезные, – дивился батюшка, всматриваясь в колдовской ящик поверх очков, которые почему-то надевал при слушании самоновейшей музыки.

– За тыщи верст слышать, как щиблетами пришепetyвает... Видать, дармовые у них в аду подметки!

– А вы еще сомневались насчет их социального загнивания, – спешил Никанор подчеркнуть авантюризм военщины и банковскую корысть на фоне возрастающей безработицы. – Вот вам лицо современного империализма!

– В щелочку поглядеть бы, – машинально считая петли, вставляла Прасковья Андреевна, – в **неглиже** для облегченья действуют или как? Вспотевшему да раздевшись недолго ли и ревматизм схватить: у всех у нас на земле организмы нонче истощенные, подточенные.

– Шибко-то не жалей их, мать, в аду не простужаются! – вразумлял супругу Матвей Петрович и, мирясь с оглушительной работой младшего сына, как-никак уже теперь советчика, помощника и почти зрелого мыслителя по эпохе, лишь просил его малость поубавить звук.

Совсем по-другому, одобрительно, относился Матвей Петрович к смежной специальности оборотистого отрока, который из-за перегрузки казенных фотомастерских в тесном, разумно оборудованном чуланчике брался за срочное изготовление снимков самого широкого профиля – от паспортов и служебных удостоверений личностей до свадеб, юбилеев, похорон по заказу уже редких, но покамест здравствующих современников, стремившихся увековечить памятные события жизни в семейных альбомах. Чуть позже того, как присудили к смерти девятерых сразу главных большевиков, родители упростили уважаемого Егора потратить на них одну фотопластинку по случаю их двадцатипятилетнего супружества, причем отец посулил в полушутку, что Господь возместит ему потраченный химический состав и проявленное усердие. Батюшка, облекшись в парадную рясу, а матушка с веткой искусственной сиреньки в руке уселись на любимое канапе, и мастер накрылся вместе с аппаратом большим черным платком и торжественно совершил свое священнодействие.

Четверть часа спустя юный фотограф выскочил из своей лаборатории бледный со свежим, пробным, еще мокрым отпечатком в дрожавшей руке. И впрямь было отчего всем свиде-

телям событий утратить самообладание: позади сидящих юбиляров стоял долговязый, никому из жильцов домика со ставнями, кроме Дуни, не известный молодой человек с улыбкой извинения на лице за свое незваное вторжение. И правда, робкая благожелательность и такое пронзительное обаяние читались во всем облике незнакомца, если бы не эта чрезмерная домашность поведения, вроде того, что не следовало бы фамильярно класть руку на плечо ничего не подозревающему о том священнику.

К моменту, когда постигли естественные пополам с досадой возгласы удивленья, подошел Финогеич, который принял участие в начавшемся обсуждении необычного феномена. Кажется, он-то и присоветовал хозяевам сгоряча обратиться за разъяснением получившейся мистики в периодическую печать, однако, по дельному замечанию Егора, именно наличие необъяснимой фигуры, возможно, иностранца, на семейной фотографии могло по тем временам сократить затянувшееся существование старо-федосеевской обители с ее живыми обителями заодно. А пока рассуждали – не упразднить ли предательское стекло вместе с непросохшим оттиском к бесовой бабушке – сам, догадливый виновник приключения добровольно за дальнейшей ненадобностью исчез с негатива и бумаги, что вызвало еще большее недоумение.

Тут и последовало единственное на этом этапе наших знаний, рациональное толкование загадочного факта:

– Подобные явления уже не раз встречались в науке, – успокоительно пояснил Никанор. – Дело в том, что вся совокупность наших впечатлений где-то в глубинах подсознания тотчас фиксируется автоматической нейронной записью, элементы которой, систематизируясь соответственно моменту, преобразуются в психические миражи не меньшей реальности, чем мироздание в целом.

Прогноз даровитого студента полностью оправдался, ибо то было фактически первое появление ангела Дымкова, который в шутливой форме предупредил обитателей домика со ставнями, чтоб не пугались его, когда он заявится к ним с визитом.

Кстати, мельком стоит упомянуть некоторые предваряющие теперь уже близкую будущность и связанные с Дуниной болезнью, странные обстоятельства в семье Лоскутовых.

В тот вечер все обратили внимание на молчаливую отрешенность Дуни при обсуждении столь впечатляющего явления. Да мать в придачу заметила, как ее дочка, смущенная уймой догадок о подозрительном субъекте на снимке, принялась носком туфельки поправлять загнутый уголок половика, тем самым уличая себя в знакомстве с явным призраком, которого по невинной детской робости, видать, постеснялась сразу представить родителям.

Проявленная ею мнимая и неумелая безучастность к только что происшедшему лишний раз убедила стариков в серьезности недуга, симптомы которого и раньше внушали им опасения за душевное здоровье любимицы. В сущности налицо была с древности известная, мифотворческая способность избранных видеть в окружающей природе как бы искусно встроенные туда образы, символы и сюжеты. Но если у античных греков то была полуденная сказка о веселых и наивных божествах с их забавными подвигами, шалостями и ссорами – поэтическое освоение действительности для последующего подчинения уму, то Дуню окружал сумеречный мир с приметами той жестокой политической реальности, какую жили ее нация и семья. Скопившиеся в нем виденья обычно оживали к исходу дня, а остальное время прятались в складках ткани, в причудливой лепке древесной листвы, в очертаньях туч, отовсюду украдкой следя за Дуней, так что порой приходилось защищаться, отворачиваться от посторонних любопытных взоров, заклеивать бумажкой сучки на бревенчатой стене светелки, потому что были сплошь глаза – птичьи, рыбьи, жабы, ничьи. Если всмотреться, буквально каждая пядь пространства населена была потаенной жизнью, и все, в зачатке таящееся вокруг, готово было сойти к девочке для дружеского общенья. И, к примеру, как сладостно было ей в зимнее воскресное утро прямо из постели уйти и заблудиться в инейных, солнышком изнутри подсвечен-

ных джунглях на замерзшем окне. Словом, в Дуне проявилась та предельная степень душевной хрупкости, когда струна звучит еще до прикосновения пальцев.

Все эти тогда сигнальные симптомы нездоровья своей дочурки, дотоле не подвергавшегося клиническому обследованию, Прасковья Андреевна простодушно приписывала малокровью – по причине дурного воздуха в жилье, пропахшем старой ношеной обувью, и отсутствием витаминов.

Вскоре один заурядный для того времени и скорбный эпизод до крайности обострил Дунино заболевание. Несчастье случилось по весне, однажды, когда цвела сирень, как раз в день Дунина рожденья. Внимание сидевших за утренним чаем Лоскутовых привлек отдаленный всплеск веселых голосов, перекрываемый разудалым, под гармонь, пением неведомого солиста. Сюда и раньше, по отсутствию столь же уютного природного уголка поблизости, забредали для мирного дружеского общенья и местные пьянчужки, на сей раз шалила молодежь. Сбившись у раскрытого окна, семья с возрастающей тревогой вслушивалась во взводистый, чуть сиповатый голос певца, в котором пополам с отрывкой звучала похмельная тоска. Через старенький перламутром выложенный театральный бинокль удалось разглядеть: из боковой еще непросохшей аллеи на главную вразвалку выходила дружная ватажка окрестных парней, совершая воскресный обход района в поисках точки для приложения избыточных сил и здоровья. Впереди шагал атаман, чуть постарше прочих, в черных, с напуском по моде тех лет шароварах и в крохотной козырьком назад легкомысленной кепочке – с непреклонным намерением ущекотать весь шар земной. Форсистая, единственная во всей гурьбе девушка делала плясовой выход с ритмическим неслышным притопом полсупожек и выводила звонистым девичьим голоском:

Ой, съела рыбину живую,  
Трепещится в животе.

Поведением своим молодые люди не причиняли какого-либо вещественного ущерба кладбищенской недвижимости, однако глава семейства, несмотря на старания домашних удерживать его от жизнеопасного порыва, чреватого последствиями неосторожности, мужественно направился к ним с отеческим назиданием о греховности шумных гулянок в обители мертвых. Хотя богослуженья в закрытом храме уже не совершались, все же по воскресеньям, **для порядка**, в силу нравственной потребности, он облачался в рясу. С той минуты старо-федосеевские жители могли уже невооруженным глазом и в самых щекотливых подробностях наблюдать дальнейший разворот события.

Навстречу обличителю из оравы сейчас же выделился тот, что с гармонью, приземистый крепыш, без головного убора, зато с фигуристым зачесом на лоб – на манер янычарского полумесяца. При виде русского батюшки лицо его смешливо суксилось, и такое необузданное вдохновение засветилось во взоре, что о. Матвею надлежало сразу сматываться восвояси. Он же, вопреки здравому смыслу, завел несусветную бодягу насчет почивающих здесь предков и беззаветных ихних исторических трудов, на базе коих процветает нынешнее наше отечество, даже цитатой из Евангелия приукрасив ее во усиление агитационного момента. Вместо ожидаемого раскаяния молодой человек наугад передал кому-то позади свой музыкальный инструмент и, молниеносно нагнувшись, поднял невесть откуда взявшуюся там, длинную хворостину. Но не успел озорник на пробу резануть ею по воздуху, как оробевший батюшка потешно, задирая полы рясы и прямо по лужам, пустился наутек, причем бежал он молча, из боязни призывами о помощи перепугать домашних, которые с замирающим сердцем наблюдали его фиаско. Вообще-то при желании загонщик мог в два прыжка настичь удиравшего старикана и разок-другой огреть попа в острастку, чтобы не делал впредь **опиум для народа**. Однако, находясь

в благодушно-праздничном настроении, гнал он его просто так, для разминки выходного дня и еще позабавить приятелей, которые издавали горловые подстрекающие звуки им вослед.

Преследователь непременно бы стегнул свою жертву напоследок, если бы погоню не остановила, как ни странно, самая слабая из свидетелей – Дуня. Со вскинутыми над головой руками метнувшись навстречу отцу, она закричала на пронзительной ноте, и вдруг будто что-то главное порвалось внутри, замертво рухнула наземь. Когда о. Матвей на последней задышке добежал до крыльца, девочка лежала на весенней травке, запрокинув голову и с открытыми в небо глазами. Венчик волос рассыпался, скошенные губы посинели, ничьи слова не доходили до ее сознания.

А когда очнулась, то лежала на канаве с подушкой под головой. Батюшка суетливо шарил в домашней аптечке подходящее лекарство, и почему-то под руку подвергивался один и тот же пересохший пузырек с каплями датского короля. Хотя пальцы и щеки у Дуни еще дрожали, она виновато улыбнулась всем, обступившим ее, и снова погрузилась в забытие, чтобы на следующий раз уже у себя в светелке застать сумерки за окном. Из боязни потревожить больную все домашние молча ужинали внизу. В тишине с окружной дороги раздался паровозный гудок, как напоминанье, что жизнь продолжается. Свет ночника на соседнем столике падал на непонятный ядовито-зеленый предмет, оказавшийся парфюмерным набором – мыло и одеколон в одной коробке – подарок от вернувшегося к вечеру Никанора. Сам он сидел сбоку на табурете, со сжатыми кулаками на коленях, безотрывно глядя на подружку. Позже матушка поднялась отпаивать дочку горячим травяным снадобьем с привкусом чего-то приятного, древнего, полузабытого. И вот уже зубки не стучали больше о блюдечко – добрый признак возвращения к жизни. И на другой день, собравшись наверху у Дуни в гостях, все дружно отметили находчивость Прасковьи Андреевны, у которой хватило сил удержать Егора от безумной попытки броситься на выручку отца, и особо порадовались тогдашнему отсутствию Никанора, который при его нраве и физическом сложении мог легко совершить опрометчивый поступок, чем на добрый десяток лет, как за классовую вылазку, прервал бы прохождение институтского курса. Потом все вперебой стали убеждать Дуню, чтобы не поддавалась страхам и потерпела неотвратимое, как святую болезнь, до поры, пока нынешний переполох успокоится, перемелется, забудется.

– Не хочу в завтра, сегодня еще до вечера хочу умереть, – еле слышно, с закрытыми глазами бормотала Дуня и впервые заплакала обильными, облегчающими слезами.

Неизвестно, в чем заключался клинический механизм ее душевной травмы, если с тех пор стали вдвое ярче и предметней ночные приключения ее из нашей яви в иную, полную суматошно-беззвучных, как в немом кино, корчей какой-то отдаленной полыхающей цивилизации, приобретающие в дошедшей до нас обработке Никанора зримую реальность текущей действительности.

По мере того, как развивался Дунин недуг, множились и родительские страхи. Все чаще подмечали старики, как она иногда, словно уверенная в чьем-то постороннем присутствии, остро воспринимала шорох за дверью, вслушивалась в пустую тишину и потом спешила заполнить ее притворным оживлением, испуганно отстранялась от вдруг шатнувшегося пламени на горящей свече. Через длинную цепочку прихожан, чтоб не пугать бедняжку, как бы в гости, Лоскутовым удалось пригласить на дом популярного некогда доктора по душевной части, и тот согласился приехать к священнику на другой конец города с расчетом навестить заодно своих прежних сотрудников и друзей, успевших переселиться навсегда в старо-федосеевский некрополь. Года два назад он заблаговременно и не совсем добровольно устранился от врачебной практики под предлогом возраста, после неосторожного, на собрании высказанного намека – будто наиболее частые психические заболевания века зарождаются от чисто эпохальных перегрузок, печальных условий коммунального существования, которые тем не менее служат закалкой населения для дальнейших преобразований в стадное единство, чем значительно

удешевляется система управления. Впрочем, батюшку упредили, что при обширном медицинском опыте доктор малость выжил из ума, хотя и сохранившегося вполне хватает ему для суждений по специальности.

До встречи с пациенткой долгожданный гость в сопровождении хозяина, встречавшего его у ворот, обошел часть кладбища и у некоторых могил, дорогих ему, по строгому выбору, постукивал тростью в землю, как стучатся в дом к приятелю, здороваясь или справляясь, – найдется ли ему там свободная коечка, а у других – вполголоса читал начертанные на стоячем камне вкрадчивые слова, какими мертвые вызывают к живым о сострадании и милостыне.

– Взгляните, батюшка, сколько у меня тут знакомых-то набралось! – палкой обводя пространство перед собою, говорил он. – Одних я лечил, у других почтительно учился. А в натуре выясняется, что вечные истины то и дело повинуются временной правде, которая поднятым мечом указывает им место в арьергарде. Меж тем, добиваясь абсолютной праведности, применяя стерилизацию жизни, чтобы обезопасить себя от греха, мы заодно убиваем бродильный грибок, вдохновляющий нас на поиск лучшего! – и со значением усмехнулся закопанному у него в ногах ординарному профессору Московского университета, как если бы продолжал тридцатилетней давности полемику. – Чудесно, знаете, в мои годы гуляется по кладбищу под вечерок: когда с вершинки возраста все видно кругом и никуда не надо торопиться... Однако воздух заметно холодает, ведите меня теперь к вашей дочке. Скажите, вот вы давеча мельком какого-то ангела помянули... остальные ее виденья тоже с божественным оттенком?

О. Матвей сокрушенно развел руками:

– Правда, под влиянием обстоятельств, от Церкви сам я шибко отбился... но все равно, к прискорбью родительскому, что-то не замечал я особой набожности в детках нынешнего поколения... Да еще неизвестно – кто он таков, – уклончиво отвечал батюшка из понятных родительских опасений, что невыявленный призрак, сопровождающий дочку в ее ночных странствиях невесть куда, на поверку может обернуться личностью inferнального значения. – Но мать сама слышала, как Дунюшка ангелом назвала провожатого в ту ночь, когда тот уводил ее в свою, жутко сказать, непостижимую пустыню.

– Так-так, очень хорошо... – уже с профессиональной приглядкой и к хозяину поинтересовался обходительный старичок. – И в чем же заключается она, напугавшая вас непостижимость?

– А в том, что умещается сия необъятная пустыня внутри нашей кладбищенской ограды, простираясь далеко за пределы нашей местности, причем как бы вдетое одно в другое... – смутясь его пристального взора, сказал о. Матвей и за неимением подходящих слов показал на пальцах, как оно образуется.

Тем временем подошли к домику со ставнями, и оттого, что визит хотя бы и отставной знаменитости явился для Лоскутовых маленьким просветом в их тусклых буднях, принарядившаяся Прасковья Андреевна вышла встретить именитого гостя на крыльцо в шерстяной, с розанами, шалью на плечах. Рядом с матерью истинная виновница, настороженная праздничным переполохом, выглядела Золушкой с предчувствием бедствий в душе.

Предусмотрительно отправив Дунюшку к ней наверх, втроем присевши вокруг стола, родители по артикулу науки выдержали положенный обстоятельный допрос насчет психической ущербности родни. После чего врач по скрипучей лестнице поднялся в светелку Дуни, где в душевной беседе наедине она без понуждений раскрылась симпатичному дедушке во всех тайностях своего дара и даже поведала кое-что из запомнившихся ей видений, пестрая и сбивчивая сложность коих, непосильная для детской выдумки, и доказывала их достоверность.

Когда часок спустя обеспокоенные родители поднялись к ним, те беседовали шепотом, взявшись за руки. Ни следа омраченное™ не читалось в ее лице.

– Входите... мы вчерне почти закончили, но пусть пока бедняжка отдохнет от моих распросов, умница такая! Будет лучше, если остальное мы обсудим там внизу, – предложил док-

тор и в ответ на вопросительное внимание стариков к беспорядку на столе методично вернул в коробок раскиданные спички и захватил с собою испачканные кляксами листки бумага – проверочные тесты умственных способностей пациентки, чтобы обстоятельно и по старинке разъяснить ситуацию родителям.

Оказалось, в хаосе чернильных пятен, ровно как в застылой листве вечернего сада, в сочетании облаков полдневных пытливого воображение легко просматривает силуэты, фигуры, символы и в самых чудовищных ракурсировках фантомные твари, каких на свете нет. При толковании непонятого слова **парейдолия** он назвал им неслыханное тут имя некоего Леонардо, который советовал ученикам творчески вглядываться в плесень отсыревшей штукатурки, где, по признанию профессора, сам он неоднократно различал и битву гарпий с гигантскими улитками, и воспламененное шествие нищих Петра Амьенского в Святую землю, и вовсе экзотические находки, способные обогатить художника разнообразием таящихся там тематических мотивов.

Мимоходом ученый старик заглянул в подсознательную глубь гениальных прозрений, где скопившаяся боль преобразается в могущественные фантомы, известные древним под именем демонов, причем одни из них намертво поселяются в зачарованном хозяине, не выпуская пленника вспять на волю, другие же, окрыленные избыточной одержимостью, вырываются наружу и, становясь героями шедевров, веками блуждают по миру в образе ужасных или пленительных призраков, вместе с живыми людьми активно сотрудничая в формировании не только духовной, но и политической действительности. И наконец, пользуясь избыточным временем пенсионера с бессонницей впереди, лектор не преминул упомянуть гениев высшего полета, создававших могучие религиозные мифы и устремлявших поколения огненным потоком на силовое подчинение языческих народов своему догмату и под своей эгидой, тем самым обрекая нацию на вдохновенный героизм, истощительную эйфорию военных невзгод и нередкое затем горькое похмелье отдаленных потомков. И вот великая с тысячелетним стажем империя после такой же всемирно-исторической вспышки с безумным разбросом жизненных сил во внешнее пространство на наших глазах и подобно взорвавшейся звезде превращается в красного карлика, каких немало скопилось на нашем небосклоне.

– Дело в том, – продолжал старик, в силу преклонного возраста уже не опасаясь сыскного уха за дверь, – что большой прогресс достигается избыточным вдохновением сверх положенной трудовой нормы, оплачиваемой помимо харчей, жилплощади, ширпотреба и обязательной радости труда с выполнением доставшейся тебе доли в никем пока не разгаданной всечеловеческой эстафете. Всевозрастающий дефицит сего животворного витамина в скудном нынешнем пайке под трубный призыв к непрестанному титанизму неминуемо завершится однажды пандемией душевной цинги с ее симптомами нравственного опустошения, жестокости, эгоизма и уже генетической апатии с напрасными попытками забыться посредством дурманящего зелья, спазматических танцев в стиле хлыстовских радений и наивной дедовской тарантеллы, названной так по сходству с корчами от укуса тарантула. Если в прежние времена иные, обреченные на казнь, обладали даром на подъеме духа терять чувствительность, благодаря чему кротко и молча, как божья свеча, сгорали в кострах Средневековья, то нынешние чересчур впечатлительные особы Дунина психического склада автоматически, в обход петли и шприца с отравой, выключаются из действительности, вот и ваша дочка убегает от яви в необъятные просторы самой себя, где она в плеске текучей воды слышит голоса, с ветерком и цветами разговаривает, во мгле за горизонтом предупредительно, кабы ей поверили, читает ожидающую нас вещь, быть. К несчастью, запуганные навек вперед, мы до самой катастрофы не осмелимся произнести вслух происхождение недуга, постигшего вашу девочку.

– Да ведь Дунюшке такой нагрузки и не выдержать, хворающая она у нас, отрада наша! – на вздохе сожаленья сказала матушка, машинально взглянув на Богородицу в углу.

Слегка послушав тишину, доктор дружественно положил руку на запястье Прасковьи Андреевны:

– Сегодня уже нередкое заболевание ее через сотенку лет, а то и ближе... может стать чуть не поголовным, – добавил он тоном иронического благовестия в ответ на тревогу стариков. – Если учитывать скорые и неизбежные потрясения мира, в наблюдаемом явлении нет причин для радости, то и для огорчения их нет. В плане самосохранения автоматическое отключение особи от жгучих впечатлений бытия выгоднее для вашего ребенка, чем судьба тех, кто такой способностью не обладает. Общеизвестно, что зачастую именно боль душевная, впитавшая чьи-то потаенные сомненья и чаянья, подобно жемчужной раковине, становится источником откровений и сокровищ, которые с разгону, сквозь железные твердыни, врываются в действительность. Не в том ли и заключается творчество, что годами лелеемый образ однажды покидает опустошенное материнское лоно, чтобы эталонами человеческой личности, вроде Гамлета, Фауста, Дон-Кихота, навечно рассеяться в библиотеках, театрах, памятниках, в душах потомков?

Тут в углу деревянная кукушка прокуковала девять раз, а к тому часу внук должен был приехать за своим знаменитым дедом. Милый старик стал неторопливо укладывать очки в футляр, собирать нехитрую медицинскую снасть, а матушка подтолкнула мужа, чтоб готовил рублик за визит.

– Это очень приятно, кабы жемчужинка-то... и душевная вам благодарность за успокоительное слово! – засуетился о. Матвей, мучительно выбирая подходящую позицию для выполнения щекотливой обязанности, но благоразумие удержало его от расточительства.

– Беда наша в том, – поспешила уточнить цель его визита Прасковья Андреевна, – что болезнь Дуни наукой не признанная, да и жуткие видения ее насчет будущности не одобряются нонче. Вот и дрожим, не забрали бы ее от нас в дурдом, а то, глядишь... – на глубоком вздохе, с дальней материнской приглядкой обмолвилась вдруг она, – в лагерь куда-нибудь на Командорские острова. И потому было бы нам желательно, кроме ласки вашей, порошки либо капли какие через вас получить, самые заграничные, пускай: ничего не пожалею на родимое дитя!

– Нынче единственное ее лекарство в смене общего нравственного климата. Всех их могут травмировать наши напрасные врачебные уловки, – и помедлил, стоит ли предупредить о последствиях всякого насильственного вторжения в иллюзорную раковинку ее мира. – Правда, в моей практике еще не попадалось случая прозрений такой плотности... даже не удивлюсь, если бы на дом к ней однажды и не надолго пожалует некто оттуда, – и оборвался при виде закрестившихся стариков, – так что, пока не схлынет, примиритесь с ее неопасной болезнью, раннее выздоровление от которой могло бы оказаться куда смертельней. Тем более что нередкое сегодня такого рода двойственное сосуществование не мешает ей зарабатывать хлеб насущный. Первый же раздавшийся над ухом плач собственного ребенка призовет ее оттуда назад в жизнь!.. Словом, от счастья не лечат.

И тут сама Дунюшка показаласьверху, на пороге светелки.

– Вы за меня в самом деле не бойтесь, – держась за перильца лестницы, сказала она родителям, – я и вправду счастливая. Свой век я без горя проживу, за большого профессора замуж выйду.

– Бедняжка ты наша, – ужаснулись те ее девической вере в свою звезду, – откуда тебе известно, какой профессор в нашей дыре объявится, с неба, что ли?

– Мне многое наперед известно! – Девочка горько усмехнулась и ободрила родителей намеком, что знатные женихи нередко с детства рядом растут, вырастая потом до высот поднебесных.

Лишь удостоверясь в безопасности Дунина заболевания, которое попозже бесследно пройдет, старики предложили профессору посидеть с ними за вечерним чайком.

Вкусно припахивая дымком, старый самовар на столе объединял сидящих в дружную семью, а пылающие дровишки так утешительно пощелкивали в печурке. Доктору было приятно отдохнуть от шума житейского в здешней привольной тишине. Расслабившись в сердечной теплоте оказанного приема, старик вдруг распространился о давно опровергнутых наукой и все еще неразгаданных вещих снах и, как бы приглашая аудиторию посмеяться над детски-трогательными заблуждениями людей, он поделился своими сведениями про сны в научно-историческом разрезе, даже вступил в ученые прения с подошедшим к чаю студентом Никанором Шаминым, который подобно Цицерону и Плутарху хаял сны, считая их последствием невежества либо дурного пищеварения, и становился в тупик под напором именитых авторитетов, спущенных на него солидным противником. Так, например, Сократ, по свидетельству ближайшего ученика и почтенного виноторговца, слышал во сне предвестный Гомеров стих, что через три дня узрит те плодоносные страны, и скончался согласно полученному указанию. Царь Навуходоносор обожал сновиденья, а безбожный Вольтер даже стишки писал во сне. Сам Гиппократ, обладавший значительным медицинским образованием, предписывал видевшим во сне померкнувшие звезды бегать по кругу, в случае же – луны, как ни смешно, бегать не только кругообразно, но и вдоль. Франклин и Аристотель тоже верили в сны, а Марк Аврелий тем же способом открыл лекарство от головокруженья и кровохарканья.

Впрочем, начитанный старик не отрицал, что так называемые небесные знаменья, чаще всего получаемые через детей и после текстуальной обработки старших приобретающие магическую фактуру примет, молитв и прогнозов, позже закреплялись в памяти поколения, нации и человечества в целом.

Слушая его лекцию и задумчиво созерцая на гравюлке в резной рамочке над комодом ужасное извержение Крокотау 1883 года, о. Матвей приходил к заключению – насколько меньше жертв оказалось бы в тот день, кабы жители на предмет эвакуации хотя бы за неделю были предупреждены сновиденьем о грядущей катастрофе.

После некоторого раздумья, стоит ли углубляться в столь щекотливую проблему, Матвей Петрович решился дополнить высказанные гостем соображения в рассуждении об их исторической значимости.

– В заключение позвольте и мне, уважаемый доктор, напомнить одно не менее знаменитое и особо назидательное для нас египетское происшествие. Одному фараону библейских времен приснилось, будто бы из тамошней реки Нил вышли семь тощих коров и вчистую пожрали семь тучных коров, однако толще не стали. Призванный на царский совет Иосиф, уже восходивший к славе, и разъяснил государю загадочное сновиденье как предвестие семилетнего голода, который погубит чуть не пол-Египта, чем и надоумил фараона запастись продовольствием.

– Вот бы и нам такого Осипа, чтоб разъяснял правительству горестные сны наши, – со вздохом сожаления высказалась матушка.

Тут встревоженный смыслом сказанного и пытаясь уточнить библейскую ситуацию, вмешался доктор и сбивчиво напомнил, что Иосиф выступал не заступником народных масс, а всего лишь как придворный советник фараона.

– Осип-то и у нас имеется, да, видать, по грехам нашим ниспосланный с обратным назначением, – начал было Матвей Петрович, но вдруг тревожно, спросонья, зашебаршившаяся в клетке слепая канарейка помешала ему досказать вовсе самоубийственную мыслишку.

К слову, он и сам уразуметь не мог, хорошо еще, что полностью она не сорвалась у него с языка, но все равно, хотя посторонних в доме не было, все кругом затихло. И в ту же минуту всех заставил подняться в ожидании беды раздавшийся стук в окно. И опять Господь был милостив к простодушному батюшке. Оказалось, стучался приехавший за доктором несколько запоздавший внук.

Почему-то, на прощанье по стариковской рассеянности или сознательно в предвиденье дальнейшего доктор не пожелал своей пациентке скорого выздоровления.

## Глава VII

Ничье воображение не смогло бы превзойти причудливую действительность тех лет. И оттого обыкновенные жители питались приметами, гаданьем, предчувствием, подпольными слухами о чудесных знаменьях и просто вещими снами, полностью оправдавшимися впоследствии. В тот раз о. Матвей потому лишь убоился рассказать о самом пророческом сновидении из всех, что предвидел, как горько оно осуществится в реальности.

Глаз не оторвать, сеанс длился дольше обычного и заключался в том, что внезапно на бывших Воробьевых горах открылась огнедышащая дыра, по-церковному **волкан**, переполюшившая столицу, почти как тот самый Крокотау, в рамочке над комодом, но чуть послабже. Уже над ним летают дежурные аэропланы, безуспешно кидая в прорву тушительный порошок, и хотя пожарные с помощью импортной техники опрокинули туда же всю целиком протекавшую неподалеку москворецкую водищу, огонь не утихает: даже из Сокольников видать багровое зарево несчастья на облаках образовавшегося пара. Их снизу жадно лижут языки огня, пожиравшие ценные памятники отечественной старины от Новодевичьего монастыря до толстовского музея в Хамовниках, тем временем, без труда перешагнув опустевшее русло реки, раскаленная лава движется дальше двумя руслами в обход Кремля, сквозь пылающий Манеж, подступая к Большому театру и угрожая ему – тому самому главному в стране зданию на восхолмии впереди.

Магазины не торгуют, трамваи уже стоят, тем не менее вся публика стихийно, не соблюдая правил уличного движения (многие с непокрытыми головами, невзирая на падающий пепел), движется к месту происшествия, интересуясь взглянуть – что за волкан исторический у них открылся? Гонимый жгучим предчувствием подвига и в переодетом виде, чтобы не раздражать иноверцев, туда же устремляется и сам Матвей Лоскутов, а сбоку шагает покойный Аблаев, шибко помолодевший, как все они с того света, тоже в штатском. Всюду слышатся охрипшие голоса, и одни призывают не отступать от генеральной линии партии вопреки опасности, другие же подают дельную мысль: пока не застыло – пристроить внутри кратера чугунный котел центрального отопления, а третьи – не может уловить о. Матвей, – о чем толкуют третьи, пальцем показывая на него с Аблаевым? Оказывается, третьи – жители, скорее чутьем отчаянья, нежели по длинным волосам разгадавшие ихнее с дьяконом инкогнито, единогласно требуют от них как лишенцев практически доказать по специальности свою верность советскому режиму. С одной стороны, риск большой, как бы не осрамиться, но и отказываться совестно, поскольку Родина: хватит ли веры и воли одолеть стихию?

И вот уже сам начальник райсовета в кожаном пальто прямиком, сквозь войсковое оцепление, ведет их обоих на временную вышку, с которой видно внутреннее строенье волкана, куда по проволочным лестницам гуськом спускаются добровольцы из заключенных, уповающих заслужить досрочное освобождение. Воздух от накала дрожмя дрожит, и вдруг жуткий вопль – это геройски погиб сорвавшийся вглубь один местный умелец, замысливший укротить волкан химической затычкой собственного изобретенья. Наконец, вся нужная утварь готова, пора к молебну приступать, однако начальник придерживает о. Матвея указанием не слишком стараться, дабы не вовлечь атеистов в соблазн веры, хватает его за рукав, подсказывая очередность подлежащих спасенью предметов, не обращая внимание на угрожающие выкрики снизу, чтоб не мешал работать батюшке, который, невзирая на помехи, успешно выполняет историческое задание, благодаря чему вскорости, как и положено чуду, волкан заглох и, как бывает в снах, почва немедленно зарубцевалась. И уже под звуки праздничного радио жители шеренгами расходятся по домам, по местам работы. Воспрянувшие труженики ликуют, на руках подкидывают председателя за избавление, забывши про недавнего помощателя, который украдкой кое-как спускается с вышки, где уже без Аблаева, заблаговременно исчезнувшего восвосяи,

и задворками пробирается к себе на погост очень довольный, что совесть чиста и обошлось без привлечения к уголовной ответственности за богослуженье, дозволяемое лишь в наглухо закрытом помещенье.

Таким образом, пророческая суть притчи, еще горше для Церкви оправдавшаяся пару пятилеток спустя, полностью совпадает с мнением, будто сны есть не что иное, как миражное отражение грядущего на пленке дремотного подсознания.

В силу тогдашних обстоятельств, нависавших над домиком со ставнями, общее чувство неполноценности сближало обитателей в единый организм. И когда на следующее утро за трапезой о. Матвей поведал семейству о ночной фантазмагории с вулканом, у стариков состоялся показательный диалог, где проявилось взаимопонимание с полуслова. Прасковья Андреевна с особым негодованием отметила нетактичное поведение большого начальника во время богослужения, который хватал священника за рукав, как если бы сама наблюдала факт столь неуместного для власти самовольства. Когда Матвей Петрович в шутку же справился, как ее не затолкали в подобной давке, то продолжая начатую игру, она пояснила, что ей посчастливилось: своевременно со знакомой старушкой приткнулась на высокой паперти соседней церквушки.

Эта мимолетная стариковская забава позволила ребятам заключить, что родители и в помыслах своих так сильно сжились воедино, что не только сообща смотрят свои киносы, но и участвуют в них оба. В обсуждении ночного события почтительно участвовал и сидевший за столом Никанор.

Дружба Никанора с Дуней началась с детства, когда эпоха уже обожгла обоих своим дыханием. Социальное положение Шаминых, начиная с хлебного пайка, отличалось от лишенцев Лоскутовых, но уже тогда детей сближала порочившая их сословная общность, заставлявшая скрывать от сверстников ремесло родителей. Однако ничто не нарушало невинной, впоследствии перешедшей в родство дружбы Никанора с Дуней.

Сама по себе возникшая у них духовная близость была обусловлена легко ранимой хрупкостью девочки, в то время как старшинство и грубоватая сила юноши уже нуждались в своей прекрасной даме для защиты, что и сделало его хранителем, сообщником и позднее истолкователем чудесного дара Дуни, манившего к себе, как всякая тайна. Подобная мерцающей жемчужинке, она-то и стала у них любимой, без износу, самой доступной игрушкой нищеты, вдохновлявших многих поэтических бродяг по морям и весям еще необжитой истории.

Слегка покатав к западу, роца мертвых кончалась невысоким обрывом в лошину. И дальше знакомый лаз в густом кустарнике сводил туда, на тесную кремнистую площадку, сзади которую подпирала сыпучая стенка, увитая сладостно пахнущим выюнком, что обычно селится по тощим оползневым склонам на припеке, а снаружи от постороннего любопытства прикрывал огромный пустырь, поросший высоким и ржавым, багряющим на закате конским щавелем. Недаром ходила молва, будто некогда здесь состоялась встреча московской рати с конной разведкой крымского хана. Тут по дну неглубокой долинки, со своим особым климатом старой сказки, протекал едва по щиколотку, однова перешагнуть, скромный ручеек. Ни птички залетные, ни пронырливые ребятишки окраины не добирались сюда, лишь стрекозы спускались посидеть на камешке у воды, вытекавшей из останков Едыгеева побоища, ледяной и несмотря на отраву такой прозрачной, что видно было, глаз не оторвешь, как колеблемая струйками бьется по песочку черная тинка... У Дуни с Никанором ручеек тот носил название **Глухоманка**. Это была неприкасаемая, величавая и на карте еще не обозначенная река, настолько заправдашняя, что всяк, случайно переступивший ее, казался самому себе великаном. Не было в стране уголка укромнее для раздумья о будущем.

На еще теплой щебенке, закинув руки за голову и глядя в линияющее вечернее небо с росчерком дыма из фабричной трубы, Дуня делилась с дружкой обрывками ночных видений, которые тот, сидя с поджатыми к подбородку коленками, мысленно сшивал согласно тогдаш-

нему передовому мировоззрению в целостные эпизоды, достойные серьезного обсуждения. Не исключается, что по отсутствию иных средств призвать современников к благоразумию, он сознательно лубочными кошмарами загромождал Дунины повествования, придавая им пугающую плакатность в расчете, что человечество, хотя и в обрез, еще успеет образумиться, на шажок-другой отступив от пропасти.

Случалось, изнурительный сеанс ясновиденья, выходя за пределы Дуниной психики, просто не умещался в ее бедном словаре, девочка плакала и дрожала, а Никанор молча гладил ее руки и пытливей вглядывался в ее лицо, узнавая в нем недосказанное.

Порой у него на глазах Дуня вовсе покидала действительность, и тогда в ее расширенных зрачках посменно и явственно читались то одиночество обступавшей ее необъятности, то эйфория надмирного полета, то растерянность на крутом скольжении в никуда, так что можно было догадаться о сложной топографии ее миражей. В такие минуты она невпопад и голосом издалека откликалась на вопросы, пока не возвращалась вдруг в свой прежний кроткий облик, чем обозначался выход кого-то, третьего, из игры.

Дотоле никто на свете не вторгался в их дружбу, пока со середины лета на их беседах не стало замечаться незримое присутствие еще кого-то, чье прибытие всякий раз с ревнивым подозрением Никанора обозначалось у нее заметным оживлением. Девчушка подозрительно хорошела тогда, все преображалось в ней, и какая-то внутренняя необъяснимая сила проступала в ее облике. Как и русскую природу, никто с первой встречи не назвал бы Дуню красивой, в обеих пришлось бы всматриваться, чтоб оценить их ненавязчивую, как бы в рассеянное созерцание погруженную прелесть. Меж тем девушка вступала в возраст, когда из толпы сверстников избирают одного... Вот каким путем не приученный к нежности сын могильщика, самодельный материалист к тому же, впервые ощутил на себе отжитое, по его мнению, и даже классово чуждое ему состояние – любовь.

Осторожные, щадящие попытки Никанора выяснить личность загадочного спутника ее прогулок за пределы реальности неизменно разбивалась о безответную Дунину улыбку.

К счастью, и как правило, такие визиты совершались не раньше сумерек, а в ту зиму, когда о дочкиной тайне проведали родители, по обычаю привидений оно стало заявляться к Дуне близ полночи прямо в девичий мезонинчик.

Едва Дуне доводилось среди ночи открыть глаза, оно уже сидело возле или, мерцая в полутьме, стояло в приножье низенькой постели. И сколько раз ни пыталась Дуня включить украдкой свет, оно успевало прикинуться полотенцем на спинке кресла или манекеном с очередным вязаным рукодельем матери.

Признаться, за всеми Лоскутовыми водилась врожденная странность поговорить во сне, но... чтобы сразу на два голоса?! Однажды особо чуткому в подобных случаях материнскому уху померещилось снизу, будто Дунюшка не одна у себя, и сейчас же та явственно попросила у неведомого компаньона дозволение захватить **оттуда** с собою хоть веточку на память, а тот не менее отчетливо рассоветовал делать это. Ночи через две они там беседовали уже подольше, очень бойко местами, к сожалению, неразборчиво, кроме одного да и того иностранного слова **фламинго**. Не счесть сколько, пока ноги с холоду не заломит, выстояла матушка на скрипучих ступеньках лесенки в намерении вывести Дунюшкин секрет. Как ни крепилась, открылась мужу под конец и в следующую ночь, когда чуть раздвоился дочкин голос, о. Матвей мужественно, с карманным фонариком в руке, выступил из-за шкафа, в намерении выяснить личность невесты как пробравшегося в дом обожателя. Дуня лежала на спине одна и с открытыми глазами, худенькое тельце жалостно рисовалось под тканевым одеяльцем... Не дрогнула, не зажмурилась: ее не было дома.

Глухая тоска затопила сердце матери:

- Лежит, гляди, ровно челнок на отмели. Унесет ее от нас темная вода.
- Значит, пора, мать. Зовет к себе море житейское.

– Чего же Никанор-то тянет?  
– Успеют нищих наплодить!  
– В том и вопрос, успеют ли... С кем она впотьмах шатается, по горным вершинам порхает?

Лишь тут матушка решила посвятить о. Матвея в одно свое приключение позапрошлой ночи.

Сквозь непрочную стариковскую дрему слышала приглушенный дочкин голосок и точно такой ответный, пока боролась с неохотой покидать нажитое тепло, разговор достиг уже прихожей: они уходили. Выскочив на крыльцо в валенках на босу ногу и – что под руку подвернулось – на плечах, Прасковья Андреевна еще застала их голоса, удалявшиеся в направлении храма. Из-за одышки и по тонкой наледи на снегу она не успела догнать молодых; чуть приоткрытые кованые ворота, которые после повторного изъятия церковных ценностей перестали запирать на замок, подсказали матушке путь погони. Кое-как поднявшись на паперть, она заглянула внутрь и, верно, обмерла бы на месте, кабы тревога за любимое детище не пересилила вполне понятное потрясение... Непостижимая светлынь наполняла храм. Тускло сияла алтарная позолота, облезлый металл церковной утвари и прочее, в чем отражалась узкая, сверху донизу, полоса света, рассекавшая надвое нежилую инейную мглу. Лишь со стороны клироса можно было понять его происхождение. Все дело было в левой колонне: знакомого ангела не виднелось на привычном месте, отчего нарисованная сзади дверь, как стало видно сейчас – довольно грубой кузнечной клепки, несколько поотошла наружу. Собственно щель-то была не шире ладони, но оттуда выбивался могучий слепительный полдень. Но самое неправдоподобное заключалось в том, что у Прасковьи Андреевны, при ее-то больных ногах, достало сил с той синей каменной приступки дотянуться до дверной скобы и, плечом оттолкнув такую тяжесть, кое-как просунуться в находившееся по ту сторону пространство. Чуть отлежавшись ничком, почти замертво, устремилась за пропавшей дочкой.

Необъятная, как дети рисуют ее на картинках, безмолвная желтая пустыня без единой живой отметины, кроме ветровой волнистой зыби по пескам, простиралась на все четыре стороны. Слепящее сверканье излучалось из мглистой небесной синевы. И некогда было взглянуть, что так неистово пылает в зените. Чутьем где-то за ними угадывая беглянку, напрасно призывала матушка не углубляться в такую даль, где помимо диких зверей легко погибнуть от мучительной жажды. Однако даже эхо не отзывалось на зов матери... Когда же надоумилась оглянуться, то к ужасу своему даже собственных следов позади не обнаружила. Уже несчастная женщина готова была проститься с жизнью, когда с облегчением различила мелькнувший меж двух прихолмий тот опознавательный синий камень, служивший здесь заблудившимся одновременно маяком и ступенькой для возвращения домой, так что, едва коснувшись ногой, она тотчас оказалась в полупотемках тамошнего храма без вреда для здоровья.

– Страсть какая... – под свежим впечатленьем рассказа подивился о. Матвей, попрекнув верную свою жену и помощницу. – С ее сердцем и в баню-то сходить не велят, а она же в необитаемую пустыню на склоне лет пускается!

– Так ведь не чужое дитя, поп.

– Вот для них-то и следует беречься, мать...

Заодно, по не остылому еще воспоминанью, старики потужили, что еще годика два назад не открылось столь надежного убежища, которое так пригодилось бы для самого ненаглядного существа на свете. Зато и порадовались, что осталось не обнаружено властями, которые применили бы тайну сию по нынешней лагерной надобности, и во избежание бед при первой же оказии следует выкорчевать тот жизнеопасный соблазнительный камень прочь даже из самой памяти людской, – на том и порешили в ожидании лучшего.

## Глава VIII

Любопытно, что почти одновременно с появлением Дымкова с разностью нескольких дней в старо-федосеевский некрополь прибыл параллельный персонаж явного и, к сожалению, до конца не разгаданного назначения.

Ночной стариков разговор вскоре забылся, так как при дневном свете еще очевидней стала маловероятность дикой пустыни, помешающей внутри хотя бы и внушительной колонны. Все же, кабы обнаружилось невзначай, наличие подобного тайника в распоряжении лишенцев могло тяжко отразиться на судьбе бывшего настоятеля. После трехдневных колебаний о. Матвей в секрете от домашних отправился на место происшествия с целью удалить со штукатурки злополучную дверь посредством находившегося под рясой скребка на длинном стержне. Совесть так и не позволила ему в личных интересах довершать разрушение старинной, и без того обветшалой церковной росписи... да и незачем было. Не составило труда на ощупь убедиться, что самому искусному, вернее, плоскому сыщику не удалось бы пролезть за спину незыблемо стоявшего там ангела. Впрочем, наступившее успокоение невольно окрашивалось досадой, ибо, выходя из дому, он втайне от себя самого прихватил умеренной длины веревочку, чтобы при благоприятных условиях, привязавшись к дверной скобе повторить поразительную матушкину вылазку без опасения заплутать в потусторонних песках. Благоразумнее было отнести помянутую пустыню к тем редким сновиденьям последних лет, в которых старики по каким-либо уважительным причинам не принимали совместного участия.

Зима началась небывалыми метелями, не успевали прокладывать траншейные ходы главного пользования, во избежание подозрений, особенно со стороны приболевшей Дуни, батюшка оба конца совершил кружным путем, по целине, через дальнюю часть рощи, где после закрытия кладбища в ночки потемнее на весь сезон заготавливали дрова, возвращался на исходе дня. Повсюдная на русских погостах сословная граница делила непоровну и Старо-Федосеево. Если могилы бедных вызывали у Матвея глубокую симпатию своим смирением, то, напротив, погребения зажиточных веселили его дух благолепием надгробий в виде сломанных арф, античных урн, повитых как бы темной кисеей, также – сохранившихся кое-где по непригодности для другого изделия мраморных херувимов в снежных шапках набекрень, несмотря на свое скорбное назначение. Меж ними возвышались более долговечные сооружения для именитых деятелей отечественной коммерции, столичной адвокатуры, оперного искусства и среди них затесавшийся один химик по искусственной резине. Проходя мимо последнего, о. Матвей различил носом показавшийся ему вкусным на морозе чад тлеющих ветвей, после чего не без удивления заметил воровской дымок, поднимавшийся над родовой усыпальницей купцов Суховеровых. Толщина снежного покрова не позволяла подойти ближе, но и с расстояния бросалась в глаза пригодность того неприступного здания с бойницами и чугунной оградой для притона какой-либо шайки проворных мошенников, фальшивомонетчиков, например, а то и зарубежного диверсанта из подсылаемых для недопущения русского народа к коммунизму; ведь по соседству пролегал особого назначения тракт, по которому ездил на дачу один, хотя и полужначительный, товарищ, но все равно в случае чего именно с о. Матвея взыскали бы за укрывательство. Не надеясь единолично справиться с напастью, батюшка отправился за подмогой в лице Финогеича, занимавшегося вечерней разделкой дров. С топором для остротки старики двинулись по суховеровскому адресу, но сколько ни прислушивались, ничего предосудительного вроде теньканья балалаечного либо не менее оскорбительного женского взвизга не сочилось сквозь плотную кладку искроватого Лабрадора. Однако неоспоримые приметы, как то: найденная тропка и запасы хвороста в ограде, а пуще – выведенная через пролом из под кровли дымящаяся труба указывали на обжитое гнездо порока. Нажимом колена Фино-

геич толкнул легко поддавшуюся дверь, а о. Матвей мужественно вступил в белесую удушливую мглу.

Ничего не было видать, кроме горевшего посреди чахлого костерка, дым еле тянулся в наспех проделанную дыру. Но если чаще смахивать набегавшую слезу, можно было заметить и другие признаки постороннего присутствия: ложе под дырявым брезентом о бок с огнем, также разложенную на каменной плите, с инеем вместо скатерти, всякую обиходную утварь вроде пузырька с постным маслом, тряпицы с солью да жестяной коптилки, на фитиле которой мотался язык полузадушенного пламени и, наконец, нож с примечательным багрецом на лезвии, почти уликой не осуществленного пока злодеяния, кабы не утешительный, размашисто начертанный крест на такой же инейной стене. Пообвыкнув, о. Матвей различил и самого злоумышленника, столь ветхого старичка, что казалось – комар его с налета повалит, и столь прокопченного, что представлялся сгущением того же дыма. Он дремал, на корточках припав к огню, но, едва обдало его холодом, тотчас вскочил, принялся было топтать преступные головки, но сдался и замер с опущенной головой.

По тем временам любой, да еще тайный нарушитель обязательных правил о милицейской прописке по месту жительства подлежал немедленному выселению с попутным исследованием личности в смысле плохой классовой принадлежности. Правда, столь древнее существо по его плачевной очевидности, едва ли способно было причинить ощутимый вред советской державе; однако что-то в нем, помимо вопиющей незащитности, мешало о. Матвею сразу ограничиться изгнанием. Представлялось немыслимым в таком архаическом обличье добратся из заграницы почти в самое сердце мирового коммунизма без стократного задержанья в пути, а иначе какая нужда погнала его в столицу? И вообще, если отвергнуть грешные подозрения, сорвавшийся с житейской скалы существует лишь за счет постепенного, день за днем, скольжения вниз, тогда как в достигнутой фазе падать старику было уже некуда. Короче, батюшку смущала слишком цепкая, по всем параметрам проявляемая жажда бытия, в частности – запасы хвороста и всякого топливного хлама у входа в посмертную суховеровскую резиденцию или надежные, в резиновых обсоюзках валенцы, годные идти хоть на край света, или домашняя утварь – от щербатого топоришка и бывшего ведра без державки до эмалированного, почти нового чайника, видимо, крепко запоганенного, если обрекли на выброс, и наконец, не по телу просторный, препоясанный вервием и тоже, видать, свалочного происхождения брезентовый бешмет – не по зубам ни морозу, ни собаке.

– Ишь, ровно в санатории устроился... – строго пошумел Финогеич. – Орел, койку снял у мертвеца!

– Чево, чево? – ладонь приставив к уху, затормошился тот. – Окажи милость, покричи.

– Спрашиваю, квартирка не тесновата ли?

– Одинокому в самый раз, – осклабился жилец с очевидной целью подкупить расположение хозяев. – Вот, мебельцы маловато...

– Ну, веселиться тут вовсе нечему, брат, – перхая и задыхаясь, оборвал его о. Матвей. – Видать, из ума выжил, куда на местожительство поселился...

– Без спросу, без прописки, главное...

– Погоди, Финогеич... Когда своей боли хватает, о чужой не спрашивают. Мы тебя не видали и взялся отколе – знать не хотим. А только покинь нас, сирых, не обременяй совесть нашу грехом изгнания. – И окончательно задохнувшись, с поклоном уступил дорогу к настежь распахнутой двери.

– Чего с ним трепаться, Петрович, – снова вмешался Финогеич. – Хорошо, если только жулье, а может, и беглец... Покарауль, я постового кликну!

Передавши батюшке свою снасть, он повернулся было к выходу, однако наружу не бежал, думая лишь поугадать нежелательного постояльца и спровадить его без шума, как отпихивают от берега мертвое тело, приплывшее за крестом да могилой. Старик безобидно наблюдал его

действия, оглаживая безволосый, беспрестанно жующий рот, – едва же помянули милицию – заметался, тоже для виду, скорее из учтивости, нежели со страха, полкраюшки хлеба пихнул за пазуху, притворился, будто в трубу скатывает свой трескучий брезент.

– А вы не хлопчите, начальнички, не надрывайтесь, и сам уйду, – приговаривал он, не по возрасту разбитной. – Мне абы стужу переждать, а чуть солнышко – меня и силком не удержишь. Я по летнему-то сезону аки царь повелительный живу: хоромы просторные, челяди без числа. Вздремнется на полянке лесной, один с тебя мушку сдувает, другой байку шепчет на ушко... – Он испытующе поднял глаза на о. Матвея, и таким ветром судьбы и простора пахнуло на того, что сердце сжалось от предчувствия. – Небось, и сами тут хворостины дожидаетесь. До весны потерпели бы, а там я вас обоих с собой прихвачу... Жизнь-то наша как конфетка с полу: и горчит вроде, и выплюнуть жаль.

Такая мгла пополам с могильным хладом дохнула о. Матвею в душу, едва представилась ему **чья-то** крайняя надобность вот так же, в глухую январскую полночь попросить приюта у мертвецов, **не своя** однако... Ввиду давних слухов о скором теперь строительстве Международного стадиона Дружбы на территории старо-федосеевской обители, что обрекало на снос и домик со ставнями, бывший ее настоятель заранее свыкся со своей предстоящей бездомностью, даже приоткрыл однажды супруге тайное намеренье скрыться в какую-нибудь недостижимую цель, чтоб облегчить семье получение новой жилплощади и больше не отягчать социальную будущность деток своим существованием. Вероятно, в мыслях у батюшки промелькнул кто-то третий, чья судьба была ему дороже собственной. Недавние опасенья погасли, и вот уже чем бы ни грозило такое сообщничество, не посмел отказать в милости и пристанище бродяге, на месте которого каждую минуту мог оказаться тот, **подразумеваемый**.

Злая укоризна хоть и мнимому Матвееву благополучию содержалась во всем облике бывалого бродяги. Лишь потому и сорвалась у о. Матвея подсознательная обмолвка **брат**, что по седым косицам, заправленным под бывший меховой треух, как и по свойственной православному духовенству укладистой речи, сразу опознал в старике претерпевающего бедствие иерея. И в том заключалась боль сердца, что самый распоследний среди своих современников может мановением пальца отнять кров у кого-то жалчей себя. Тем сильнее ощущал он пронзительное родство с этой падшей тенью человеческой, и призыв ее – сообщая перейти на положение птахи лесной – не заставлял врасплох о. Матвея. Еще до казни аблаевской стал он мысленно примеряться к участи калик перехожих, неминуемой вскорости для всех попов на Руси, в предвиденье чего не только закалял себя помаленьку всяческим неудобством вроде несвежей пищи или мокрой обуви, обязательной для пребывающих в непрестанном скитании, но и семейство свое, из отеческой жалости, понуждал к тому же под предлогом причиняемого излишества вреда. Все полнее раскрывались ему преимущества людской бездомности: ибо стоило отрешиться от иных благ цивилизации, как немедля приобреталось то высокое телесное безразличие, которое, освобождая от смертных страхов, доставляет желанный покой души. Начистоту сказать: он так устал от подлой дрожи по любому поводу – преступной ли принадлежности своей к духовному званию или купленной из-под полы подошвенной кожи – что порою торопил пришествие судьбы, благословившей бы его в дорогу толчком в плечо, чтобы властно повернуться спиной к разгромленному пепелищу.

Незлюбивая готовность бродяги к смене жилья, равно как и завидная сноровка, с какой он рассовал по дыркам на себе свою походную утварь, прицепил к поясу мятый чайник и кружку того же свалочного происхождения – все это смягчило о. Матвея. На худой конец вряд ли удалось бы подобрать лучшего товарища, а тот уже простер руки над огнем, то ли в намерении унести клочок пропадающего тепла, то ли прощаясь до скорого свиданья.

Скорее для проформы, нежели для выяснения личности, Матвей задал надлежащие вопросы. Странник назвался беглым попом Афинагором из разгромленного год назад безвестного монастырька в зауральской глуши. И с горечью, в духовном стиле, прибавил, что лишь

после долгих бездомных скитаний волна житейская донесла его наконец до тихого пристанища здесь, у них, за надежной каменной стеной. В зимнем ветерке трепетали седые, с прожелтью волосишки на висках, и сам он весь подрагивал, словно только что вынутый из воды, и тут, по молчанью переглянувшихся хозяев догадавшись, что теперь-то они и столкнут его с бережочка назад, в судьбу, он с умилением благодарности поведал им, как разоритель обители, суровый московский комиссар, подай ему Господь здоровья, на глазах у братии стравивший собакам проживавшего там на покое ветхого архиерея, пощадил бедного Афинагора, собственноручно дважды вразумил его по шее и отпустил с наставленьем впредь не попадаться на глаза. С той самой поры и ходит Афинагор, не противясь ветру; а где старушка и за молитву не пустит на ночлег, то можно и в стожок приткнуться, благо тулупчик теплый, на вороньем меху. «Бесстрашному нигде не боязно, а ежели и дадут по заговивку разок для остратки, так начальству и нельзя иначе!»

– А ты не спеши, не серчай: и мы живые! – дрогнувшим голосом попрекнул о. Матвей. – Куды тебе старому в потемках...

– Обо мне не тужи, поп. У Бога-то на каждого жучка припасена своя щелочка.

Теперь о. Матвей и сам не мог отпустить старика, не утолив жадного, непременно наедине, любопытства о том самом, что ему предстояло впереди.

– Ведь не сразу гоним... отдохни, ежели здоровье позволяет тебе здешнее проживание, – и вздохнул, сознавая тяжесть совершаемого проступка. – Ступай к своим дровам, Финогеич, да матушку не пугай пока. Дверь потуже притвори, все тепло выстудим к ночи. – Он огляделся куда присесть, но было некуда. – Отколе свалился-то на нас, сирых?

– Все оттуда же, из миру.

– Мир-то велик. Кормишься чем?.. Воруешь хлеб-то аль с рукой стоишь?

– А пошто? Господь поставляет! И под толщей снега олень чует свою еду. Я тружуся, хотя без дозволения. Выслежу где крышку гробовую при дверях либо писк младенческий попритчится, уж я там стучусь с заднего ходу. «Не угодно ли безмерную горесть вашу али родительское ликованье через небесную канцелярию оформить? Могу и заочно, **туда** ни одно письмецо заветное не пропадет... опять же по дешевке у меня. Ну, иные посмеются, иные вчерашних штец плеснут, а бывают которые и коленом под седалище. Да ведь я сухой, хоть с башни скидывай, не ушибаюсь!

Здесь впервые испытал смущенье о. Матвей, потому что сказанное совпадало с его собственным намереньем в случае чего заняться ночной халтуркой. Тем более боязно стало задать очередной вопрос:

– За что гонение-то принял?

– Видать, по совокупности бытия моего.

И кое в чем он до такой степени походил на самого Матвея в его гаданьях о своей будущей судьбе, что не хватало воли прогнать его со двора.

Во избежанье еще более щекотливых совпадений благоразумнее было воздержаться от дальнейших расспросов: время ужина близилось, кстати. Да тут еще бродяга подкинул хворосту в прогоравший костер, и белым чадом окончательно заволокло суховеровское помещение.

– Вот тебе на прощанье мой наказ, Афинагор, – с кашлем и обильной слезой заторопился о. Матвей. – Как знаешь обходишься, днем огня не разводи, из берлоги своей не отлучайся. Застигнут – раньше всех отрекуся. Дров не воруй... Березку свалим – и тебе сучков достанется. Посторонних к себе не водить...

– Сказал!.. Сюда самую убогую, хуже нет, и пряником не заманишь, – последовал еще более легкомысленный намек, содержанием своим неприятно резанувший уходившего о. Матвея.

Таким образом, к концу первого же посещения стали замечаться и другие противоречивые изменения как в облике, так и речевом складе немощного старца. Главное же разоча-

рование ждало о. Матвея впереди, когда с приличного расстояния оглянулся на покидаемый мавзолей. Взгромоздясь на ограду, бывший иерей Афинагор салютовал старо-федосеевскому настоятелю своим треушком на манер флотских сигнальщиков, что выглядело вовсе непозволительным на фоне тогдашнего церковного разорения. Погрозившись в ответ имевшимся у него скребком, о. Матвей повернулся было назад для строгого внушения, но вблизи мнимый бродяга оказался коренастым деревом неизвестной в сумерках породы, с клоком снега в развилке сука. Вообще эпизод с Афинагором выглядит до такой степени маловероятным, что разумнее было бы отнести его за счет воображения, разыгравшегося в условиях зимнего кладбищенского вечера, кабы не наличие двух одновременных свидетелей, не связанных между собою ни узами свойства, ни тем более классового сговора. Из чувства самосохранения о. Матвей постарался предать забвению Афинагора с его пугающей осведомленностью, восприняв ее как приметку болезненного раздвоения личности под влиянием жизни.

Кстати, по отсутствию какой-либо целенаправленной деятельности весьма сомнительного и даже с эзотерическим значением беглеца Афинагора, никто не смог бы догадаться об истинной роли мнимого старца. И даже Никанор Шамин, который с его чутьем на заграничных соглядатаев, инопланетных в том числе, мог усмотреть в Дымкове тайного посланца **оттуда**, из самых недр небесных, к нам сюда для сверхсекретных переговоров со здешним резидентом противной стороны вроде Шатаницкого. И тогда ему осталось бы предположить, что единственно для маскировки той туманной пока, сверхмасштабной махинации заблаговременно возникли не только старо-федосеевское кладбище с укромным флигельком, заселенным нынешними обитателями, но и самая эпоха наша, предшествующая великому финалу. Сказанное наглядно доказывает, как близок был будущий исследователь преисподней логики XX века к разгадке, если бы ему подвернулся случай лично повстречаться с Афинагором, которого, возможно, вовсе не было на свете...

Но тут, во избежанье увечья, лучше уступить дорогу выезжающему из небытия новехонькому автомобилю, управляемому нервной, недостаточно уверенной рукой.

## Глава IX

После выпуска на экран последнего нашумевшего фильма любой режиссер на месте Сорокина предался бы такому полнометражному безделью где-нибудь на Черноморском побережье, а он, безумный, все утро до обеда гонял по столичным окраинам учебный грузовик, вечера же прожигал в блатных поисках гаража для персональной машины, которую вот-вот предстояло получить. Он, хотя в творчестве своем и воспевал социалистическую действительность, в личном быту более склонялся к среднеевропейскому образу жизни... Даже обмолвился как-то Юлии Бамбалски, которую все собирался выводить в кинозвезды, что следует поменьше соприкасаться с тем, к чему надо подольше сохранять профессиональную привязанность. В полухолостяцком обиходе Сорокина можно было вполне обойтись казенным транспортом студии. Для понимания этого этапного пункта в его интеллектуальной биографии необходимо представить себе осенний Крещатик в Киеве лет восемнадцать назад, тощего юношу в куцей, домашнего шитья курточке, во исполнение мечтаний приглашенного в гости к тамошнему магнату, и как он, стоя посреди улицы, белесыми глазами смотрит вослед толстопузому восьмицилиндровому штейеру, только что в придачу к порции грязи в лицо оглушившего его сиплым барственным гарканьем.

Подобные нравственные травмы лучше всего излечиваются доставлением тех же переживаний нижестоящему. Осуществление реванша крайне затянулось, и мирозерцание Сорокина окончательно накренилось бы в нежелательную сторону, если бы внезапный, как все чудеса на свете, фельдгегер не вручил ему однажды под расписку весь в сургучных печатях государственный конверт с постановлением Совнаркома. Там, за подписью лица, коего высота соответствовала размеру оказываемого благодеяния, кинорежиссеру Сорокину разрешалось в обход расписанья приобрести в личную собственность легковую автомашину отечественной марки за наличный расчет. В те далекие от роскошества годы само по себе выдаваемое избранникам правительственное дозволение такое становилось актом признания его социальной исключительности.

Уже в сумерках, одарив механика американской сигаретой, которые держал при себе для подкупа товарищей промежуточного значения, он выкатил свою покупку на снежный пустырек, носовым платком удалил пятнышко на фаре и взглядом художника искоса окинул свою красавицу...

Разыгравшийся снегопад, волшебным клокотавший в обоих потоках слепящего света, придавал праздничную чрезвычайность совершающейся метаморфозе. Одно созерцание роскошного, мощностью в сорок лошадей, чуда техники, готового к преодолению любых пространств и расстояний, внушало обладателю помимо хозяйской гордости и неотложную потребность немедленно, хотя бы даже насильно поделить с кем-нибудь поблизости избыточной радостью – в смысле безвозмездной доставки его к месту назначения. Впрочем, режиссер явно рассчитывал на благородную скромность жертвы с желательным проживанием ее в городской черте.

За первые же полчаса окупилась по меньшей мере треть усилий, затраченных им для восхождения на нынешнюю вершину. Несмотря на терзавшие его социальные потрясения, мир вокруг постепенно преображался в наилучшую, более уютную сторону. Ненадолго Сорокину показалось даже, что он полюбил людей, чего не замечал за собою прежде. Во всяком случае, ему крайне понравилась и та симпатичная старушка, что с девичьей грацией ускользнула от его неопытности, и торопившиеся к семейным очагам беззаветные труженики на тротуарах, даже погрозивший ему перстом, гуманнейший на своем перекрестке милиционер в поварском колпаке и таких же снежных эполетах. Метель усиливалась, но и дворники на ветровом стекле не уставали, а переполненных баков хватило бы исколесить весь город.

Словом, давно уже смерклось, а он все ехал в неопределенном направлении, наслаждаясь новизной приятно сменяющихся впечатлений. Его очень порадовала предпраздничная, такая живописная, благодаря снегопаду, толчея возле залитых светом витрин, которым разве только соответственных товаров не хватало для соревнования с высокомерной Европой; он тепло отметил исключительную согласованность в работе светофоров, которые забавно и цветисто перемигивались при его приближении. Даже в небольшой уличной катастрофе разглядел диалектический перепад, неизбежный для извечного обновления жизни. Виден был сквозь снег опрокинутый трамвайный вагон и с ходу врезавшийся в него тягач с прицепом. На первой скорости пробираясь сквозь суматоху, Сорокин задумался о нерешенной проблеме гения и толпы, в частности, о замене писклявого гудка чем-то более внушительным, чтобы прокладывать себе путь среди ротозействующего быдла. Однако, едва выехал на простор, разладившееся было настроение быстро поправилось с уклоном в великодушие. Оттого, что рассказанная радость, как и всякая вещь перед зеркалом выглядит как бы в двойном размере, захотелось срочно поведать ближнему про свою удачу. И тотчас высшие силы, подготавливавшие очередной сюжетный ход, предоставили в распоряжение режиссера на первой же трамвайной остановке целую очередь ближних, наиболее подходящих для данной цели. Трудно было бы подобрать их в лучшем составе для оценки великого человека, поднимающегося по ступеням общественного успеха.

Иззябшие, с одинаковыми лицами от безнадежного ожидания, они, возможно, даже смерзлись немножко в один монолит под общим снеговым покровом, когда возле остановился голубой лимузин и свежий баритон через приспущенное окно уведомил их об аварии, надолго загромоздившей трамвайные пути. Обдав их слегка бензиновым чадком, добрый человек покатил было дальше, но странная неудовлетворенность – то ли недостаточной признательностью помянутых существ, избавленных от бессмысленной траты времени, то ли осознанная мизерность услуги, заставила его вскоре воротиться на прежнее место. Очередь почти вся разошлась, кроме командировочного среднеазиатца с фанерным чемоданом, да еще худенькой, заурядно миловидной девушки, как с наклеву разглядел кинорежиссерский глаз; недвижная, с белыми ресницами, она вглядывалась в снегопадную даль. На деле же Сорокина приманил назад поразительный, даже в сумерках ядовито-синий цвет ее плюшевой шубки с явно наставными рукавами и столь же вопиющим лисьим воротником. Именно эта провинциальная экзотика, немыслимая для дневного появления на центральной улице, и заставляет туземцев прятаться от блеска цивилизации в глухой норе... зато такие особы, осознавшие свое убожество, способны глубже понять самое мелкое оказанное им благодеянье.

– Хэлло, фрекен, – спустив шторку окна, Сорокин обратился к девчужке, – я только что с места происшествия, там возни хватит до утра. Возможно, нам окажется по дороге?

– Нет, спасибо, – даже не шевельнулась Дуня: ни одной снежинки не свалилось с нее при этом.

– В таком случае прошу прощенья, – с кивком сказал Сорокин, и милицейский свисток согнал его со стоянки.

Он пустился вдоль невыразимо длинной улицы, дважды объехал площадь в ее конце, но возникшее искушение не покидало его, кроме того, чисто сценарная загадка подобного убожества в блистательный век социализма овладела его воображением. Было не слишком поздно, но поднявшийся к ночи крепкий морозный ветерок заметно поубавил прохожих. Когда Сорокин добрался туда же кружным путем, привычный к непогодам, утомясь ожиданием, командировочный уже сидел на своем бывалом чемодане, но давешняя провинциалка даже не покосилась в сторону настойчивого благодетеля. Усилившаяся поземка замечала ее холщевые туфельки, безусловная теперь сдача гордой девчонки была подсказана тонким прозреньем художника.

– Это опять же я... – окликнул он, рассчитывая с ходу сломить неприступность, какую бедные обороняются от любопытства богатых. – Простите, мисс, что врываюсь в сладост-

ную дремоту, обычно предшествующую замерзанию. Я вернулся сказать, что вечерняя сводка погоды сулит на ночь самую низкую температуру месяца, а ближайшая линия метро предположена к концу пятилетки...

– Спасибо, я не тороплюсь, – отвечала Дуня, смягчив отказ улыбкой на этот раз.

– Отлично, – дружески кивнул Сорокин. – Я навешу вас через четверть часа. Постарайтесь продержаться до моего возвращения.

Без всякой спешки, в наказанье, Сорокин поехал сперва на заправочную колонку, ибо лишь полный бак может обеспечить покой начинающего автомобилиста, и заодно набил карман предрождественскими мандаринами в подвернувшемся фруктовом ларьке. Словом, на волшебном-мерцающем циферблате протекала восемнадцатая минута и, вместо того, чтобы простить несговорчивую за ее строптивость, режиссер по странному побуждению отправился взглянуть на дом, где проживала будущая кинозвезда, в частной жизни Юлия Бамбалски. Освещенные окна, крайние левые в третьем этаже означали, что она только что вернулась из горнолыжной поездки на всемирно-знаменитые склоны Бакуриани, иначе она не преминула бы еще днем позвонить ему на студию, **доложиться** в ее обычном тоне иронического раздражения по поводу все тех же злосчастных съемок. И, следя за движением теней на шелковой шторке, Сорокин попытался разобраться в своей немирной дружбе с этой капризной, еще недавно ослепительной девушкой...

В юности, пока не оперился, ему крайне нравилось бывать в богатом доме Бамбалских, особенно в обеденную пору и на кухне, – в ту пору ему всегда до неприличия хотелось есть, из-за чего не состоялась фаза детского флирта. После революции, свалившей прославленную фирму и несколько уравнившей общественное положение сторон, прерванные были отношения возобновились уже на обратной основе: сдержанная, с оттенком прежней влюбленности, хотя и полувраждебная порой преданность той **давней** Юлии и ее нетерпеливый, в деловом смысле, поиск сильного сорокинского покровительства. Тому причиной был один беглый, в шутку данный мальчику наказ, ставший обязательством на интимном празднике ее совершеннолетия, где упоенный первым успехом режиссер посулил девушке чуть ли заглавную роль в позднее отмененном фильме. За отсутствием других ставшее целью жизни это напряженное ожидание славы, в условиях семейного поклонения, наложило отпечаток на весь ее облик и поведение: вплоть до выходных платьев и артистического псевдонима все было готово у Юлии, чтоб вознестись над человечеством. Но месяц назад, после ее отъезда на горную прогулку, газеты оповестили о начавшихся съемках его очередного, опять без Юлии, боевика, и теперь не миновать было скользкого и неприятного объяснения. И вдруг Сорокин понял сквозь досаду, что все это время только и думал про ту несчастную на трамвайной остановке.

Девушка в плюшевой шубке еще стояла, вся под снегом и привалясь к железной мачте. Для верного успеха Сорокин даже из кабины вышел на этот раз:

– Туды-сюды, малость припоздал, прошу прощенья... – в манере удалого русского извозчика былых времен обратился он к бедняжке, смахивая рукавицей налипший снег с ветрового стекла. – Если вас пугает моя настойчивость, то вот в чем ее разгадка. Я только что приобрел это самоходное чудо техники и хотел бы на радостях поделиться счастьем с остальным человечеством. Было бы жестоко оставить подобное побуждение без отклика.

Дуня окинула его с ног до головы, сплошь в экипировке заграничного производства, грустным взглядом, сразу охладившим его не к месту пылкую речистость:

– Ладно, везите меня, но имейте в виду, я живу далеко, в Старо-Федосеевском районе. Хватит ли у вас бензина и терпенья на такой подвиг?

Что-то дрогнуло внутри режиссера, однако благородный порыв сердца поборол его природную деловитость. Стыдно признаться, было до щекотки приятно чувствовать себя властелином из знаменитой сказки, который инкогнито бродя по ночной столице, оказал вот такой

же, помнится, судя по неказистой одежке благородной нищенке царственную для нее и ничуть не расточительную для него самую милость.

– О, за полуторный объезд экватора без промежуточных зарядок вполне ручаюсь, уважаемая фрекен, – ответил Сорокин, шегольски распахивая дверцу.

Первые две минуты молчали. Улица медленно бежала назад. Когда выехали на магистраль, внезапно по сторонам зажглись вечерние фонари и похоже стало, что все снежинки из тьмы, сколько их было вокруг, понеслись разбиться о ветровое стекло. Поток их настолько уплотнился, что механические дворники еле справлялись с работой, и все вокруг слилось для Дуни в одно приятное усыпляющее колыханье. Прошло уже две минуты, а Дуня так и не собралась с силами побороть свою виноватую скованность, происходившую от сознания, что через весь город и впервые в жизни возвращается домой в барских условиях, добытых в сущности обманным путем: сразу не раскрылась доброму хозяину. Началось с того, что Сорокин поджентльменски, как требовалось в данной роли, осведомился у пассажирки, удобно ли ей, не зябнет ли, и, хотя в вопросе звучала нотка вымогательства, одобряет ли она его покупку. Сквозь дымку забытья Дуня ответила, что ей хорошо, оттаивает понемножку, машина нарядная. А когда он пожурил ее по праву старшинства за опрометчивое согласие на рискованную поездку с незнакомцем – не боитесь какой-нибудь случайности вроде ограбления – та лишь усмехнулась в ответ: будь у ней, что грабить, не стояла бы полдня на таком снегу. К тому же коленку подвернула. На самом деле в тот момент Дуня больше всего боялась, что он запросто высадит ее на ближайшем перекрестке, если выяснится, что она, хоть бывшего, попа родная дочка. И тут же то ли для подстраховки от разоблачения, то ли в оправданье своего убогого наряда, Дуня торопливо, чтобы не оскользнуться в жгучей лишенной неправде, поведала мнимую и в качестве образца годную для школьной хрестоматии тех лет биографию своего родителя. Оказалось, в юности рабочий с мебельной фабрики, беззаветный подпольщик, разъезжающий по самым опасным поручениям, он устраивал забастовки, железнодорожные крушения на пути карательных отрядов, создавал подпольные типографии. По характеру своему нигде не хватался личными заслугами перед партией, числился в ней на вторых ролях, так что на парадных съездовских фотографиях его следовало искать в задней шеренге с размытыми, вне фокуса, лицами; в отличие от благолепных властелинов, проигравших Россию в очко у зеленого стола мирового господства, Дунин папа успешно бежал с Нерчинской каторги, кроме того, ветеран революции, участник Гражданской войны, причем под ним коня убило и осколком того же снаряда повредило позвоночник, что и приковало его навсегда к инвалидному креслу. Даже с Лениным встречался. Но он не хотел выставляться своими заслугами в смысле льгот или наград за выполнение долга, и это отразилось на всем достатке семьи: от еды до одежды.

– Я потому давеча не посмела ответить вам вопросом на вопрос: не боитесь ли и вы, что кто-то из друзей случайно увидит вас в компании с таким пугалом?

– Если вы намекаете на свою более чем скромную шубку, то я не вижу вашей вины в том, что бытовые трудности заставили вас вынуть ее из бабушкиного сундука. Угадал?

– Вы прозорливец, словно в воду глядели. Но интересно, чем я привлекла ваше внимание?

– Сходством судеб, фрекен. Я тоже когда-то стыдился заплаток на локтях. Мы с вами родня и по смежным обстоятельствам: перед вами автор мнимой биографии вашего отца. Фамилия моя Сорокин, я как раз сценарист и режиссер фильма «Призрак с Алатау» о героическом персонаже с полным комплектом комиссарских добродетелей для заучивания наизусть на уроках политграмоты. Его просмотрели двадцать два миллиона зрителей и, значит, вы тоже не избежали общей участи. Суть дела в том, что вы из страха или стыда отреклись от отца в его настоящем анкетном облике. И я не позволю себе, пользуясь случайным преимуществом, посягать на детскую тайну, чреватую тревогой за будущность поколения, хотя это заманчивый

сюжет для кинематографа с достаточной оплатой в случае удачи. Так что у каждой Золушки имеется шанс на внезапное чудо впереди.

– Это в смысле больших денег, что ли?

– В смысле минимального комфорта в суровой гонке предстоящей судьбы... Или что-то другое, еще важнее, у вас на уме?

– Ну, скажем, компас душевный, – как от неосторожного прикосновения, сжалась она, – чтобы в такой метели, как нынешняя, вовсе не сбиться с пути. – В голосе ее прозвучал не по возрасту ранний надлом, словно вдоволь где-то насмотрелась ужасов, поджидающих человечество впереди, и режиссер вопросительно пошурился на спутницу, смущенный легковесностью своих догадок о причинах ее ранимости.

– В ваши годы дети еще не знают стариковских забот, но революция заблаговременно готовит их к печали. Упоминая о дорожных неудобствах, я имел в виду лишь ваши бытовые невзгоды. Большая ваша семья?

– Нас четверо, есть еще старший брат, уже два года, как застрял на краю света.

– А как понимать на краю света?

– О, где-то на Командорских островах, – на вздохе произнесла она.

– Ну, для четверых, с расчетом на пятого, когда вернется, потребуется целое помещение. Судя по району, квартирка у вас, наверно, тесноватая, продувная, с дровяным отоплением к тому же... угадал?

– Ничуть, вполне достаточная, – сдержанно ответила Дуня.

Наступила неловкая пауза, и Сорокин пытливо взглянул на свою спутницу через зеркальце.

– Дело в том, – прервал молчание Сорокин, – что в облачке у вас над головой мне почудилась безотчетная боязнь чего-то, которая однажды может превратиться в пандемию еще не паники, но уже неодолимого страха. Речь идет о той роковой надмирной точке, куда зловеще избегают все экспоненты нашего эфемерного существования. Вам уже теперь известно что-то, о чем не знаю я. Меж тем, опыт мой подсказывает мне, что в ваших тайнах заключена тема для больших раздумий художника. И оттого хотелось бы взглянуть на ваш заветный клад поближе.

– А зачем вам понадобился мой именно клад? – сопротивлялась Дуня.

– Согласен, было бы с моей стороны наивно с первой встречи рассчитывать на доверие случайной пассажирки, и я помогу ей побороть вполне уместные сомнения. Суть дела в том, что, по мнению мудрецов с обоих флангов, предстоящая внезапность – не очередная в истории людей, а уже финальная, и потому требующая срочного оповещения планеты, что нагляднее всего сделать средствами кино. Вот я и пытаюсь заранее выяснить событийную весомость вашего облачка, хватит ли его для философского осмысления проблемы на мировом экране. Имейте в виду, что мне было бы достаточно хотя бы ключевого слова, годного стать фабульным ориентиром для сценария и заодно названием великого фильма, небесполезного и для его создателей, – вкрадчиво продолжал Сорокин, полегоньку разжимая Дунины кулачок, – оценить жемчужинку у ней в ладони.

Тут необходима оговорка. Подобно тому, как процветающий режиссер Сорокин благородной услугой бедной девушке с окраины стремился снискать себе самоуважение, которым обеспечивается сытность житейского благополучия, Дуня также безотчетно, чем могла защищаясь от его барственного любопытства, ни за что не согласилась бы раскрыть мучителю скорбный недуг своих ночных озарений, если бы тот не применил тонкого встречного маневра.

– Но мне-то затея ваша зачем, зачем? – непроизвольно вырвалось у ней и вдруг затихла, словно в ожидании пощады.

– Вы сами знаете, зачем, – жестко подтвердил ее догадку будущий соавтор. – Разумеется, предприятие такого рода потребовало бы крупных фирменных затрат, зато успех его принес бы баснословные деньжищи, и тогда фрекен смогла бы весьма повысить более чем скромный

домашний обиход. Стоит ли пренебрегать благоволением судьбы? Почтительно жду услышать пароль нашей с вами удачи.

– Хорошо, – послушно согласилась Дуня, потому что и в самом деле до сих пор ни единой трудовой копейкой не помогла родителям и младшему брату содержать семью. – Ну, скажем, просто дверь...

– О, это почти грандиозно по широте охвата, – похвалил Сорокин и попросил вдобавок уточнения, какая она: дубовая, двухстворчатая или крашенная, например.

– Она железная и узкая, от прежних времен.

– Это в тесной-то вашей квартирке такая казенная дверища? – подивился Сорокин.

– Нет-нет, она не дома у нас, и не в подвале, как вы сейчас подумали... И вообще на том месте, где мы живем теперь, раньше стоял большой дом, который в революцию сгорел до нашего приезда, и прихожане взамен построили нынешний, этажом поскромней, но добротнее и даже, оказалось впоследствии, с чудесной светелкой для меня, – скороговоркой пояснила Дуня, пугливо взглянув на водителя, но тот и виду не подал, что заметил ее неслучайную обмолвку.

– Пускай чуточку вокруг одиноко, зато ни криков, ни стрельбы, и, если привыкнуть к ночной переключке дальних поездов, полные сутки прозрачная без единой соринки тишина. А в окне у меня, за лужайкой, вся под луной светится березовая роща и в ней белокаменная, бывшая теперь церквушка, милая-милая такая, – неожиданно на пару строк раскрылась Дуня.

– Простите, в каком значении **бывшая**: уже руина или пока уцелевшая по недосмотру и лености властей?

– А что, вам руина больше нравится?

– Я хотел лишь сказать, что всякое величие неизмеримо возрастает в ореоле трагизма, – стал оправдываться Сорокин, – и подобно тому, как элегия панорамнее, чем одномоментная ода, руина философически богаче самой себя в любой стадии расцвета. Пару минут назад вы так ласково отозвались о своей, видимо, симпатичной церквушке, словно прощаясь навсегда. И потому простите чужаку нескромный интерес, что именно привлекает в ней девушку ваших лет: парадная обрядность, утешное для стариков заунывное пенье или некое иное сокровище, вовсе бесполезное в его повседневной деятельности.

– А стоит ли чужаку интересоваться предметом, непригодным для повседневного использования? – кротко и тихо, вопросом на вопрос ответила Дуня.

– Оказывается, вот вы какая, со всех сторон неприступная особа! Что же, это, пожалуй, и верно, – согласился Сорокин, воспринимая щелчок как заслуженное. – Недаром мне почудилось сразу, что помимо двух ваших подмеченных мною тайн, имеется и третья, самая неприкасаемая.

– Ой, с вами даже и молчать жутко... Чуть задумалась, а вы уже как по книге прочитали, о чем, – притворно восхитилась Дуня с намереньем птахи лесной отвести охотника подальше от своего гнезда. – А скажите, как вам это удастся, с первого взгляда проникать в самую глубь людей.

– Во всяком случае, сложнее, чем представляется публике в зрительном зале... по-видимому, годами многолетней творческой работы... – поддавшись на уловку, солидно распространился Сорокин и попытался утолить ее раннюю любознательность к своему ремеслу. – Для краткости ограничусь изложением моей тактики при отборе как исполнительского состава, так и студенческого при поступлении в наш престижный институт. Положительной приметой избранничества в придачу к таланту перевоплощения может служить мимолетная заминка речи, как будто тревожное облачко над головой периодически, в силу ассоциативного мышления, ходом коня, застигает текущую действительность. Но только полифоническая увязка творческого двоения личности с событийной анкетой кандидата подтвердит мне его право на желанную роль или профессию. Так что вступающему в жизнь художнику не надо пугаться ее

ожогов и зигзагов, питающих большое искусство, если оно призовет вас однажды на распутье дорог, – заключил он тоном отеческого наставленья.

Лобовые дворники уже не справлялись с работой, так что пришла необходимость смахнуть снег со смотрового стекла и заодно уточнить свое местоположение на планете. Хозяин пригласил спутницу заняться мандаринами в пакете на полке у нее за спиной, и та, ввиду его расходов на бензин, деликатно отклонила соблазн под предлогом с детства почему-то вкусовой неприязни именно к мандаринам.

– Все в порядке, фрекен, – сообщил он, усаживаясь за руль, – а то судя по окрестным хибаркам подумалось мне, что сослепу заехали на окраину предыдущего века. Однако... вернемся к вашей двери. Итак, удалось выяснить пока, где она и что вокруг. Остается уточнить – куда ведет и что за нею... А вам лично доводилось пройти туда хоть раз...

– И даже не однажды!

– Так что же вы заставляли там?

– Разное, смотря на какой страничке распахнулось: то пустыня, то горы высокие, а однажды сплошное море без краев подступало к самому порогу...

– ...почему-то не выплескиваясь наружу? – осторожно, как говорят со спящими, осведомился Сорокин. – И вообще, как у вас буквально на пяточке умещаются целые ландшафты? – прикинув в уме размер Дуниной площадки, продолжал допрашивать Сорокин. И опять ответа не последовало, словно не дослышала или не поняла. – И если вас влекло туда в чем-то убедиться, посмотреть и просто унести с собой на память, то что именно?

– Не знаю, – простодушно и на все вопросы сразу отвечала Дуня.

– Впрочем, как сказал один могильщик, всякое случается на свете, – нехотя согласился Сорокин. – Но, по крайней мере, вам не страшно было бродить в пустыне и по воде с риском заблудиться или утонуть, хотя бы ноги промочить?

– А там и нечего бояться, если можно пройти сквозь все до края, не прикасаясь ни к чему. Ведь помимо того, что железная, это моя входная дверь. И что плохое может случиться внутри меня со мною?

– В чем я также не сомневаюсь, – сочувственно кивнул Сорокин и, удержавшись от любознательности, допустил вовсе неуместный вопрос: – А что говорят врачи?

– Приезжал один старичок, долго беседовал со мной, и я слышала из светелки, как на прощанье он сказал отцу что-то вроде – не мешайте ее счастью, а какому, не сказал... И не надо меня допрашивать больше, а то у меня виски болят.

Налицо представлялся зауядный по тем временам случай, когда гонимая нестерпимым страхом свирепой будущности особь человеческая бежала в необозримые просторы самой себя, в иную реальность, полную миражных видений, недостижимую для боли земной, мнимую и тем не менее явную. И вряд ли по одной лишь нехватке личного опыта Сорокину трудно было творчески постичь такую степень душевного смятенья. Числясь видным мастером кино и в меру своего гибкого, на любую надобность пригодного ума, он добротнo выполнял поручаемые ему казенные заказы, так что искусство никогда не было для него тем актом самосожжения, в котором зарождаются шедевры.

Станным образом совпало, что в ту же минуту Дуня, в свою очередь, надоумилась спросить у всеведущего режиссера, как ему самому представляется та, поджидающая людей, еще никому не ведомая грозная внезапность. Отвечая на Дунин вопрос, Сорокин перебрал в уме обывательские страхи перед будущим, грозившие физическому существованию человечества: сейсмическую катастрофу, какую-то нехорошую дыру в небесах, мор повальнoй, самоубийственную ненависть не только к соседу, но и к своему зеркальному отраженью, чудовищное изобретение высшей убойности и прочее он сознательно отвергал как низменные и лишь для черни придуманные кары небесные, в частности, ту из них, которая скоро и впервые должна свершиться в вечности, пусть даже с одновременным уничтожением вселенной.

Вдобавок он высказал собственные свои критические соображения насчет ценности Апокалипсиса, которые, к чести его, тотчас попытался смягчить признанием:

– Извините, проще не умею. Надеюсь, однако, вы поняли, о чем речь?

– Не совсем, ведь я всего лишь на бухгалтера обучаюсь... Что вы на меня так смотрите? Доктор сказал, что я слишком чувствительна на дурную погоду... Да еще ногу подвернула, болит. Не знаю, как без вашей помощи добралась бы домой.

Яркая рекламная вспышка ненадолго ворвалась через окно, наполнив кабину зелено-вато-искристым светом, и Дуня пошутила, что местные волшебники, универмаг с Мирчудесом приветствуют огнями великого деятеля кино.

За те считанные секунды Сорокин успел через зеркальце прочесть в ее лице нечто главное, в сумерках ускользавшее от его внимания. Вспомнил еще недавно такое же обычное, как у праведников, нестареющее лицо, но со складкой горечи о пережитом вчера и печально затуманенный взор куда-то в неминуемое завтра на безвестной фреске Вознесение Девы в Сиене, где побывал на обратном пути после недавнего венецианского фестиваля... Но ведь здесь всего лишь внешнее сходство с небесным, а не родство. Тогда если не святая, но, как видно, и не припадочная, то чем же, наконец, она привлекла его внимание, что добровольно, в отмену срочных дел и на ночь глядя, пустился в столь безумную авантюру? Вряд ли ее убогая синяя хламидка заслуживала подобной жертвы без логической увязки с заветной дверью в свой крохотный мирок, постигаемый современниками только в лупу творческого воображения. Таким образом, досадное заблуждение режиссера Сорокина объяснялось тем, что приманившая его обаятельная тайна загадочной фрекен служила ей всего лишь игрушкой, талисманом, затрепанной куклой, с которой напуганные дети по ночам и на ушко делятся своим одиночеством, секретами и мечтами.

Поездка подходила к концу. Почти вслепую с риском застрять до весны в разыгравшейся стихии Сорокин старался донести Дуню до трамвайной остановки; последние метров сто машина тащилась на первой скорости и с открытой дверцей, чтобы не сорваться куда-то буксующим колесом, потом окончательно встала.

– Боюсь, фрекен, что не смогу доставить непосредственно к замку... – склонился он в преувеличенном поклоне, в самом деле более озабоченный, как его охромевшая дама станет добираться домой, чем упускаемой возможностью незамедлительной развязки.

– Ничего, меня, наверное, ждут... – Дуня сдержанно поблагодарив, ступила ногой в снег.

Сорокин мужественно последовал за нею наружу.

Дикое клубящееся поле открывалось впереди, но снегопад заметно стихал с приближением ночи, и не то каемка миражного леса, не то катящаяся волна мглы проступала в радиусе видимости, но еще не горизонта. Во всяком случае, одинокое, накрытое сугробом трамвайное строение с крытой платформой и тусклым огоньком внутри казалось сейчас форпостом жизни на границе *mare tenebrum*<sup>1</sup> древних. Конечно, Сорокин ни в малой степени не отвечал за высказанные им, при всей его славе, невыполнимые бредни насчет фильма в сущности ни о чем, потому что за пределами земного быта, – и в этом смысле ему хватало данных Юлии обещаний...

– Благословляю непогоду и, каюсь, прочие обстоятельства, столкнувшие нас в этот вечер, хотя в конце концов мне ничего от вас не надо, – напоследок произнес он без выраженья и с обнаженной головой, но вдруг, Боже сохрани, опасенье быть понятым превратно заставило его перейти на шутку. – Итак, во всеобщих интересах жду ответа целых три месяца. Если потребуюсь, звоните мне на Потылиху. Там меня найдут.

– Хорошо, я подумаю... – с неожиданной серьезностью сказала Дуня.

---

<sup>1</sup> *Mare tenebrum* – грозное море.

В длинном луче фар видно было, как она уходила по снежной целине, поминутно оступаясь на больную ногу. В конце световой дорожки к ней из-под навеса подоспел ожидавший хранитель. Сорокину показалось – довольно мрачный детина в снежной гриве – скорее вследствие впечатлительности артиста, чем оптической иллюзии, так что охотничья, мехом наружу, куртка Никанора, например, представилась ему накинута на плечи шкурой; было бы вполне уместно появление мамонта средней руки. Ослепленно пощурясь на стоявшего в тени, Дунин дружок без усилий поднял ее на руки и понес во мрак окраины, – они как-то слишком быстро пропали из поля зрения.

Обратная, по сугробам, дорога в город с неизбежной перегрузкой машины удручала счастливого обладателя, и в ту минуту он не сознавал явной теперь невозможности продлить заманчивую беседу о самом несбыточном из страхов людских. Лишь полтора часа спустя при въезде на окраину он испытал запоздалое сожаление, что не записал ни имени странной спутницы своей, ни адреса ее и телефона.

## Глава X

Прогнозы Никанора Шамина насчет еще более впечатляющих событий впереди начали оправдываться уже на следующей неделе. И первое из них – уже реальное, после предупредительного Егорова фотоснимка – воплощение в земную действительность того странного существа, которого Дуня почему-то постеснялась представить родителям как спутника своих ночных прогулок в еще несуществующее куда-то. Причем явление его косвенно сопровождалось несколько комичным, даже оскорбительным приключением, постигшим даже самого предсказателя.

Вьюга накануне феерически преобразила с детства им знакомые места. На каждом шагу попадались причудливые, с противоречивыми фрагментами отовсюду надерганного сходства, снежные фигуры, как бы наотмашь изваянные вчерашней бурей и такие же временные, из сомкнувшихся кронами деревьев, триумфальные арки, обреченные рухнуть в ближайшую оттепель; наконец, по стихийной фортификации воздвигнутые крепости и бастионы, которые с утра завтра, под немолчный галчинный крик и пальбу снежной перестрелки станет штурмовать воинственная здешняя ребятня... Но в тот час девственная тишина висела пока над стародосеевской окраиной.

Сразу за кладбищенской оградой, если пересечь сортировочные пути окружной дороги да один попутный овражек с невероятно живописными бараками по склону, начиналась незастроенная местность под названием **Затылица**: какое-то не предусмотренное сметами препятствие, может быть, находившаяся там гигантская впадина, направила рост города в ее обход. Так что с одной стороны пустырь обступала сияющая огнями панорама столицы, а с другой – простиралась неохватная глазом, так и затягивающая в себя покатость, нарочно созданная для головокружных, по спирали, лыжных спусков. Нужно было лишь остерегаться крутого, точно над речной излучиной повисшего обрыва на противоположном конце, хотя всякий раз молодых людей так и тянуло, на обратном вираже, заглянуть за край коварного и соблазнительного трамплина. Кстати, кое-какие опасности, вроде помещавшихся там песчаных карьеров и заброшенных, с торчащей арматурой фундаментов какого-то пригородного сооружения, отвращали пришлых лыжников, отдавая Затылицу в безраздельное владение мальчишек днем – вечерами же – Никанора и его подружки. Надо признать, трудно было бы найти в городской черте более удобное, по своей уединенности, местечко для приземления небесных гостей.

Пока собирались, взошла луна, но вскоре все затянулось облачной пленкой, и окрестность подернулась трепетным серебром. Оба, Никанор и Дуня, с минуту молчали на вершине холма, захваченные волшебным зрелищем перед ними, но сверх того смутной тревогой. Слегка вогнутое пространство перед ними, с ребристыми закраинами по краям, напоминало гигантскую, ветром выточенную раковину: тоскливая неловкость в лопатках возникала при виде ее, верно, от нехватки крыльев. Подтаявший за день снежок к ночи прихватило морозцем. С начала зимы не бывало легкого, с накатцем наста.

Никанор покачался взад-вперед, пробуя надежность крепленья:

– Держись ближе... – Никогда не оставлял ее там без присмотра. – Пошли!

Мгновением позже он скользнул вдогонку за Дуней...

Но тут требуется возможно полное изложение обстоятельств, чтобы передовые мыслители могли ввести иррациональный эпизод в русло здравого смысла. Прежде всего он почему-то не испытал обычного наслаждения лыжной гонки, что происходит от борьбы с упругой, стремящейся сошвырнуть или вовсе опрокинуть, сопротивляющейся силой, пока, подчиняясь мускульной воле, она не помчит тебя по гигантским спиральным кругам ко дну синевато-мерцающей воронки. С самого старта почудилось ему, будто третий кто-то увязался за ними следом. Некоторое время все трое мчались голова в голову и, строка за строкой укладывая лыжню

по скату, причем погоня зачем-то отставала порой и, судя по настигающему свисту за правым плечом, притормаживала возле – с небольшим опережением, явно готовя студенту какой-то замысловатый номер. Некогда стало оглянуться.

Вдруг до Никанора донесся знакомый, столь беспокоящий его, как бы от счастья захлебнувшийся Дунин смешок, – значит, была уже не одна, хоть и непонятно было, когда именно тот, позади, успел не только обогнать, но и так далеко увлечь подружку, что опознавалась лишь по длинной, ускользающей и, как твердо запомнилось, совершенно одинокой тени; впрочем, тот всегда имел обыкновение приходить к Дуне невидимкой. Почему-то при абсолютно ясном сознании, как нередко бывает с пространством в подобных случаях, все пропорции и самая перспектива легкомысленно исказилась так, что Никанору показалось, еще миг-другой и на достигнутой скорости Дуня прямо с виража легко перемахнет за черту обрыва. Больше жизни заботясь о безопасности девушки, Никанор Васильевич ринулся ей наперерез и с помощью всяких лыжных хитростей, а пуще всего за счет дополнительного постороннего давления в заднюю часть, добился разгона, вряд ли возможного при более заурядных обстоятельствах; нечего было и думать на подобной глади зацепиться за что-нибудь. На долю мгновения он увидел прямо перед собою гулявшие по краю пропасти снежные вихорьки и сразу вымахнул в неуютное мглистое пространство. Он плавно взмыл в мглистую высоту, уже не опираясь палками о метельное пространство под собою.

В создавшихся условиях от материалиста требовались особые осмотрительность и выдержка, чтобы не приписать слишком уж дикую проделку произволу потустороннего происхождения. Самый толчок в находящуюся ниже поясницы часть туловища не сопровождался болевыми ощущениями, однако не слишком точное приложение супернатуральной силы привело студента в быстрое вращательно-поступательное движение, сопряженное с кратковременной утерей памяти. Когда же прошла перегрузочная одурь, обычная при запуске из катапульты, он не поддался упадочническим настроениям, не стал препираться со все равно неуязвимым обидчиком или вызывать о помощи, а подобно выдающимся исследователям мировых загадок постарался самостоятельно изучить постигший его феномен.

– Тихо-тихо, Никанор, без паники... – окликнул он сам себя и, ногою притормозив дальнейшее ввинчиванье в пустоту, принялся за освоение непривычной обстановки.

Внезапно прямо по курсу под собой Никанор Васильевич обнаружил на мерцающем снегу две оживленные фигурки, обе подавали студенту явно пригласительные знаки, из чего можно было заключить, что приключение завершалось доставкой на прежнее место. Дуня усиленно салютовала платком, а откуда-то взявшийся рядом с нею парень, несколько менее уверенно, черной шляпой.

Опознавшая студента еще издалека, Дуня расплывающимся в пространстве голосом прокричала ему, чтобы подруливал скорей, присоединялся к их компании, причем сулила необыкновенные новости. И тут загадочная сила принялась бережно приспускать студента слегка в наклонном положении, как бы придерживая его сзади за штаны и воротник. Сознывая всю комичность гнева в столь двусмысленном состоянии, Никанор Васильевич молча подчинился своей участи.

– А мы здесь совсем замерзли и соскучились без тебя, – неузнаваемо торжественная и веселая стала попрекать Дуня дружка. – Ну, где, где ты там запропал?

– Так, захотелось немножко полетать в старо-федосеевских окрестностях, – сквозь зубы отшутился тот, ощутив твердую почву под ногами. – Должен ли я просить прощения за свое отсутствие?

Заодно он осведомился тоном оскорбленной ревности, – не помешал ли удовольствию совершаемой ими прогулки? – обиднее всего, что Дуня приняла вопрос за естественное извиненье.

– Ну, что ты, что ты, мы так рады тебе! Угадай теперь, кто стоит перед тобой? Вот я говорила, что никогда сам не догадается... – и по-свойски тормозила за рукав стоявшего возле незнакомца. – Это же Дымков, тот самый... помнишь?

Напрасно пыталась она столкнуть стороны на дружеское рукопожатие: одна – дичилась, упиралась, явно не понимая Дуниных намерений, другая – пятилась от соблазна совершить какой-нибудь акт в отношении господина, наиболее вероятного виновника всех Никаноровых уязвлений, вплоть до недавнего швырка в ночное небо.

– Мы уже встречались... – поворчал студент и вскользь выразил сожаление по поводу небогатой выдумки иных остряков, но опять никто не заметил пролитого яда.

Вряд ли правомерна наша догадка, что по примеру прежних проделок над Никанором насильственный полет его над ночной метельной столицей, совпавший по времени с появлением загадочного незнакомца, подстроен самим шефом, чтобы, против обидчика озлобив студента, получать через него регулярную информацию о скандальных, им же, Шатаницким, организуемых похождениях Дымкова, как будто не имел ее по своим ведомственным каналам, и таким образом в пику Господу Богу сделать невозвращенцем запутавшегося ангела, который был поименован корифеем при нашем знакомстве в институте как обыкновенный инопланетянин.

Временами луна пробивалась сквозь облачный покров, и тогда все кругом заливалось голубым плавучим серебром. Пользуясь такой вспышкой, Никанор искоса и с неприязнью взглянул на обидчика, но, кажется, тот не сознавал свою неоднократную перед ним провинность. Вопреки ожиданиям Дунин приятель выглядел довольно симпатичным, несколько тощеватым для своего роста, с блуждающей застенчивой улыбкой не освоившегося в столице новичка. Впечатление крайней провинциальности усиливалось какой-то архаической одеждой, начиная с бархатной цветной при незамятом донце, широкополой шляпы и, тоже из теткина сундука, **молескинового**, что ли, чуть не до пят и не по сезону легкого да еще нараспашку пальтишка. Благодаря исключительно длинной шее видна была бывшая крахмальная сорочка, до бахромки застиранная у ворота и с вопиющей, перекошенной на горле **бабочкой** отечественного производства – пугало с зажиточного огорода. По-видимому, придумывая ангела, Дуния забыла о нашем климате и выпустила на декабрьскую стужу без предварительной подгонки к обстоятельствам нового существования. Новоявленный Дымков ежился и зябнул в своем легком пальтишке и походил на долговязого мастерового парня тотчас по выписке из больницы. Но именно стариковская ветошь с чужого плеча подчеркивала девственный возраст юнца миловидного до женственности, а иногда с оттенком щемящей кротости, почти на грани пугливости, чем, видимо, и объяснялась мгновеннейшая его на всякий шорох поблизости реакция с молниеносным же, как у птицы, поворотом головы, после чего следовал долгий кинжально-цепенящий взор с выражением безумного прозрения, а может быть, всего лишь неукротенной дикости, наделенной грубым и необузданным могуществом, в свою очередь способным вызывать почтительное содрогание, как иные из земных властителей, владеющих правом собственноручного отрубания голов, словом, низменный и благоговейный ужас, если бы его жуткого ореола не смягчала примесь неутихающей тревоги, вернее, неуловимой печали в только что, еще мгновение назад, закошенных яростью, но вот уже спокойных, несколько восточного рисунка, миндалевидных и широко расставленных глазах, нет – очах, пожалуй, ибо, несмотря на описанную телесность, небес в них отражалось покамест больше, чем земли. И оттого создавалось убеждение, что все перечисленное, слишком сбивчивое и противоречивое ни в малой доле не передает его истинного содержания, что, наверно, подтвердит всякий, кому доводилось встречаться с настоящим ангелом. Естественно, воображением своим уплотняя ангела из того рассеянного космического вещества в земные габариты, она неминуемо должна была придать ему авторские черты своей личности, так что в сложном итоге получалось симпатичное и застенчивое подобие долговязой, чуть остроносой птицы. Чем пристальней вгля-

дывался Никанор в так странно, со склоненной набок головой, забавного парня, тем больше – с недоверчивым сперва, но постепенно подавленным восторгом узнавания находил в нем черты сходства с тем, на колонне. Любопытней всего, что законченного материалиста сбивала с толку бытовая, слишком уж легкомысленная для ангела оболочка. Можно было запутаться в уйме ее обоснований – от намеренной маскировки соглядатая до высокомерного пренебрежения аристократа к своему временному, преходящему состоянию. На деле сама же Дуня вырядила его сообразно своему вкусу и хитрости, чтоб охранить от немедленного разоблачения. По излишней отзывчивости, как ни странно, совмещавшейся с чисто птичьей невнимательностью к людскому горю, он запросто мог стать объектом чьей-нибудь ловкой предприимчивости с уймой калейдоскопически-универсальных и небезразличных для репутации приключений, что вскоре и подтвердилось на деле.

– Я – гость из неба, Дымков, как поживаете? – вежливой фразой из разговорника произнес ангел.

– В ваших документах указано все, что нужно... И вам не надо всякий раз докладывать о своем происхождении, – строгой скороговоркой прервала его Дуня, потом просительно коснулась Никанорова рукава, – у него еще неполадки с языком, для практики поговори с ним немножко...

– Хорошо доехали? – спросил Никанор первое, что пришло на ум.

– Очень приятно. Дальняя дорога, благодарю.

– И каковы ваши начальные впечатления?

– Ничего, пожалуйста.

Ему хотелось прибавить что-то смешное, словесно пошалить, но захлебнулся воздухом и кончил неразборчивым бульканьем, как если бы вода училась человеческой речи. Дуня пыталась сделать смысловой перевод, – кажется, ангел благодарил уважаемого студента, что если не философски, то *de facto* тот допустил его существование.

– Что же... я рад, что мое признание доставило вам моральное удовлетворение, – колюче поежился Никанор и в свою очередь высказал сомнения относительно своего противника: кто он – оптическая мнимость или просто мираж не в меру разыгравшегося воображения?

– Ничего, дело привычки, обойдется... – довольно связно на сей раз сказал ангел и прибавил в извинение Никанору, что и сам не слишком уверен в реальности глубокоуважаемого студента.

С полминуты все трое стояли в обоюдном замешательстве, и жалко было смотреть на Дунины старанья во что бы то ни стало наладить неразливную дружбу втроем.

– Что же мы стоим тут!.. Тронулись куда-нибудь, пока не заоченели окончательно, – виновато оживилась Дуня, объединяющим жестом подхватывая обоих под руки, но еле натоптанная тропка оказалась узка на всех, и через минуту отбившийся Никанор замыкал шествие с лыжами на плече.

То был первый выход ангела в неведомый ему мир, и не хотелось расставаться сразу, но идти было некуда. **Мирчудес** стоял во мгле с погасшими огнями, тем более поздно было тащиться с гостем домой без предупреждения матери. И так как Дымкову полагались покой и отдых после утомительной дороги, то с облегчением двинулись на трамвайную остановку, откуда двадцать седьмым номером удобнее всего было, с единственной пересадкой в центре, добираться к его подмосковному местожительству.

В попутно завязавшейся беседе выяснились кое-какие сведения касательно его нынешнего устройства в столице. В качестве переведенного с далекой периферии на постоянную работу в Институт детского питания он по своему положению младшего сотрудника смог получить прописку лишь в Охотковом, где снял комнатку у одной бывшей белошвейки. Понемногу входя в земной обычай, он усиленно приглашал новых друзей навестить его на новоселье, причем с похвалой отзывался о квартирной хозяйке. Вообще, хорошо еще, что обошлось без

свидетелей, потому что в таких подробностях набросал приметы своего переулка и третьего от водяной колонки одноэтажного домишка, где не бывал ни разу, что невольно возникало любопытство об источниках такого ясновидения. Кстати, пока не задумывался, с речью у него обстояло вполне сносно, Никанор сдержанно отметил его успехи.

– О, нет-нет, немножко немой. **В роте** мало слов... – сказал ангел с выражением наивного самодовольства, обычного у новичков после первого удачного круга на велосипеде, и прибавил что-то вроде **тру-ля-ля**, но с таким озабоченным видом, что можно было принять за восклицанье на одном из древних языков.

Создалось впечатление, будто словарь свой он получил вместе с телом и, пока не освоился, кое-что применял невпопад. С грехом пополам общение сторон налаживалось и, что в особенности примиряло Никанора, как убежденного материалиста, без каких-либо стеснительных, в духе Средневековья, ритуальных условностей.

– Наверно, у вас имеются тут серьезные намерения, – почтительно и не без яду спросил Никанор, – вроде, отвращать малолетних от порока или утирать вдовью слезу? Лично я мог бы предположить...

– Мы и сами не решили пока, чем он станет заниматься у нас, – быстро и тоном, исключавшим дальнейшие расспросы, вставила Дуня. – Ему надо осмотреться сперва, а уж когда попривыкнет, тут и твой совет потребуется...

Подошел гремучий, с прицепным вагоном, последний в ту ночь трамвай, но бригада удалилась в свой стеклянный фонарь, и таким образом прибавилась еще одна, обременительная на расставании минутка.

– Ну, привыкайте пока, без привычки на земле у нас нельзя... – посмеялся Никанор в смысле, что жить на ней вполне можно, если стиснуть зубы и не задумываться. На прощанье Дуня вполголоса давала Дымкову детские наставленья: не трепаться с посторонними людьми, не класть документы в наружный карман и, главное, везде платить настоящие деньги, не прибегая к своим опасным теперь способностям. Заботясь по-матерински о своем создании, она подарила ему на земное обзаведенье свой любимый сафьяновый кошелечек с мелочью на проезд. Имея в виду не принятое на земле и свойственное ангелам прямолинейное перемещение, настоятельно просила его пользоваться обычным транспортом. Тут в паузе томительного ожидания снова пробила луна, черные тени пролегли по засиявшему снегу, и Никанор смог наблюдать краем глаза, как якобы за упавшим кошельком нагнувшийся Дымков украдкой пытался приподнять свою тень – кажется, его смущало, что она, целиком от него зависевшая, не подчинялась ему. Но тут, наконец-то, трамвайная прислуга прошла мимо для заключительного рейса.

Поддерживая под локоть на всякий случай, Дуня повела слабо сопротивлявшегося Дымкова к подножке и совсем по-старушечьи все тянулась к его уху с прощальным напутствием. Когда же напоследок стала совать любимые свои, подарок и работу матери, пестрые рукавички ему в карман, у Никанора и сердце защемило от сочувствия за обузу, которую отныне брала на себя. Он отвернулся, чтоб не видеть, как она еще шажков двадцать бежала за вагоном, жестами наказывая стоявшему на задней площадке ангелу застегиваться на все пуговицы, кутать горло от простуды, поднимать при ветре воротник.

Лишь когда вагон окончательно потаял во мгле, Никанор решился подойти, бережным прикосновеньем вернуть ее к действительности.

– Уж поздно, мы устали и нам пора домой... – и напомнил, что завтра в девять Дымков обещался быть у ее ворот.

Даже не обернувшись на голос, продолжала шуриться ушедшему вослед, как все дети – игрушечной ладье, выпускаемой в простор открытого непокойного моря.

Хотя многофигурный, в крайне затрудненных сумеречных условиях пилотаж обошелся для студента без всякого вреда для здоровья, тем не менее, оставшись в одиночестве, испытал

он такой упадок духа, что и про ужин не вспомнил в тот вечер. Правда, полураздевшись на сон грядущий, он машинально проследовал было к подоконнику за холостяцкой едой, приготавливаемой у Шаминых приблизительно дважды в неделю, и уже взялся за оставляемый ему отцом котелок с пшенной кашей, но после двух – пяти ложек всухую, подобно тоскующему призраку, воротился на койку, где его поджидала непривычная бессонница. Дошло до того, что **дважды** за ночь выходил в сени пить воду из обледеленого ушата, чтоб немножко отбиться от сомнительных мыслей.

К чести Никанора Шамина надо отместить всякие личные побуждения самолюбия или корысти. По отсутствию способных донести свидетелей совершившийся акт общения с ангелом не грозил студенту чем-либо, вроде выговора либо лишения стипендиатского повидла, так как на сравнительно небольшом отрезке времени и при несомненной своей принадлежности к потусторонней категории объявившийся Дунин приятель не проявил ни одного пока, преступного в глазах эпохи, элемента церковной мистики. При вполне оправданной его неприязни к Дымкову, еще меньше имелось причин для мужской ревности к мнимому сопернику, коего, по его физической хлипкости мог обезвредить нажимом указательного пальца. Однако характер охвативших Никанора обывательских сомнений заставляет признать, что институтская общественность рановато увидела в нем достойную смену тогдашним неукоснительно-направляющим столпам, какие подобно бесстрастным утесам возвышались над бушующей действительностью. И если совсем недавно скандальное, якобы уже насквозь могильным тлением пропахшее прошлое отцов, как выразился в одной лихой статейке Шатаницкий, вынуждало и Никанора в числе прочих юнцов с ликующим кощунством рваться куда-то вперед, напролом и подальше, то иррациональные события минувшего вечера невольно толкали студента обмозговать, куда возводит род людской уже седая, сама полуослепшая от слез и древности и все еще обольстительная мечта о золотом веке. Подобный пересмотр привычных ориентиров вел прямоком к великому брожению умов, а спасение состояло в немедленном подведении легального философского базиса под указанную чертовщину, и оттого надо считать, как нельзя более своевременным, что Никанор вспомнил о своем всеобъемлющем декане, о его постоянной готовности прийти на помощь, как ловко льстил он при каждой okazji нашей **чуткой, иска- тельной молодежи...** И здесь, зарывшись головой в подушку, студент принялся наверстывать упущенное в первой половине ночи, причем с таким шумовым оформлением, что пробудившийся на печке родитель лишь головой покачал, хотя по его собственной похвальбе, мыши не смели показываться из подполья, пока он сам занимался сном.

## Глава XI

Случилось совершенно необычное: корифей попросил своего ученика посетить его на дому. Помимо доверия, приглашение означало и какую-то несомненную нужду в услуге студента. С понятным волнением Никанор отправился в берлогу.

Самые влиятельные стихии под видом случайностей и совпадений несли в тот раз Никанора на свидание с шефом. Они с ветерком мчали его по тротуарам метельного города, придерживали на остановках необходимые трамваи, помогали без увечий и штрафов пересекать магистральные потоки, пока не прибыл на место назначения.

Ведомственное здание Шатаницкого, уходившее шахтами в пламенную глубь земли и бессчетными этажами погруженное в небо, оставалось незримым для посторонних даже при ясной погоде. Обнаружить его можно было, лишь подойдя вплотную с риском провалиться в бездонный люк к дежурному на рога. Система охранительных средств действовала надежнее комендатуры с выдачей пропусков. Все наружные входы были защиты досками по причине круглогодичного ремонта, видимо, свои проходили непосредственно сквозь стенку. И в поисках входного отверстия смельчаку приходилось впритирку протискиваться в сводчатых воротах, закупоренных застрявшим в снегу автофургоном.

Едва пробился во двор, как тотчас для него нашлась обитая железом запасная дверь, и сразу при входе налево лифт в углу. Не успел он вступить в него, как тесная кабина сама собой, рывками пометавшись в стороны, чтобы запутать ориентировку жертвы, сперва напропалую ринулась куда-то в глубь земного шара, пока предупреждающий зной не стал ощущаться в ногах, после чего чертова коробка уже безупречно доставила студента в поднебесную высоту на должный этаж, хотя личных часов у Никанора не было, но, судя по все возрастающему нетерпению, подъем длился почти четверть часа.

То был вполне обыкновенный, перенаселенный жильцами и с коридорной системой коммунальный дом. Саднящий зрение, слепительный лампачон светил неведомо откуда, и вся служивая адская живность сидела дома, раз отовсюду сочился нетерпимый до зуда в мозгу свербящий звук ее вечерней деятельности – лаяла собака, звонил телефон, неправдоподобно громко плакал сомнительный младенец, пилили лобзиком стекло, сдвигали мебель, вбивали дюймовые гвозди и, наконец, колоратурная певица с помощью радиолы звала любовника вернуться в ее объятья. Отовсюду стекавший звуковой мусор гулко проваливался в крошечное эхо лестничной клетки. Однако стоило Никанору добраться до апартаментов с медной табличкой Шатаницкого, как шумовая суматоха сменилась мгновенно настороженной тишиной, студент, не успевший коснуться звонка, в ту же минуту различил два пристальных блеска сквозь почтовую прорезь в двери, которая беззвучно открылась, и за нею стоял улыбающийся корифей в домашней венгерке с бранденбурами, черной шапочке ученых на голове и в шлепанцах. С десятков самых причудливых масок проструилось в его лице, прежде чем Никанор опознал в нем своего учителя, приглашавшего войти в прихожую – с жестом на вешалку. И пока по длинному коридору шли в глубь квартиры, Шатаницкий впервые проговорился о своем заветном желании навестить студента на дому, точнее – в домике со ставнями в надежде на личный контакт с достопочтенным Финогеем Васильевичем, с коим дотоле имел беседу только во сне.

– Папашу моего зовут наоборот, Васильем Финогеичем, – не преминул поправить Никанор.

– Ах, какая жалость, никак не скажешь по виду... – невпопад пробормотал хозяин, с полупоклоном пропуская гостя, который не без опасливого смущенья за не по чину оказанный ему торжественный прием вступал на порог вселенского атеистического форпоста.

Каждая мелочь подтверждала институтскую репутацию квартирохозяина в качестве книжника, библиофила, анахорета и чудака с холостяцким укладом существования, вплоть до

показной железной койки за ширмой в углу. Так опровергался обывательский анекдот, будто ложем для сна служит ему трехслойный магнит с титановой присадкой, специально изготовленный на секретном уральском заводе. Житейский аскетизм возмещался у него и тоже – не миражным ли – изобильным книжным богатством.

Синевато-магическое сияние исходило в потемках от вплотную заставленных полок, декоративно заплетенных густой паутиной в проходах, – наглядное свидетельство ничьих посещений. Обширная память владельца, как раз вмещавшая все случившееся некогда, еще по ту сторону времени, не нуждалась в справках и уточнениях, ибо вдохновенное безумие драгоценных фолиантов было им же нашептано в давние бессонные ночи. Мемориально-архивный характер собрания тем и объяснялся, наверно, что у обреченного на пожизненное пребывание во мраке, в котором вязнет и солнце, имеются свято хранимые воспоминания об утраченном предвечном свете. Впрочем, помимо первоклассных, полностью забытых ныне жемчужин потаенного знания, надежно защищенного от *vulgus profanum* личиной еретического мракобесия и опиума для простаков, всяких инкунабул и адским прозреньем восстановленных палим-сестов эсхатологического откровения, среди бесценных рукописей классиков научного оккультизма, украшенных дарственными надписями Аполлония, Агриппы и не менее легендарного Элифаса Леви, находилась энциклопедическая *Biblioteca rabbinica* – наиболее обстоятельный свод самых ранних домыслов о происхождении вещественного мира, и, судя по зиянию во втором ряду одинаковых фолиантов, там недоставало одного. Не он ли, распахнутый посередине, красовался у корифея на самом виду? То был как раз седьмой том *Biblioteca rabbinica* с предисторией якобы на заре мира случившегося знаменитого небесного раскола.

Примечательно, что в ту обостренную пору изнурительных повинностей, хлебных очередей, тайных казней и подпольных козней, именно эта давно отжитая сказка уединенно находилась на рабочем столе у генерального излучателя никем пока не подозреваемых идей, составлявших истинное содержание века и сего повествования.

– Ну-с, рассказывайте, Шамин, как там у вас, на краю света в Старо-Федосееве? Побывал ли у вас причудливый незнакомец, выдающий себя за пришельца из заоблачных краев? Лично у меня есть подозрение, не он ли ради первого знакомства заставил вас полетать над нашей любимой столицей, пока воплощался на памятной для вас лыжне? Какие ваши первые впечатления от него?

Кстати, учитывая некоторые природные свойства своего декана, проницательный Никанор уже разгадал, кто на самом деле устроил ему этот каверзный полет над столицей.

– Покамест впечатления благоприятные, учитель, – сквозь зубы процедил студент, осторожно листая книгу и время от времени, по обычаю слепых, касаясь пальцем латинской строки, чтобы хоть так освоить заключенное в ней интеллектуальное лакомство, недоступное молодому поколению на немом для него языке.

– Поинтересуйтесь им поближе, он достоин в будущем кисти такого многообещающего мастера астрального портрета, судя по черновым записям, которые вы успели сделать о моей особе, хотя внешне личность его представляется довольно скромной.

– Он почему-то называет себя ангелом.

– А вы не попытались уточнить – почему? Если люди додумываются, как они врисованы в математические законы бытия, тем в большей степени это сомнение должны испытывать ангелы. Сам дьявол томится догадкой, не есть ли он вместе со всем арсеналом зла магнитным завихрением пустоты? Здесь весьма пригодились бы утверждение виднейшего специалиста по этой части Василия Великого, что ангелы, как и демоны, страдают от мук огня. Примат боли сильнее, нежели радость бытия. Никто не принуждает вас при первой встрече прижигать его спичкой, как бы прикуривая, но, дорогой друг, во избежание атрофии надо давать работу и голове!

– Смолоду не пью и не курю, учитель, – задумчиво, словно сдвигая гору мыслей, отвечал Никанор.

– А не замечается ли у вашего Дымкова странная манера щуриться, как бы от неумения войти, приспособиться, встроиться в нашу действительность?

– Есть немножко... Наверно, с непривычки увязать воедино уйму составляющих нас физических законов, – с видом столь же заумной учености сказал студент. – Птицы и насекомые замечают грозящую им опасность, лишь выдавшую себя произвольным движением...

– Браво, мой юный друг... совсем близко, даже глубоко, но снова мимо. Иногда осознать мешающее быть куда трудней, чем отыскать средство в преодолении помехи, но еще сложнее нащупать его источник. Умная собака способна различить часы в руках хозяина, гениальная подметит в них взаимозависимое движение колес, но как далеко отсюда до нашего понимания времени, не так ли?

Здесь корифей сделал небольшую передышку, чтоб продолжить свою псевдонаучную галиматью.

– Теперь вы понимаете, Шамин, что все сущее является единым, слитным и никогда – конечным процессом, где одновременно осуществляются тысячи физических законов, всевозможных диффузий, рефракций и – чего еще там?.. Ну, скажем, мы плывем там, не замечая друг друга, сквозь встречное и встречное – сквозь нас. Если такой поток рассеять экраном бешено сопрягающихся магнитных полей, на них тотчас возникнут проекции действующих сил в виде беспокойных, мучительно нечто напоминающих символов, в которых вряд ли с первого взгляда распознаем самих себя. Крайняя у них там, в непроглядных глубинах, изреженность вещества даже в цепящихся условиях абсолютного нуля не исключает ускользающего от наших наблюдений, пускай приторможенного взаимодействия рассеянных в пространстве частиц, что позволяет говорить об особой неторопливой химии **горних миров**, способных создавать довольно грозные явления, в том числе гигантские фантомы, сотканые из того же мятущегося вещества с самыми различными характеристиками материальности – в зависимости от плотности среды и гравитационных натяжений неслыханной величины и кое-чего другого. Вполне аксиоматично, что где кончается один мир, должен начинаться очередной за ним, чтоб не получилось какой-либо запретной иррациональности... Правда, населяющие большой космос мыслящие макросущества отличаются замедленной реакцией, чем, в частности, и объясняется досадная нерасторопность небесных покровителей в отношении бед земных. Самый шаг времени у них другой, и пока соберутся на призыв страждущей малютки, обстановка успевает измениться много раз, вплоть до адреса самой планеты... Их винить нельзя, ибо по своей обширной емкости они и мысли не допускают порой о чем-то ничтожном бытии, как ни обидно это для нашего достоинства... Но ведь и мы им платим тем же! Поэтому, когда они открывают нас, мы для них мошкара вселенская вокруг тусклого фонаря местного значения, что поминутно врывается сюда из мглы, чтобы тотчас с воплем прощальной тоски или вздохом облегчения вернуться в материнское лоно. Свяжите сказанное воедино, и вы поймете, чего я добиваюсь.

– Жадно внимаю вам, учитель, – с одухотворенным лицом, как бы испивая мед мудрости из уст его, отвечал Никанор.

– Таким образом, вступающему к нам с того мглистого берега и наделенному молниеносным постижением всех процессов, происходящих в их собственной среде, наше с вами бытие должно представляться им выюгой обезумевшего вещества, хаосом ошибающихся противоречий и прерывистых мерцаний – на фоне таких же искрящихся странностей и гонимых императивными квантами чего-то, где втугую сфокусированы зов, воля и приказ... Но в конечном итоге, что именно вертит жернова, впрягается в парус, гонит морскую зыбь, песчаную пустыню вздымает до небес – ветер, воздух, солнце или некто, завершающий эту лестницу причин и сам не знающий себе причины? Следует допустить, что если бы ожидаемый нами пришелец

**оттуда** действительно принадлежал к разряду ангелов, наделенных универсальным зрением без способности различить в вихре физических законов врисованные в них эфемерные призраки людские, то по природе своей избавленный от тяготных поисков хлеба насущного, смертельных схваток за место под солнцем, сладостных мук, связанных с продлением вида, с какой пристальностью гнева, содроганья или гадливой неприязнью шурился бы он в попытке постичь смысловое поведение людей в корчах труда, любви или битвы, не так ли? Тогда кто он, наш завтрашний Дымков: заблудившийся турист, иномирный соглядатай (какого пронизательный коллега заподозрил в моей особе) или тот, где-то в исламских сказаниях упоминаемый мифический ангел с расстоянием между очами восемьдесят тысяч дней пути? Кстати, я уже зондировал кое-где возможность вашей персональной командировки в мечту, священную цель ученых... если не забыли данное вами согласие в том беглом у меня разговоре, который я неосторожно, в целях конспирации, перевел в гротескный ключ ввиду постороннего присутствия. Не скрою – первые миссионерские шаги на чужой территории сопряжены с риском мученичества, и будем надеяться, что первые, неизбежные в таком предприятии могилы космических первопроходцев наконец-то сольют враждующих землян в единую семью... и вообще терновый венец лучше лавров и бриллиантов украшает чело гения, не так ли, юноша? Простите мне возрастную чувствительность, но вот уже близится предназначенный вечер поколений... И выпуская ученика на столбовую дорогу, старик смотрит вслед ему затуманенным взором и тихонько завидует вдогонку! – изображая ностальгическую тоску, произнес корифей, украдкой взглянул на студента с одновременным вопросом: – Бреднями своими не утомил я вас?

– Наоборот, в самый раз, учитель... – поторопился успокоить его Никанор, не отрывая глаз от раскрытого фолианта.

– Помнится, мы остановились на том, что никакого небесного мятежа не было и в помине, а просто среди высшего ангельства распространились слухи о предстоящем переводе под начало неслыханного фаворита. Естественно, по чину своему, главный маршал сил небесных отправился лично познакомиться с претендентом на его место: кто таков и в чем его воинские преимущества? Встреча их произошла при пещерной нише под навесом скалы в защиту от полуденного зноя или непогоды. Только что сработанный человек лежал враспашку на плоском камне, ничем не прикрытый, во всеоружии жизни, творчества и размножения. Причем неизвестно, сколько долгих мигнов протекло до момента, когда животворящая искра благодати соскочила с Его повелевающего перста на встречно протянутую руку пробуждающегося Адама – в точности литургийный акт сей изображен на плафоне Сикстинской капеллы. Наличие рукоделья на рабочем столе и вопросительный взор незримо присутствующего Мастера так убедительно подтверждали предстоящую отставку, что воспламенившийся маршал сил небесных не удержался от встречного вопроса, ведущего к небесному расколу. То была роковая фраза, дошедшая к нам сюда в известном апокрифе Еноха: **«Как мог Ты созданных из огня подчинить созданиям из глины?»**. К сожалению, упрек незаслуженной обиды звучал там слышнее тайного чаяния утраченной близости, что и было воспринято как оскал зубовный, то есть прямая улика признания в измене. Затем послышался сейсмический гул под ногами, как если бы горы раздвигались по сторонам, образуя гигантскую дыру – бездонный мрак, куда, слипаясь на лету и враспынную за миг единый успела рухнуть воздушная громада. Так началась наша ссылка в никем пока не заселенную глушь. Если вначале некоторые с непривычки боялись наткнуться на спрятанное впотьмах коварство, то час спустя все томились надеждой разбиться вчистую о любую впереди прорву физического для бессмертных небытия, куда изгонял Сатанаила свежий даровитый генерал. Такого рода почетный конвой сопровождал нас до переломного момента, ибо последний миллион световых лет мы уже своими силами побыстрее понесли в отведенную нам твердь, чтобы наконец начать обратную карьеру. Кто-то, подобно матросу на мачте Колумбова корабля, искал еще далекую, но уже приближавшуюся твердь и неслышно прошептал деревянными губами: «Земля, Земля», и тотчас остальные, жадно и

поневоле с ходу разбившись о нее, превратились в свою диалектически выраженную противоположность.

По бессмертию нашему ничего не хотелось, кроме вечного усыпления. Я огляделся, прежде чем сомкнуть опаленные веки. Всюду вокруг суетились оплавленные обломки спутников моих, навечно породненных общей бедою, сплюсненные друг о дружку, с порванными сухожилиями или стрелчатым крылом соседа пробитые насквозь. Затем наступила длительная полубеспамятная агония без ее благодетельного финиша. Долголетие библейских праотцев указывает на емкость тогдашнего времени.

Когда же спустя бессчетный срок ужасный свист бездны затих в ушах, в сознание мое пробился умиротворенный мелодичный звук. Капель из трех точных и звучных нот оглашала потемки. Нет ничего целительней для падших, чем музыка воды. Бессонная труженица милосердно бежала сквозь нас, студила, нежила и залечивала наши увечья. Мы стали нехороши собою, и сам Отец не опознал бы в нас тех гордых и светлых, какими были раньше. Отныне любой жест милости или прощения лишь оскорбил бы нашу страшную и сладкую печаль. Мне показалась уютной доставшаяся нам дыра, которая зовется теперь Постоенской **Ямой**, близ Любляны. Раз в год я навещаю это место, чтобы, отбившись от толпы туристов, постучаться к иному из еще не проснувшихся в его полупрозрачный саркофаг...

И хотя Никанор знал истинное происхождение карстовых пещер, он счел необходимым выразить рассказчику сочувствие за все пережитое.

– На вашем месте я написал бы подробную книгу о своей биографии, – тоном наивного восхищения подстегнул Никанор, – чтобы критики не подумали, что все здесь одна лишь игра воображения.

– Да, но все воображаемое является вариантом избегнутой действительности, – с гримасой раздраженья обронил корифей. – Я лежал на спине, и сквозь толщу доломитового склона надо мною зигзагами просматривалась даль пройденного пути. Там, во тьме ночной, сияли звезды, которых не было раньше, ибо никто не нуждался в них – верный признак, что Всевышний придумал качественно новый мир для своих очередных фаворитов.

Внезапно в перекличку капель вплелся незнакомый, снаружи сочившийся звук. То было восклицание детской благодарности изобретателю Вселенной за его трогательное старание обеспечить нынешним любимцам радость существования в ней. Судьба повелела мне стать не только очевидцем, но и участником великой перемены. Ревнивое нетерпенье повидать свою смену на новоселье помогло мне не без некоторой утраты благообразия пробиться на волю из каменной скорлупы. Не в силах встать на ноги после столь продолжительной лежки, я ползком двинулся к единственной теперь цели. И добираясь к ней сквозь скалистые фильеры горных ущелий, настолько по привычке и обточился на их кремнистой щебенке, что к моменту прибытия на место действия среди бесплодных камней Междуречья довольно бойко, уже в облике заправского змия струился в высокой цветущей траве, знаменовавшей близость рая, заповедного оазиса с его первобытным комфортом. Показательно, что никто не задержал меня, когда я кое-как перебирался туда через пограничный ров и безошибочным чутьем отыскал предназначенное мне древо и, дважды охлестнувшись по стволу, вскинулся в развилку сучьев, изготовившись к исполнению возложенной на меня обязанности. Вскоре из-за кулисы непроходных джунглей показалось все наличное, покамест, человечество: рыжий верзила об руку с супругой в первозданной наготе. Будущие хозяева знакомились со своей усадьбой. Их сопровождала приданная им в забаву фауна, похожая на глиняные простонародные игрушки, – те и другие еще со свежими отпечатками пальцев ваятеля на боках, которые покрупнее и менее просохшие – слегка дымились на солнечном припеке. Жирафы держались на заднем плане, чтобы не заслонять от своих собратьев зрелище чудесных диковинок. Все кругом вызывало удивление пополам с испугом, и не было ни одного растения, чтобы под листочком у него не пряталась какая-то нарядная козявка или еще помельче пестрый цветущий пустячок. Кстати, судя

по единому техническому замыслу все твари были черновиками будущего человека в разных фазах работы – от пробы пера на полях мироздания до заключительной модели с интеллектом, рассчитанным максимум на возношение хвалы создателю, избавившему ее от бремени мышления. Причем не слышались среди них ни писк и лай, ни рык или блеянье: в начальной стадии все общались пока на схожем диалекте базарных свистулек, и прав все тот же таинственный Синкелл, оспаривая мнение Иосифа Флавия, будто змий говорил с Евой на человеческом языке.

Дело происходило на полянке вблизи небольшого озерца, и пока мимоходом будущий царь природы залюбовался своим отражением в голубой воде, женщина вдруг направилась ко мне, видимо, привлеченная моим необычным телосложением. На ее вопрос – что поделываю тут? – я назвался местным садовником и, объяснив ей заповедную неприкосновенность охраняемой яблони во избежание запретнейших потом мечтаний, предложил ей проверить, так ли оно в действительности. Наугад сорвав ближайшее и поморщившись, передала надкушенное яблоко супругу, который проглотил оное в один прием, невзирая на кислоту...

Показательно, что рассказом этим Шатаницкий как бы отрекался от своей на шумевшей книги **Разоблаченная космистика**, где он, разоблачая мистику всех времен и народов с гипнотизмом во главе и укрываясь от атеизма, блистательно опровергнул собственное существование как атавистический предрассудок. По всей видимости, потребность поделиться с кем-то воспоминанием о прошлом, хотя бы перед столь малочисленной аудиторией, и роль очевидца, даже участника библейских событий была ему дороже, нежели провинциальная репутация корифея позитивных наук. Причем то и дело сквозившая ирония над самим собою явно служила ему прикрытием неуместной для павшего ангела ностальгической печали, несмотря на постыдное, пусть жалостью диктуемое совращение юной четы праотцов, ибо какая участь навечно ожидала их в джунглях месопотамского эдема, если бы не грехопаденье! Тогда и был произнесен общеизвестный приговор проклятья, обрекавший людей на кочевое скитанье по безбрежной целине без топора, сохи и прялки и дальше в туман зловещей неизвестности, в котором сегодня просматриваются черты финала, чреватого уймой для человечества непоправимых бед.

– В раю, как всегда, полдень и отменная погода, – теперь уже скорее для себя, чем для гостя вспоминал Шатаницкий. – За его околицей нас встретили сумерки и непогода. По безрукости мне стоило немало труда разжечь костер для дрожавших спутников. Та первая, на пограничной канаве проведенная, долгая бездомная ночь породнила нас. В слезах, голее зверя озирались они на пороге бескрайнего мрака, который им предстояло населить духом своим. И мы посильно помогали им освоиться в мироздании, потому что мыслящему нельзя селиться в большом доме, не наполнив его весь собою до краев. И оттого, что люди для нас не просто легкая зыбь вещества на пляшущей занавеске времени, мы не растлевали их, когда, не требуя мольбы и ладана, изъясняли им наивную звездную пиротехнику, рассчитанную на младенческое восхищение дикаря... и вы знаете, какая нас ждала награда!? Пока не сменится оскоминой хмель победы, долгом летописцев почитается на всех памятных документах выкалывать глаза побежденным, которые молчат с кляпом во рту, с мечом в груди. Все годится для их очернения, потому что прошлое выдерживает любую клевету. Чем? Безумием гнева и ненависти благочестия диктовался бытующий в народе образ опального ангела, будто сидящий на престоле крошечной тьмы взимает с приходящих к нему дань в размере одной дохлой мыши.

Прикосновение к огню немыслимо без ожога, и толчком к цивилизации послужило страдание. Подобно тому, как драгоценные камни вызревают в бешеном вскипании вещества, точно так же из сгустков боли выточены наиболее долговечные трагедии, реквиемы, этапные формулы и прочие лакомства ума. Нет у нас лучшей утешы, чем под вечерок, склонясь лицом, созерцать копошение человеческого планктона, как они там в мириады усиков, жгутиков, окровавленных рук осваивают плотную мглу... и как потом, уже бездыханные и простреленные, книжными призраками бегут сквозь века с призывом к неродившимся на шторм мироздания,

чтоб разбиться о манящее зарево впереди... что почти предугадал ваш Матвей Петрович, ради которого и пригласил я вас сегодня.

Все это было до щекотки странно слушать Никанору. Как и многое другое, сказанное здесь походило на попытку Шатаницкого подправить через студента в глазах мировой общест-венности сложившуюся репутацию адского владыки как матерого ненавистника людей ввиду близкого, по обывательской молве, воцарения на троне антихриста.

– У меня имеются сведения, – доверительно продолжал Шатаницкий, – что теми же раз-думьями о грядущем мучается и оригинальный мыслитель нашего времени, вышеупомянутый Лоскутов, почти разгадавший тайну появления людей. Его открытие в корне опровергает как теорию древних – будто органика завелась в настоящее гнилых опилок, так и более позднюю, столь же глубокую – о симпатическом влечении атомов и молекул объединяться в микроскопические организмы с перспективным выходом на трилобит, рыбу, обезьяну, Адама... вплоть до вели-кого вождя, который взялся возглавить скоростной, через голову поколений, переброс челове-чества, и уже без интеллектуальных излишеств, следовательно, без биологического износа, то есть в жизнь бесконечную, чем достигается земное и, как показывают вкрапления всяких бука-шек в кусках миллионного янтаря, гарантированное бессмертие уже не отдельной особи, а всего вида в его стандартном насекомом существовании.

Сложившаяся у вашего Матвея Петровича нынешняя надкосмическая ситуация настолько совпадает с моими опасениями, что возникает необходимость заблаговременно сов-местно обсудить очевидные отсюда роковые последствия для человечества. Вот я и пригласил вас спросить – не возьмете ли на себя... – начал он и оборвал на полупhrазе.

Вдруг из-за портьерки позади у них послышались неприличные звуки: как бывает у неко-торых тучных особ спросонья – сопенье, чавканье и наконец сопровождаемый стеклянным дребезгом грохот упавшего железного предмета. Это заставило хозяина привстать с вопро-сительным ожиданием еще чего-то. Когда же последовало глухое чертыханье на неизвестном диалекте, корифей яростно рванулся в соседнее помещение на шум, жестом наказав студенту оставаться на месте...

За портьерой в стекле книжных шкафов отражалась внутренность комнаты с наро-чито-показным реквизитом классического астролога – внушительный бронзовый глобус ноч-ного неба с нарисованными на нем символами созвездий, непонятной конструкции и неиз-вестно куда нацеленное телескопическое устройство и в золоченой раме, как оказалось, лишь магам известная, иероглифическая монада средневекового монаха Джона Ди и разная мудре-ная мелочь для мистической достоверности фальшака, и наконец, на диване в углу громоз-дилось в лиловато-лоснящемся балахоне до пят вовсе фантастическое существо, кто-то из ближайших сотрудников корифея, приглашенный сюда на расправу. На него-то и устремился хозяин. Однако причиной его раздражения был не валявшийся на полу разбившийся торшер-ный светильник, который страшилище, потянувшись в полудремоте, задело копытом, а упо-мянутый мельком дьякон Аблаев, что позволило студенту разгадать подоплеку происшествия. Мощными пассажами вжимая провинившееся исчадие ада в глубь дивана, он вдруг, не прика-саясь и без повреждения мебели, проткнул его сквозь стенку наружу, и Никанор правильно расценил устроенный для него балаган, хотя бы потому, что падение с тысячектажной высоты и в зимнюю стужу не сулило Минотавру простуды и увечья.

– Ложная тревога... кошка лампу уронила... – как ни в чем не бывало пояснил вернув-шийся к гостю хозяин, искоса следя за выражением его лица – знает ли. – Так на чем мы оста-новились? Да, речь шла о вашем Матвее Петровиче, которому, намекну по секрету, история готовит поистине всемирно-историческую роль. Так вот по единству наших тревожных с ним предчувствий грозного и совсем близкого теперь кризиса мироздания в целом, я и пригласил вас спросить *tete-à-tete* – не возьметесь ли вы ради общевселенского блага устроить наше обо-

юдо-желательное знакомство, поскольку и сам священник весьма интересовался моей персоной?

– Вас не смущает, что нынче по уходе из сана он лишь скромный мастеровой сапожного дела без особой философской подоплеки, – озадаченный таким напором, в чем-то усомнился Никанор.

– О, сегодня подоплека эта у каждого таится на уме. У нас найдется, чем ее к жизни пробудить... Однако обывательская молва навечно омрачила имя мое каверзным ореолом... так что, ввиду вполне возможных протокольных препятствий к нашему общению, выбор места и времени встречи предоставляется на его усмотренье. Передайте ему, что он нашел бы во мне корректного, почтительного собеседника. И разумеется, никакого сабантуя: пища мудрых не та, что в уста, а что исходит из уст оных. Как вы понимаете, при моей служебной загрузке и чтобы не торопиться, меня устроил бы выходной день, лучше всего первомайский праздник... – сказал хозяин и напрасно ждал ответа на свои бессвязные откровения, которые Никанор воспринимал как словесную пасту для заполнения пауз в разговорной речи, особенно когда беседа ведется ни о чем.

Естественно, корифей правильно истолковал ироническую усмешку своего биографа:

– Теперь по старой дружбе, коллега, раскройте смысл загадочной улыбки во всю ширь лица, придающий дополнительный шарм вашему облику, – сквозь зубы прибавил профессор, уставясь в его лоб под нависшей сверху шевелюрой.

В ответ Никанор поблагодарил его кротко за недвусмысленный комплимент. По счастью, аудиенция подошла к концу. К тому часу благоговение неопита сменялось дерзким сомнением в достоверности поначалу пленившей его музейной старины с ее невероятной сохранностью, словно вся изготовлена была накануне. И объяснялось это не столько обычной эфемерностью чудес, образуемых на куда меньшем количестве координат, чем любая реальность, с той небрежной поспешностью, с какой бессмертные создают их муляжи для профанов, способных подметить отсутствие такого наглядного в данном случае сертификата древности как паутина времени.

Между прочим, студент без гарантии успеха обещал наставнику при ближайшей okazji разведать у Матвея Петровича о его согласии побеседовать на главную тему текущей действительности, правда, предприятие одинаково щекотливо для обеих сторон – как для верующего, пусть бывшего священника, так и для выдающегося, партийным доверием облеченного декана в смысле его политической репутации, причем напомнил общеизвестный альянс покойного наркома Луначарского и тогдашнего живоцерковного митрополита Введенского, которые, как утверждает столичная молва, сразу после своих публичных богословских диспутов в Политехнической аудитории чуть не в обнимку и на извозчике устремлялись в ресторацию для продолжения беседы уже в уютной обстановке с умеренным винопитием. Разговор закончился на лестничной площадке, и не успел Никанор уже из лифта произнести для солидности нечто остроумственное напоследок, как дверцы сомкнулись, и кабина бешено помчалась вниз со срамным гулом воды, извергаемой из туалетного бака. На сей раз, видимо, для удобства пассажира выплеснули прямо на улицу, безлюдную теперь: тем временем к сумеркам ясную погоду сменил густой, с ветерком снегопад.

Скоростной полминутный спуск обошелся без дурных последствий, если не считать гадкой тошноты и легкой одури, которая, как всегда у Никанора, уступила место принципиальным раздумьям о случившемся. В частности, зачем понадобилось Шатаницкому приглашать его в поднебесный к себе апартамент, полный всяких трюков и бутафорских диковин с апокалиптическим быком во главе, – вряд ли с целью угостить безобидного парня экзотическим Еноховым мифом о предвечной ссоре небесного начальства возле покамест глиняного первочеловека или еще более несуразным библейским анекдотом о его же, чуть позже и в райском саду, грехопаденье при содействии супруги... И тут по совокупности изложенных обстоятельств пришел

к наиболее правдоподобному выводу, что, возможно, из амбициозных соображений стремясь подправить положенный ему потусторонний, по мере привыкания заметно гаснувший ореол в глазах будущего биографа, корифей решился не только блеснуть, но и малость припугнуть беднягу своим величием в пределах его воображения. Вдруг поддавшись смутному ощущению, будто кто-то из поднебесья, с тысячного этажа, смотрит ему вдогонку, он, суеверно обернувшись, вскинул голову тому навстречу, но как ни всматривался в пестрящую метельную мглу над собою, машинально смахивая талую влагу с лица, так и не усмотрел ничего: ни огня в окне, ни самого зданья, словно сгнуло вчистую, как и следовало ожидать от обычного гипнотического наваждения.

Удобная оказия исполнить порученье выпала уже на следующий вечер после ужина под свежим впечатлением разговора, и почти в том же словесном оформлении, как было выполнено накануне.

– На днях декан нашего факультета, шеф мой, вами очень интересовался, – как бы ненапроком, с недомолвкой обронил Никанор. – Ищет случая познакомиться с вами.

– Да ты очумел, видать! – вскинулся на него батюшка. – Ай не слыхал, кто он на самом деле есть?

– Что касается меня, то я, находясь при нем второй год, никаких наличных рогов или хвоста не замечал. Это все слухи обывательские, Матвей Петрович, суеверье одно.

– Так это бесовские регалии у мелкой нечисти бывают, а бывалошные министры при себе не имели полицейскую пашку, которая низшим чинам полагалась для постоянного ношения и в народе селедкой именовалась.

– Неужели вы в мыслях допускаете, чтобы советская власть доверила воспитание молодежи выходцу из преисподни?..

– Так почему не опровергает клевету такую?

– Ему лестно и, видимо, на этой основе рвется к высшему академическому званию. Да чем ее, такую репутацию, опровергнуть? Нынче категория нечистый дух – такая же редкость, как гений – понятие социально-оскорбительное для большинства. Вроде объявишь публично: извините, товарищи, я не гений. А тебе посмеются в глаза – отколь ты возомнил такое. Мы и не думали на тебя, голубчик, что ты гений. Вот и получается двойной конфуз, Матвей Петрович! Кстати, очень высоко он о вас отзывается, как о мыслителе нашего времени...

– Да зачем же я ему вдруг понадобился? – испугавшись подобного сходства, смущенно пожался поп.

– А чтоб совместно обсудить одну сверхидейку, которая в самом зародыше пока.

– Эго какую еще там сверхидейку, он не приоткрыл? – глубже увязая в западне, уже вполсилы сопротивлялся батюшка.

– А ту самую, что у вас на уме и которую во избежанье огласки он подтвердит вам наедине. Намекнул только, что ввиду секретности и не откладывая в долгий ящик, учинит ваше с ним свиданье Первого мая, когда все сыскное вниманье наблюдателей будет отвлечено в праздничную сторону. Кстати, крупнейшие праведники древности не гнушались вступать в философские поединки с бесами для посрамления оных в их гадком существе. Ну и каково будет ваше решение?

– Вот уж не знаю, не знаю, щекотно как-то... – оглаживая себе колени, растерянно бормотал Матвей, и уже соглашаясь принять у себя на дому исконного, по апостолу, врага рода человеческого, то есть совершить даже и для бывшего иерея чудовищный акт, тем не менее обязательный, если толковать его в духе высшего пастырского служения. В зловещем нарастании общественных потрясений под прикрытием пресловутой исторической необходимости явно ощущалась чья-то тайная могущественная воля.

## Глава XII

Итак, Никанору Шамину еще и раньше знакомы были эти фантастические, мнимоученые при безупречно-энциклопедической точности импровизации пресловутого корифея, вероятно, тем в особенности и пленительные для мыслящей аудитории, что большинство сообщаемых там сведений относилось к разряду бесполезных, то есть необязательных ныне, а то и вовсе запрещенных знаний. Но если поначалу слушатель чуть ли не каждую фразу лектора встречал вздохом благодарного восхищения за блистательные порою фокусы ума, то уже через полчаса – россыпи пестрых фактов и словесных побрякушек, всегда с оттенком базарного фиглярства и сардоническим подергиваньем губ и глаз – это чередование обманных ходов и логических зигзагов начинало действовать, как и всякая качка, погружавшая в гипнотическое оцепенение с некоторыми физиологическими позывами, обычными и при отравлении ложью. Но Шатаницкий обладал опасным даром фанатиков черпать свои доводы из наиболее вразумительных возражений противника, и лучше было молчать с ним, тем более что только непротивлением ненависти можно довести до саморазоблачения всякую размахавшуюся шарлатанщину. Однако что-то бесконечно древнее, полузабытое людьми, хотя и таилось в основе всех вещей, все сильнее слышалось тогда Никанору в этих своеобразных мистериях, пока из адского, в меловой маске, альбиноса не проступал высокий согбенный и в самой ужасности своей чем-то благообразный старец, ищущий утешения от незаживляемых, потому что непрощенных скорбей в уродливой и беспощадной шутке. Отсюда и рождалось у студента полусочувственное любопытство к его неведомой провинности, покаранной тем самым, что во всех космогониях должно было бы выражать торжество победителей и горе побежденным: бессмертием и мудростью. А там уж не более шажка оставалось до полного оправдания Зла, чего собственно и добивался Шатаницкий... И так как всякий раз потом требовалось по-собачьи сделать содроганье кожи, чтобы отряхнуться от его нечистого очарования, Никанор заранее изготовился к сопротивлению.

– Как видно, застигшее вас врасплох явление ангела вынуждает меня вкратце, с глазу на глаз, посвятить вас в некоторые предосудительные знания, – сказал Шатаницкий.

– Речь пойдет, милейший Шамин, о стоиленном древнем океане, омывающем крохотный островок человеческого сознания с самого его выхода на солнечный свет из пучины. Умственная навигация, хотя постоянно и расширявшая свои лоции, тем не менее всегда зависела от не склонных к шутке, на охрану веры приставленных персон, чьи фантазия и одаренность не простирались дальше уставного догмата и здравого смысла, этого излюбленного компаса посредственности, тогда как конечные истины бытия, не для огласки открою вам, милейший Никанор, начертаны на языке безумия... Наше сожаление прежде всего относится к данной стране, где любая идея в еще большей степени, нежели ее сезонно-укороченное земледелие, в условиях беспощадной континентальности вынуждена бывала вести проповедь с расстегнутой кобурой для сокращения сроков. А то, пока убедишь иного упряма, глядь и снежок во дворе, а там и до ледника недалеко: все возможно в бескрайних просторах России. Еще неизвестно – басурманской ли трехсотлетней неволей или климатической невозможностью в одно поколение достичь **гор златых** питается пресловутая, со столь жесткой изнанкой, национальная русская грустинка! Сверх того всем великим доктринам, как и мощным владыкам, свойственно посередине пира с ужасом читать огненные письма на стене и помышлять о неизбежном дряхлении впереди, и тогда под видом отеческой заботы о потомках, как бы во имя сбережения их от заблуждений, они стремятся предписать им свой уклад жизни и тем продлить **себя** в веках посредством заблаговременного истребления всех потенциальных очагов инакомыслия. Так и здешний материализм руководится предпосылкой, что после успешной разгадки некоторых школьных тайн природы ему наперед известен ход вещей и принципиальный механизм прочих стихийных частностей, по нерадивости ученых затаившихся кое-где по щелям **от разоблаче-**

**нья.** Человеку на всех стадиях его развития, хотя и в обрез, хватало наличных знаний для объяснения всего на свете... Икающий над только что обглоданной костью косматый предок тоже полагал, что достаточно глубоко освоил окружающую действительность. Но, согласитесь, было бы до крайности противно, если бы все тайны сущего отпирались одним ключом, хранящимся в заднем кармане брюк у текущего, так сказать, мыслителя... не так ли?

Не странно ли, что мы соглашаемся допустить нечто мыслящее инакоущее лишь при условии абсолютного, вплоть до химического, подобия себе... Хотя вместо предписания неведомым мирам своих законов, было бы логичнее выводить последние из взаимодействия их собственных составляющих элементов. Признавая юридически душу во многих гадких, вполне бесполезных человеческих тварях, утверждающий свое бытие ежесекундной гибелью младших и слабейших, род людской, по вполне понятным мотивам морального удобства, отказывает в ней могучим и гордым деревьям или прекрасным, но съедобным животным, хотя бы в пределах разумной траты без истребления. Но почему же, почему, квартируя на такой до банальности ничтожной пылинке, люди не считают пылающие вселенские объекты достойными для местопребывания иной, сознательной жизни? Если обособленная капля остывшего и усталого земного вещества, шлак многократных перегонок по тиглям и фильтрам, на полпути к температурному покою смогла наделить своих питомцев способностью самостоятельного движения, чувства и обмена со средой, то легко представить возможности молодой и в бешенстве своем необузданной звезды... Тут-то и вступает в действие главная, животворящая химия свободной диссоциированной материи. Достопочтенный сэр Вильям Гершель, путешественник по ночному небу и родоначальник звездной астрономии, открыватель Урана и строитель галактической модели, проложивший штурманскую лоцию солнечной системы к созвездию Геркулеса, и прочая и прочая... видимо, по несовместной с титулами склонности к музыке даже подозревал существование жителей на солнце. И, может быть, кому-то **там** термоядерный зной всего лишь расчудесная погода, и в этот самый, тысячелетье длящийся миг где-то там, **внутри**, на раскаленных отменях нежатся рыже-пламенные, а то и вовсе иррациональные черные левиафаны, потому недоступные для телескопического наблюдения, что во избежание простуды не высовываются наружу... В самом деле, что вам известно, студент Шамин, о состоянии материи перед началом и в конце ее далеко неравномерного пробега? Вы все, как дети, тешитесь вашей мнимой властью над материей, которая, притворись послушной, правит нами по собственному произволу. Что всего обиднее, мы для нее как бы пустое место, потому что ровным счетом ничего не прибавляется при нашем появлении на свет, ничего не убавляется по уходе. Возможно, она даже не испытывает законной гордости, что в одной из ее случайнейших проекций образовался великий кормчий, который не покладая рук ведет нас от победы к победе. Нет, нет, я не совращаю вас в какой-либо возмутительный уклон или, еще хуже, в либеральную философскую секту, насчет чего неустанно предостерегает нас выдающийся соратник великого вождя по эпохе, чей юбилей собираются дружно отметить труженики мира...

– Товарищ Скудное... – как бы вырвалось из груди Никанора Шамина.

Наставник физически ощутило поласкал его глазами с головы до пят, также в обратном направлении:

– Рад за вас, что вы предугадали имя, которое я с благоговением хотел произнести... Еще меньше грозит вам сеанс популярной фантастики на тему о кремнево-силикатных переселенцах с иных галактик, мне хотелось бы заронить в вас искорку сомнения, с которого начинается критическая зрелость ума. Словом, мы с вами займемся рассмотрением одного из допустимых вариантов бессмертной концепции о бесконечности миров... было бы банально видеть здесь указание всего лишь на обилие планет. Вероятней всего, предполагаются вселенные ядерных недр, полноправные реальности, нанизанные на сквозную и замкнутую... впрочем, не совсем замкнутую магистраль, так как единственно мыслимая бесконечность есть неограниченных размеров кольцо. И кто знает: нырнув в серединку атома, не вынырнем ли мы где-нибудь в окрест-

ностях Андромеды? Если представить себе чертеж сущего в простейшем инженерном начертании, то весьма возможно – все они, атом и туманности, окажутся равными по величине. А обманчивое впечатление их разновеликости не есть ли явление чисто перспективное, причем с довольно крутым углом сбега, не так ли? Попробуйте года полтора по часу в день смотреть в обратную сторону бинокля, потом расскажите мне, что получится. Если средневековые схоласты вели такого рода рассуждения об ангелах, сегодня тот же вопрос ставится о вселенных: сколько их умещается на острие иглы? Сместите запятую туда-сюда на полтора десятка знаков в привычных вам размерностях, и вы заблудитесь в лабиринте математической мистики. Вдруг окажется, к примеру, что в наблюдаемом объеме напихана уйма независимых, ни в чем меж собой не схожих, но как бы встроенных друг в дружку сфер обитания: целый сверхкоммунальный дом с бесчисленными жильцами, одновременно выполняющими одно и то же, в сущности, **единое** в смысле материального механизма, тем не менее абсолютно разное, каждое само по себе многоликое деяние. Большое благо для нас с вами, что из-за надежной изоляции мы избавлены от жуткого зрелища, как они там в данную минуту дружно скребут, пилят, точат что-то, творят себе подобных или осуществляют головокружительные подвиги... Хотя, согласитесь, до зуда завлекательно было бы заглянуть через щелку, **как и чем** обозначается с той стороны, **с изнанки**, совершающийся здесь физический акт любви или смерти?.. Кстати, не меньшей конструктивной удачей надо считать и непроницаемость междуэтажных перекрытий для нынешних фанатических реформаторов, в конечном счете и с такой убийственной решимостью стремящихся в наиболее опасной социальной энтропии через благоустройство всего живого по обязательному образцу не выше их собственного уровня. – Но здесь, как бы устранись сказанного, особенно на фоне происходивших тогда казней, Шатаницкий кинул на ученика оценивающий взор сомнения – можно ли, стоит ли вводить его в черту последнего и главного впереди, магического круга. – Сейчас вам предстоит услышать странные вещи, Шамин. Признаться, я с самого начала был далек от надежды, что ваш пытливый ум удовлетворится хоть одним из моих домыслов, к сожалению, питаемых скорее интуицией поиска, чем уверенностью находки. Протяните руку, мой волосатый несравненный Дант!.. На наших глазах строка за строкой, все более краткой и емкой, вычерчивается некая треугольная схема, и, собственно, занятия величайших мудрецов сводились к поиску путей на вершину созерцаемой нами иерархической пирамиды для достижения сущности существующего над сущим существа, без чего нельзя ни истолковать, ни примирить терзающие нас противоречия. Беглый обзор философии со множеством взаимно опровергающих заключений объясняется, по видимому, разнообразием применяемых ею средств в диапазоне от кофейной гущи до сосания пальца. Отсюда не более разумнее ли, милый Шамин, для выяснения истины воспользоваться открывшейся вам лазейкой непосредственно в один из верхних рядов помянутой пирамиды с его своеобразным населением, известным нам под названием **ангелы**. Здесь-то и начинается несколько предосудительное для нас с вами знание, почти **чепуховина**, тем не менее имеющая свою историю, некогда составлявшую чуть ли не отдельную дисциплину богословских факультетов и лишь на соответственном этапе умственного развития, где-то между велосипедом и электрическим звонком, надежно похороненную в свалочной яме вместе со всякими флогистонами... Я сам кинул туда же не одну полновесную горсть при погребенье. С тех пор дело как будто быльем поросло, но именно такие заброшенные курганы, рудные или шлаковые отвалы нередко оказывались хранилищем кладов или ценнейших элементов, не известных древним. Все это вовсе не означает защиту отжившего старья, напротив, в нынешнюю пору напряженной политехнизации единственным способом обеспечить хотя бы временно благополучие человеческого множества будет чистка гуманитарно отвлеченных наук с их белыми, нерабочими руками. Юридически расплывчатые моральные заповеди, еще не сменившие жреческих тог и риз на современную партикулярную одежду, успешно вытесняются жесткими параграфами коммунального общежития с реалистической профилактикой преступления без

расчета на суд потусторонний. Современному обществу при его нынешних катастрофических скоростях просто некогда ждать, пока сработает охранительное реле чьей-то совести или даже небесного промысла... Конечно, мы отрицаем ангелов в церковном смысле. Однако по условиям нынешней диспозиции идей у нас нет права пренебрегать той помощью, какую они в надвигающейся схватке могли бы оказать нам хотя бы способностью проникать в любую из соприкасающихся с нами сфер. В вашей молчаливости, сопровождаемой характерным хрустом челюстей, мне слышится благородная борьба противоречивых чувств... Но, подумайте, милейший Шамин, можно ли держать нынешнее философское хозяйство на уровне самодельного колхозного атеизма с поношением попов за толстые животы, с ковырянием мошей? Так можно и проиграть: именно наиболее осмеянные заблуждения любят взрываться под ногами у самонадеянных хвастунов. Неминуемое, уже завтрашнее не должно застать нас врасплох, а самые грозные неопределенные предчувствия все чаще вдохновляют буржуазных лжепророков приподымать, как любят выражаться стилисты, **завесу грядущего** по части прогнозов нашей **якобы** непоправимо склеротичной, насквозь изолгавшейся цивилизации с ее **якобы** нигилистическим гуманизмом, где **якобы** на одном полюсе процветает комфорт для бесчестных и расслабленных, на другом же, хрен редьки не слаще, развивается не менее опасный для прогресса в смысле разрушительной социальной энтропии культ слабейших. Мы с вами никому не позволим заstraщать себя столь примитивной клеветой на исторический процесс, как раз и заключающийся в нормальном чередовании приливов и отливов, в смене уровней и состояний, как учит нас все тот же товарищ Скуднов... не так ли? Напротив, когда потребуется, **в случае чего**, мы с вами смело совершим бросок хоть в самое пекло, не щадя амуниции и не уклоняясь от ожогов. Да, с вашего позволения, я даже первым кинусь, если уступите очередь из уважения к утратившему тонус жизни, одинокому старику. Кажется, Надсон написал чудные строки – как хорошо вспыхнуть мотыльком в пламени свечи – и всё!.. Да и передовая современная поэзия неспроста, нередко в ущерб музыкальности, рифмует **пламя с подвигом**. Нет, мы не попятимся, когда труба призовет нас к делу. И, если храбрые здешние воики перед боем надевали чистые рубахи, чтобы на тот свет явиться в опрятном виде, отчего бы и нам с вами не воспользоваться ценным опытом, когда по ходу действия и нам придется предстать перед тем, кого впредь для удобства и предосторожности ради будем называть просто **Главным?** Мировые религии в голос требуют от смертных полной отрешенности от всего земного, лишнего на таких аудиенциях, и, судя по портретам некоторых пустынножителей, небесным протоколом допускалась явка **туда** не только босиком и во власяниках сирийско-фиваидского типа, но для лучшей прозрачности на просвет, просто **безо всего**, чтобы перед Ним ни за что не было стыдно: нагота – праздничная одежда аскетизма! Вот для высшей-то очистки мы и применим всеисцеляющее пламя в массовом масштабе... Нет, не в смысле ритуальных скаканий через всякие там иван-купальные огнища, а в натуральнейшем его жгучем приложении, потому что истинное содержание процедуры не в мысленном отрешении от греховных помыслов, нравственной грязи, или в символическом сожжении мостов назад, к блаженному и покидаемому прозябанью, а в том, чтобы физически раздеться, то есть скинуть с плененной мечты груду рыжей первородной глины, этот мешающий взмаху крыльев горб падали за спиной... Другими словами, на себе самом спалить ветхую свою, всякой нечистью населенную шкуру: **тело**. К тому же столько праведников сгорело на работе и в кострах, что и нам с вами сжечься за передовую идейку да в хорошей компании самое удовольствие, не так ли?.. Этаким факелком вместо кроткой церковной свечки, ибо не в рабском трепете молитвы, а в гордом штурмовом исступлении, так что и боли не почувствуешь. Вы, Шамин, кстати, слов-то не бойтесь: самыми страшными из них нередко обозначаются вещи наиболее скоротечные. Тут для нас с вами самое важное горелым смрадом в шесть миллиардов туш в лик ему шарахнуть... И так как небесный огонек последует, наверно, еще в предполье, сразу после нашего, во всечелове-

ческом составе, выхода на генеральную позицию, то дело обойдется без излишней трепки нервов, в конце-то концов – и бесполезной атаки...

Последнюю фразу Шатаницкий выпалил на такой зловещей скороговорке, что Никанор так весь и подался к нему с видом растерянного недоумения.

– Это кого же вы атаковать собираетесь, учитель?

– То есть как это **кого?**... Его же и атаковать, **Главного**, – не на шутку осерчал было Шатаницкий. – Ведь вот память какая стала: центральное-то обстоятельство в моей лекции я и упустил вам сообщить... Да и в диалектическом разрезе самое щекотливое, пожалуй. Воспримите наступивший момент как посвящение в сокровенную и жгучую тайну. Вам на достигнутой ступени необходимо знать, что материалистическая диалектика приобретает высшее свое назначение в духовном бытии человека, прежде всего в практике воинствующего безбожия. Практический повседневный **атеизм**, как он называет себя для прикрытия своей сущности, правильно видит свою цель в разрушении веры у малоразвитых тружеников, то есть большинства, под предлогом охраны их карманов и душ от нередкого церковного вымогательства жертвенных приношений, в особенности же их внутренних сокровищ. Между тем, подобно пчелиному меду являясь окончательным продуктом всей человеческой деятельности, именно данный товар служит единственным оправданием этого нелепейшего вертящегося мрака, где круженьем гигантских маховиков обеспечивается разбег к органической жизни, венчаемой на крайнем своем этапе человеческой мыслью. Само собою разумеется, высший атеизм, полагающий себя в вольном полете духа, не может удовлетвориться тактикой планомерного государственного кощунства со взрывчаткой для храмов и философской матерщиной в адрес недосягаемых там, вверху, ему не менее противны подлая аргументация в виде револьверного нажима.

В конце концов воинствующее невежество, подавляющее любую мысль, есть низшая степень скотства, пригодная только для хлорной ямы или клееварки.

Да он и не отрицает очевидных, покамест лишь немногим внятных иррациональных истин, подлежащих научному открытию на протяжении ближайших каких-нибудь полутора веков. И если действительно, как сказал один, вроде вас, самодеятельный мудрец, будто разум открывает только то, что душа уже знает, то это будет ратификация здравым смыслом древних прозрений, сделанных при вспышке молнии... Словом, дело у них там почти на мази, и, конечно, всехитрейшее ватиканство снова обскачет своих нерадивых малообразованных сестер, восточные церкви, поднеся **Главному** на золотом блюде догмата наиболее лестный ему эпитет – **математически сущий**... Здешние-то долгогривые вряд ли первыми догадаются. Таким образом, наш интеллектуальный атеизм отвергает лишь юридический статус верховного существа как монопольного производителя света, чем и раскрывает смысл термина как небесного **бесцарствия**. Мы потому и освобождаем общество от непроизводительных трат на воск и слезы с переносом их на умственное вооружение человечества для заключительного своего деяния. Нет, Шамин, нам мало одного безверия, едва ли причиняющего **Главному** хотя бы в блошиной степени зуд, чтобы почесаться. Мы должны разрушить его сомнительную и беспринципную империю, где благополучие богатых прикрывается милосердием к бедным с юридической отдачей первых на резню последним для временного братства и равновесия. Вам надо привыкнуть к положению, что наравне с верой рабского ползучего преклонения вполне правомерна другая неистовая вера непреклонной вражды. Сестрам еще не приходилось вступать в открытое противоборство, но каждому ясно, что младшая – вера зрелости – состоит в более жестоком антагонизме с наивной и всесильной верой детства, чем самый атеизм. Всегда бывало, что как только сезонно опустошенная нива человеческой души становилась пригодной для очередного засева, старшая бесконкурентно поселялась на ней под предлогом всеобщего обновления, движимая тем спасительным инстинктом страха и надежды, что автоматически включается на краю бездны – на выручку растерявшемуся разуму. Есть основания ожидать,

что подстегнутая несчастьями все возрастающей людской численности вера эта ворвется в мир уже на протяжении ближайшего века и, уж наверное, не ограничится одним пуском огонька по старой зараженной стерне. К тому времени подспеют средства универсального разрушения, когда будут взрываться лунный свет и любовный вздох, насущный хлеб и детская кукла. Наше с вами дело и будет заключаться в том, чтобы в суматохе всеобщего отчаянья через нагромождение бедствий подменить старшую сестру – другой... Другими словами, через ужас и отвращение к бессильному или бесстрастному, но только **обманувшему** небу возбудить интерес к противоположному лагерю... собственно то же самое, только наоборот!

– Приблизительно то же самое, что делается сейчас с отцом Матвеем? – тихо переспросил Никанор.

Несколько мгновений Шатаницкий глядел на студента тускло-незрячим глазом:

– Видите ли, уважаемый мсье Шамин, – отдельно и сухо сказал он наконец, – как правило, в больших революциях выдающиеся дураки отличаются от умников своим долголетием... и потому в таком бешеном потоке, стремящемся к своему диалектическому перепаду, не рекомендуется поднимать одиночный парус ума. Не надо приписывать хотя бы и печальную закономерность чьим-то злонамеренным козням. Нет, нам ничего не надо, кроме утверждения некоторых назревших демократических прав, без чего отмирает мышление. И не подумайте, что в безумной резвости святотатства мы руку подымаем на того, чье имя, как видите, я даже не смею произнести, напротив, тотчас после победы, в признание его опыта, проектируется возврат его на прежнее место с единственно достойным в наше время и, что важнее всего, безопасным титулом. В сущности я давно хотел посоветоваться с вами, Шамин: не много ли в этом смысле надежд возлагаем мы на так называемых активистов безбожия? Беда в том, что атеизм без высшей культуры есть вульгарнейший, с финкой за пазухой, уличный нигилизм, под конец убивающий самих подстрекателей и наставников. Практикуемый как полное безразличие к вопросам духа среди утех телесных, он дается молодежи гораздо легче веры, хотя полагалось бы наоборот, не так ли?... И потому действителен до первой огненной розги, по слухам, иногда применяемой провидением в отношении нашаливших ребят. В самом деле, зачем портить здоровье по поводу того, чего нет? Поэтому и у старших, если вдуматься, их слишком шумливое безбожие работает как гигантский тамтам под окном у **Главного**, чтобы – раз уж ни свечи и каждения, ни молитвенный лепет не действуют, выглянул бы хоть на брань и поношение, пускай, даже в образе испепеляющих молний и хоть бы казнь насытил это, самое древнее из всех алканий на земле. А отсюда все это до дервишества иступленное отрицание не есть ли проявление самовысшей веры, которая в случае безответственности автоматически превращается в свою вторую, уже помянутую ипостась с оттенком мести за отверженность? А ну-ка, признаемся ради самокритики, Шамин, на примере ваших соотечественников, неподкупных гордецов и апостолов знаменитой идеи, которые так усердно и вперебой льнут щекой к голенищам кавказского происхождения... А что, если **Главному** на небесах по неисповедимым его глубинам, как треплются проповедники, якобы мудрости своей да вдруг восхочется пригласить помянутых товарищей в титулярные к себе полсоветники. Все ведь так и ринутся, самые номенклатурные сломя голову, с прытью магнитных опилок к стопам его... не затем даже, что испросить назревшие наконец поправки к очевиднейшим уже несовершенствам людской природы, тем более – к законам ею управляющим, не лекарства для особо страждущих малюток или там снижения цен на продукты, а просто так, лишь бы согреть в его палящем зное закоханные, скрюченные свои кочерыжки сердец. Вот и скажите начистоту, Шамин, не рискуем ли мы остаться без войска в решающий момент, когда вслед за разрушением капитализма наступит очередь последней цитадели угнетения во имя царства свободы для всех оскорбленных и униженных? Годятся ли они, здешние, штурмовать неприступные твердыни, защищенные безднами глубиной в мириады световых лет? Атакуя храмы, мы атакуем небо, и оттого для передовых мыслителей всегда так аксиоматичен был смысл древней нашей, начи-

ная с Икара, тяги вверх. Да в свете намеченной задачи представляется просто преступным в скептическом ослеплении ума отречься от таких потенциальных союзников, как прозревшие ангелы, кстати, расквартированные где-то поблизости от резиденции **Главного**. Прикиньте на глазок, каких делишек может наворочать дивизия молодцов, подобных давешнему – из Корана, помимо собственного оснащенная предельным, уже зреющим в лабораториях могуществом. Педантам и белоручкам от материализма подобные рассуждения покажутся блудом ума, и только один человек современности понимает, что в предстоящей драке все годится стать инструментом победы. Итак, содрогаясь от ужаса и отвращения, смело запускайте руку в подставленный вам черный ящик... Такому закаленному бойцу, как вы, не к лицу страшиться измены и преступления: люди оценят ваш подвиг. Обладающее необъятным историческим опытом христианство в особенности ценит блудных сынов, познавших восторг отступничества и скорбь раскаяния: словивший спину вторично не оступится. Наше дело – планомерно устанавливать личные контакты, идти на интимное сближение, учреждать общества дружбы с прогрессивным небом... Несмотря на свою загрузку, я бы охотно возглавил подобную организацию. Впоследствии, когда немножко втянетесь, вам самому понравятся довольно причудливые иногда, на данном поприще, забавки под видом братства и участия. Я спрашиваю вас в упор, товарищ Шамин: что вашему поколению известно о так называемых ангелах?

– Что можно знать о несуществующем, которое всегда лишь зеркало, где каждый видит самого себя? – сокрушенно откликнулся Никанор.

По всей видимости, то была цитата из разоблачительной книги самого Шатаницкого, но почему-то автор выразил скорее раздражение, чем удовольствие, не то что поморщился, но как-то позыбился весь:

– Ну, зачем же, друг мой, впадать в такой беспросветный пессимистический агностицизм! Конечно, досадная нехватка основного экспериментального материала мешает ангеловедению пробиться в семью академически признанных наук... Все же из богословских комментариев и апокрифических сказаний, из **отреченной** литературы вообще можно почерпнуть немало любопытного на нашу тему, а у Дионисия Ареопагита даже приводится обстоятельная иерархическая классификация ангелов, так сказать **табель о рангах**, к прискорбию по схоластической архаике своей непригодная для практического использования в современных условиях. Для нас-то, убежденных материалистов, гораздо важнее, что в большинстве первоисточники утвердительно отзываются о вещественной реальности ангелов. Нас не должно смущать скудное на первый взгляд однообразие сохранившихся письменных документов: много ли рассмотришь в мире невидимом сквозь толщу монастырской стены? Тем более не пренебрегайте древними свалками памяти простонародной: сколько раз заведомые бредни оказывались золотыми россыпями для пытливого искателя! В частности, Платон из всего небесного сословия только **Главного** почитал бесплотным. В противном случае, логично рассуждал философ, чем бы испытывал **он** радость или боль и где умещалось бы **его** сознание? Если в раннем христианстве и возникали разногласия насчет физической природы ангелов, то начиная с Оригена, не без основания критикуемого кое за что св. Иеронимом, как и Тертуллиана, стяжавшего гневные упреки блаженного Августина, церковная теория все настоятельней склоняется к полной их материальности, которую к слову, Иоанн Фессалонийский при поддержке собратьев по епископству на Седьмом вселенском Соборе выставил признаком кровного их родства с демонами. Вас не должно смущать упоминание об этом коварном, по слухам, но куда более просвещенном племени, которого каббалистическое предание как раз и производит из семьи провинившихся ранее и поверженных ангелов. Византиец Михаил Пселл, пользовавшийся трудами бывалого грека Марка, приводит известие об одном **таком** знатном, потустороннем господине, бегло изъяснявшемся по-финикийски, а подобное свидетельство о способности к иностранным языкам позволяет надеяться, в случае особой нужды, на установление непосредственного контакта с ними для самых широких трудовых контингентов, не так

ли? Между прочим, св. Иустин в доказательство телесности ангелов ссылается на их фривольные, но, видимо, достаточно успешные похождения с дочерьми человеческими, и, конечно, это очень мило со стороны сердобольных девушек, оказавших внимание и ласку пропадающим на чужбине молодцам, кстати, и недаром. По свидетельству ряда неканонических книг под общим названием **Псевдо-Еноха**, подтвержденному Иосифом Флавием, от того стихийного, так сказать с налету, брачного сожительства даже народились исполины, ставшие родоначальниками полезных ремесел – гончарного, кузнечного, мореходного и других, этой основы малой цивилизации, поднявшей с интеллектуальных четверенок род людской, а заодно и менее насущных, но доныне процветающих искусств, например – волхвовать, слагать песни, красить брови и щеки, убивать плод в материнской утробе – видимо, по разряду бытовой медицины. Вероятно, в полюбовном угаре выболтали засекреченные сведения своим красоткам на ушко, что также позволяет нам обогатить нашу будущую, в отношении их вербовочную тактику испытанными средствами обольщения и последующего шантажа... Климент Александрийский столь же откровенно повествует о такого рода ангельских похождениях, когда, нельзя не согласиться с Декартом, без тела никак не обойтись. Отцы инквизиторы во всем прелюбодейном спектре разработали казусы демонского сближения с людьми, и у брата Бодинуса можно найти ценнейшие в этом разрезе варианты и технологические подробности, особенно по части сверхухищренного **инкубата и суккубата...** Охотно дал бы почитать на ночь, кабы в порядке охранения юных мозгов от натуги не освободили нашу молодежь от ненавистной латыни! Вы видите теперь, до какого гадкого мракобесия упало пропитанное махровой мистикой феодальное англоведение лишь потому, что занятые открытием Америки, недалёковидные предки передоверили церковному старичью эту ответственнейшую отрасль знаний, которая потому лишь и преследуется у нас наравне с развращением малюток. Средневековые процессуальные кодексы против ведьмовства выдают старческую зависть их авторов к ангелам, которые представляются им бравыми ребятами с феноменальными способностями... И все же смертное воображение бессильно представить крайности ангельского грехопадения. Дети горних миров не меньше младших братцев, ангелочков земных, падки на самые дешевые леденцы: чем вульгарнее – тем слаще. Небесная принадлежность не освобождает ничто земное от уплаты дани за бытие, подобно командировочным дипломатического ранга, они, оставшись без надзора, мгновенно постигают вкус и науку простонародных утех. Их строго и судить нельзя: тысячелетиями, из века в век, тянуть в унисон гимны хвалений, отмерять дни тварям на лабазе времени, выдирать присохлые души из старых или пересчитывать волоски в мусорной бороде анахорета, благо ни один не должен выпасть без соизволения **Главного...** поневоле взбесишься! Тем легче представить поведение полного нерастраченных сил крылатого юнца при встрече с таким танцующим букетом огнеглазых канашек!... Но, значит, любовная ода и покаянный псалом – из одной и той же чернильницы! И тут уместно вспомнить, как величайшие художники чуждались чрезмерных, по крайности, плотских восторгов, надо думать, губительных для всей категории существ, в деятельности своей причастных к так называемому **небесному** вдохновенью, тем более для ангелов с их относительно хрупким, хоть и супернатуральным могуществом, в особенности с непривычки, они скоро вянут и вязнут в земной, несоизмеримо плотнейшей среде, технически говоря, обрастают ракушками и теряют навигационные качества... Постигаете ли вы теперь, мой первобытный отрок, какой арсенал вербовочных средств находится в ваших руках по одной лишь прелюбодейной отрасли – от нормального альковного обольщения с последующим шантажом и до пропитки этой пахучей грязью с компрометацией в глазах начальства!

Милейший Шамин, я рассчитываю на вас. Приблизьте к себе такого неукротенного гиганта и обольстите как бы в поиске покровительства, чтобы, растворившись в нем, всосавшись в кровь его и мысли, вдохновить затем на какое-нибудь экстраординарное прометейство, разумеется, украдкой для своего алиби и уведомив о том противную сторону. Узнайте карты

тылов противника, схемы его коммуникаций, сведения о численности и диспозиции небесных гарнизонов.

– Боюсь, дорогой учитель, что вы переоцениваете мои возможности. Какой из меня, в самом деле, обольститель? Держать вас в курсе всех приключений какого-либо пришельца у нас, в старо-федосеевском захолустье, по мере того как буду узнавать о них сам, я могу, а от прочего увольте.

– Что ж, любезный Шамин, вы понимаете, какую картой играете и во что, – с оттенком какой-то даже грусти произнес корифей, и с этих слов и началось уже явное охлаждение между чертом и младенцем.

## Глава XIII

Хотя документы у ангела Дымкова выглядели вполне исправно, с первых же его шагов стало ясно, что при его скудных знаниях о мире, куда вступил, он может подобно метеору запросто сгореть в непривычно уплотненной бытовой среде. Из боязни разоблачения, грозившего уймой бедствий, Дуня настрого запретила ему пользоваться своим почти абсолютным могуществом. И оттого все хлопоты по дымковскому жизнеустройству легли на одни ее плечи; и то, отправляясь в Охупково, попросить у его квартирной хозяйки снисходительного внимания к двоюродному брату, утратившему душевное равновесие в затянувшейся заполярной командировке, всякий раз с удивлением – как легко давалась ей ложь!.. – то на скамейке близ катка, сама ни слова не разумея, с отчаяньем поясняла, как могла, великое открытие вождя под названием **второй экономический закон** Сталина, – хотя в сущности его никто не понимал толком, название его могло послужить для Дымкова уликой иного, подозрительного подданства. Из-за навалившихся забот Дуне пришлось пренебрегать учебными занятиями, чего еле терпимой дочке лишения никак не полагалось. Когда в конце первой же недели истощились скудные сбережения от завтраков и трамвайных поездок, окончательно выявилась непосильность материнской опеки над взрослым, временами своенравным существом, как-то не умецвавшимся в Дунином сознании. Она просто робела при нем, потому что с переходом ангела в зримую фазу им все чаще говорить бывало не о чем, выручало лишь присутствие Никанора, занявшего при подружке место советника, равноправного собеседника и, конечно, банкира.

К чести его, при вполне оправданной неприязни, он никогда не унился до мести своему обидчику – все более осуществимой по мере сгорания последнего в земной атмосфере; чем беззащитней делался тот, тем убедительней в глазах Никанора выглядело дымковское ангельство.

Впрочем, пока имелось что осматривать в столице, ничто не грозило скорой разлукой, ослабление истончившихся связей Дуня ощутила при посещении зоопарка, предпоследнего объекта в ее списке. Искоса следила за Дымковым, как с видом недоверчивого содроганья и молча обходил он запущенные, наследие прошлого века, приземистые вонючие казематы, покрашенные ходовым в те годы колером сургучного цвета. Озябшие, чахоточные звери вразвалку лежали на полу клеток или размашистым шагом мерили их из угла в угол, но все, все они там, почти как люди, в ожидании чуда, строго и печально смотрели куда-то сквозь стены и железные прутья, сквозь глазающих посетителей и сугробы чужой страны, греясь воспоминаньями о знойной родине. Теперь все немножко пугало Дуню в прищельце издалека, даже проявленная им симпатия к носорогу – за мрачную его серьезность, оригинальную конструкцию лица и чрезмерный запас прочности – было опасение, чтоб не выпустил узника на волю. Кроме шуток, время от времени Дымков украдкой и недоверчиво оглядывал себя, словно сравнивал **с ними** и убеждался в родственном и, значит, уже необратимом сходстве с младшими собратьями человека, одетыми в шерстяные и чешуйчатые мешки применительно к способу существования. Вечером, в отчетной беседе с Дуней, Никанор приписал ангелу собственное свое удивленье – сколько проб и стадий прошла созревающая мысль, чтобы прозреть однажды, увлажненным взором окинуть окрестность и снова закрыть глаза.

В планетарий на другой день отправились уже вдвоем.

По ходу лекции, посвященной большому космосу, Никанор неоднократно давал соседу на ухо пояснительные справки, также некоторые из собственных гипотез и, казалось, тот вполне утвердительно кивал в ответ. Когда выходили по окончании, беглый обмен мнениями по поводу только что увиденного показал, что Дымков так и не усвоил ничего. Вчерашняя метель почти прекратилась, лишь последние снежинки роились вокруг фонарей; пользуясь уста-

новившейся теплыню, дворники по всей улице принялись за расчистку, скрежет дружно сгребаемого снега заглушал движение машин.

– Ну, чего же вы замолкли, Дымков? – незначащим тоном осведомился Никанор. – Значит, не похоже, не понравилось?

– Напротив, очень понравилось, только непохоже, – ответил тот и неопределенно махнул рукой.

– Вот вы и объясните нам тогда... как **оно** обстоит на самом деле? – Интонация вопроса заставляла предположить, что и Никанор рассчитывает получить взамен преподанных кое-какие сведения об окружающем нас мире в простейшем его чертеже, что Дымков и попытался сделать, хотя и несколько туманно по нехватке школьного образования.

Оказалось, неожиданно разнообразная осведомленность ангела Дымкова насчет мироустройства объяснялась тем, что по служебной надобности ему удалось побывать далеко за пределами нашего воображения. Однако мельком набросанная им модель сущего не только пугала своим элементарным невежеством, но обидно смахивала на заведомую мистификацию и даже нечто похуже. Среди прочих несуразностей особо выделялось, например, будто в большом космосе нет ничего относительно большого или малого, причем все аккуратно встроено друг в дружку, другими словами, нанизано на общую окружность, а масштабная величина определяется якобы иною здесь перспективой удаления. Отсюда подтверждалось, что в случае безграничного погружения в недра атома можно через анфиладу вселенных выйти на точку старта. В свою очередь при такой организации пространства не одно кольцо миров, а множество их, взаимно и во всех направлениях пересекающихся, образуют некую, скорее силовую, нежели материальную, пористой структуры, вроде мыльной пены, и еще никому не известной формы сущность. В довершение явной ахинеи Дымков сказал, будто так же обстоит и со временем, ибо, помимо здешнего, сейчас имеется не только микровремя, в более мелких дозированных которого разместились целые эры, эпохи и периоды с империями, династиями, цивилизациями вовсе никому пока не ведомых жителей, при помощи сходных с нашими телодвижениями осуществляющих свою великую историю, но и макро – где в одной из секундных долек угнездилась отведенная нам вечность. Все это время Никанора не покидало тягучее, томительное недоумение – как, пусть даже у ангела, после случайной, видимо, командировки в запредельность могла возникнуть при внешней стройности столь сложная и оттого похожая на добротню сработанную легенду схемка мироздания?

– Ну, раз вам посчастливилось побывать на окраине нашего родного мироздания, то как хотя бы оно выглядит снаружи: твердое или синее, жгучее на ощупь или волокнистое, с пупырышками или продолговатое?... – с иронической ухмылкой он перечислил ангелу наугад самые дразнящие варианты и, ввиду наступившего молчания, поспешил смягчить свою выходку. – Вам-то самому по крайней мере понятно сказанное?

– Не совсем... Нам, ангелам, тоже невнятно – к чему эта безумная по сложности махина сущего, – по-детски кротко признался он, – но прежде давайте я наглядно нарисую вам, как чередуются основные их этапы каждый раз с переключением от плюса к минусу и наоборот... причем завершающая бесчисленный ряд предыдущих состояний нынешняя фаза бытия длительностью в каких-то полтора десятка миллиардов лет почитается у вас за единственную, потому что в ней получает осмысление и приговор человек во всех его мыслимых вариантах, тогда как имеются циклы высшего порядка, где после стольких огорчений с людьми будут проведены поиски более надежного и равновесного божественного статуса. И кто знает, кому достанется честь сменить людей как не оправдавших себя фаворитов?

Все это было произнесено Дымковым гораздо проще, прозрачней и умней, потому что доставалось ему, видимо, без всяких усилий ума, по природе его ангельства, он даже присоветовал друзьям не увлекаться опасной темой, чтобы не свихнуться с рассудка.

Тут же во дворе, в двух шагах от улицы, припав на колено, он наглядно и почти по Лоренцу, пальцем по свежавыпавшему снежку, изобразил постадийную, как на киноленте, эволюцию вселенной в виде серии почти одинаковых равнобедренных треугольников, незаметно для глаза сплющиваемых за счет убывающей медианы, вплоть до ее исчезновения. И тогда вся ушедшая вразгон громадина, взорвавшаяся на критическом нуле, совершит молниеносный перекувырк в обратный знак, чтобы, постепенно замедляясь и возвращаясь в прежний статус, мчаться по орбите в новом качестве своего зеркального отраженья. И если с достаточного расстояния для кого-то сверху, как и отсюда снизу, подобные вспышки в одной и той же точке сольются в равномерное мерцанье, и так как с приближением к финалу время будет убыстряться, а материя соответственно будет утрачивать свою прежнюю реальность, то сведущее лицо по разности показателей смогло бы установить – сколько уже пройдено объектом и много ли ему осталось до очередного переплава.

Простодушные откровения такого рода воочию показывали, что ангел Дымков, по-видимому, и не догадывался – насколько велик километраж уравниения, способного наметить математические координаты его нынешнего адреса в мирозданье. Сверх своей формулировки мироустройства он прибавил сюда и собственные, еще более невнятные соображения о времени и пространстве. Так что околдованные несуразицей дымковских речений с запозданием заметили, как за спиной у них образовалась кучка любопытствующих зевак, в одном из них явно узнавалась сыскная личность, которая, выставив ухо поверх воротника, пыталась уловить потаенный смысл лекции.

То был первый предметный урок, знакомящий ангела с порядками страны, куда он прибыл. Как чуть позже ввела его в курс Дуня, лишь состоявшееся тогда чудесное событие районного масштаба отвлекло внимание сыщика от подозрительных молодых людей, которые в непосредственной близости от резиденции высшего начальства на подсобном чертеже явно обсуждали подкоп под его особняк. Лишь теперь побледневшие старо-федосеевцы вспомнили, что через улицу наискосок за высоким забором обитает самый лютый, единственно из соратников неподвластный произволу вождя и потому всемогущий временщик тех лет, видимо, обладающий ключом к какой-то сокровеннейшей его и даже в помысле убийственной тайне.

Таких улик вполне хватило бы на преследование по высшему разряду. В ту минуту движение транспорта по Садовой магистрали было остановлено, – из ворот усадьбы вымахнул личный бронированный лимузин в сопровождении служебного эскорта и вопреки правилам свернул налево, вразрез и против встречного потока помчался во исполнение некоего всемирно-исторического акта. Пока длилось уличное оцепенение, совсем было обреченная наша троица успела затеряться в толчее, что едва ли удалось им без самовольной помощи ангела. У Дуни чуть ноги не отнялись от чьего-то вкрадчивого прикосновения к рукаву, с чего в те годы начиналась смерть. Дымков впервые после прибытия явственно расслышал шелестящий бег большого кнута над головой, поэтому было естественно заинтересоваться причиной такого всеобщего перепуга, как только оказались в пустынном переулке. Уплотненная буквально в несколько строк, без нотки порицанья, версия Никанора показывает, как иные партийные современники, нередко в канун собственной казни, воспринимали историко-административную подоплеку тогдашнего ужаса: некоторые сами поступали бы также, кабы воли хватило да кровь **не своя** текла. Свидетельские показания и признания подсудимых выдавали почти поголовное участие населения в заговоре против великого вождя, понимавшего, впрочем, что расстрел вряд ли ускорил бы социальные преобразования в России: он как раз приступал к ним по третьему заходу. И в том состояло педагогическое значение системы, что непрерывное созерцание смерти кругом привело к сознанию своей вины перед священной идеей с подсудностью военно-полевому трибуналу, что облегчало исполнителям зачисление в штрафной батальон целого народа, с переплясом совершавшего переход через мертвую пустыню в землю обетованную.

Как раз подоспевший уличный выезд чудовища надоумил Никанора объяснить прищелу всю тогдашнюю ничтожность рядовой личности в стране, что должно было повлиять на стоворчивость Дымкова в его завтрашней знаменательной беседе с одним обходительным незнакомцем, с ходу определившим специфику предстоящих занятий ангела в его земной действительности. Ввиду того, что внешне благоприятный поворот в дальнейшей биографии Дымкова повлек за собою ряд скандальных эпизодов, позволяющих усомниться в его ангельстве, возникает необходимость задержаться здесь для выяснения его истинной сущности. По роду прежней деятельности ангела ему, несомненно, доводилось не раз побывать на окраинах вселенной, и потому разумнее всего сравнить изложенные им тогда, возле планетария, показания о ее устройстве с фактическими сведениями, как оно обстоит на самом деле.

Очевидное тут расхождение с учебниками не коренится ли в том, что студент не догадался сразу закрепить на клочке бумаги услышанное от Дымкова, отчего по дороге домой половина улетучилась из памяти, а сохранившаяся успела подернуться налетом отсебятины? Головоломные открытия, которыми сопровождалось приподнятие завесы, излагаются дальше в порядке относительной легкости их опроверженья.

Крайнее ничтожество, за каких-нибудь полгода постигшее ангела, заставляет всерьез призадуматься о нем в смысле его иррациональной достоверности.

По отсутствию классических примет ангельства, вроде летательных конечностей на спине, выяснению его личности может помочь лишь анализ его сущности изнутри. Существо супернатуральному полагается особо проникновенное знание вещей, ускользающих от нашего смертного понимания, равно как умственный ранг мыслящей особи лучше всего распознается по ее суждениям о наиболее темных при кажущейся общедоступности тайнах неба и бытия.

Таким оселком представляется инженерная схема мироздания, рассказанная мне студентом второго курса Никанором Шапиным непосредственно со слов самого ангела Дымкова, настолько путанная, даже нахальная местами, что распространение ее в полном виде могло бы бросить тень на книгопечатание. Но как мыслителя средней руки меня подкупила завлекательная с виду простота излагаемой теории – без головоломной цифири и лексических барьеров, охраняющих алтари наук от посягательства черни. Когда-то, платя дань исканьям юношеского возраста, я шибко интересовался всякими неприступными тайнами, в частности, вместе со сверстниками вопрошал небеса насчет святой универсальной правды, пока не выяснился шанс получить ответ на интеллектуальном уровне поставленного вопроса. И если в школьные годы составлял родословную античных богов и их земного потомства для уяснения логики древних, то позже, на пороге громадной жгучей новизны, в пору крушения империй, аксиом, нравственных заповедей, вероучений, старинной космогонии в том числе, я средствами домашней самодеятельности стремился постичь вселенскую архитектуру с целью уточнить свой адрес во времени и пространстве. В земных печалях та лишь и предоставлена нам крохотная утеха, чтобы, на необъятной карте сущего найдя исчезающе-малую точку, шепнуть себе: «Здесь со своей болью обитаю я».

Для начала Никанор решительно осудил надменную спесь некоторых наук, чья ограниченность, по его словам, проступает в упорном самообольщении, будто оперируют они с абсолютной истиной. Меж тем последняя, в силу содержащегося в ней понятия окончательности рассчитанная на весь наш маршрут от колыбели до могилы, не может раскрываться ранее прибытия к месту назначения, откуда мир как бы с гималайских высот просматривается взад и вперед, без границ и горизонтов. Студент даже сделал предположение, что ничтожная, в общем-то, дистанция – от разума муравейного до нашего – вообще несоизмерима с расстоянием до истины. Однако при очевидных изъянах Никанорова предисловия некоторые соображения о характере научного процесса показались мне достойными внимания.

Нельзя было не согласиться, например, что сознание наше – мощностью в обрез на обеспечение насущных нужд по продлению вида, не рассчитано на полный охват мироздания за

явной ненужностью. Во все века людям хватало наличных сведений для объяснения всего на свете. По той же причине боги, как правило, беседуют с людьми их же языком, на умственном уровне эпохи. Любое мировоззрение строится на какой-нибудь дюжине констант из множества нам неизвестных. Отсюда выявление новых или оказавшихся ложными всегда доставляло понятные неудобства состоящим при истине должностным лицам, в чем они и черпали моральное право на сожжение еретиков... Всплески же большой обзорной мысли легко возникают среди ночи во исполнение детской потребности окинуть глазом свое местопребывание и, удостоверясь в чем-то, снова нырнуть в блаженное небытие. И никогда не успеваем мы разглядеть толком ни самих себя, ни очертания колыбели, где дремлем. Таким образом, разновременные домыслы о ней – суть лишь собственные возрастные наши отражения в бездонном зеркале вечности.

Неудивительно поэтому, что мирная вчерашняя Вселенная, где благовоспитанные фламарионовы шарики, арифметично курсировавшие по школьным орбитам, в начале нашего века вдруг сорвались и бешено понеслись куда-то, – кто знает, сколько еще раз предстанет эта Вселенная перед потомками в совсем немыслимой перспективе? Здесь Никанор оговорился, что изложенные им сведения также нельзя считать исчерпывающими, ибо кому дано **ухватить** сущее в его окончательном облике? Если Евклиду нынешнее знание показалось бы бормотанием пифии на треножнике, то какой критерий, кроме пророческого прозрения, позволит нам заглянуть на такие же двадцать пять веков вперед? Всегда бывало, что уже разгаданное лишь частностью в потоке иных реальностей, качественно непохожих на прежние, но тоже транзитных – в направлении к сущностям высшей емкости, пока те, одновременно обогащаясь и упрощаясь по логике диалектических превращений, не станут погружаться в дымку уже недоступного им порядка. Человеческое любопытство с его отстающей аппаратурой узнавания и в прошлом нередко вступало на рубежи, где исследование сменялось умозрением с последующим переходом в поэтическое восхищение, чтобы завершиться благоговейным созерцанием...

По дерзости подобного вступленья с заявкой на право беспардонного вольнодумства во имя пока непознанного следовало предположить на очереди еще одно студентово изобретенье, тоже нулевой научной значимости из-за полной неосуществимости поверочного эксперимента. Ожиданья сбылись, мне предстояло ознакомиться с дымковской версией мироустройства. И если дотоле создание принципиального образа Большой Вселенной затруднялось недостижимостью ее для целостного охвата, то здесь она была усмотрена вся, извне сущего, с некоей сверхкрылатой высоты. По Никанору, для достижения инженерной конструкции предмета в масштабе метagalактики лучше всего по-детски, без догматических предубеждений вникнуть в первичный иероглиф замысла. Самые сложные явления легче постигаются в их детском рисунке. В обратном же направлении производимое исследование потому и обречено на бесконечную длительность, пограничную с непознаваемостью, что до своей обзорной вышки разум добирается по шатким, друг на дружку составленным лестницам уравнений и гипотез с единственным щупом в виде звездного луча. А много ли океана углядишь через прокол диаметром в геометрическую точку? Словом, налицо был тот случай, когда большой науке вряд ли следует из престижной щепетильности отказаться от сотрудничества с **бывалым** лицом даже сомнительного происхождения, чтобы и впредь не таскаться на улитках по беспредельностям космоса.

– Иногда крупница истины служит катализатором системности в запутанном хаосе незнания! – наставительно сказал студент и намекнул, что дымковским ключом вся тайна распутывается в логическую нитку, как бабушкин клубок.

Машина мира выглядела символическим кружком из двух внутри близнецов-головастиков, как у древних китайцев обозначалась структура неразрывного и равноправного единства противоположностей – света и тьмы, зимы и лета, плюса и минуса в данном случае. Соприкасаясь по разделявшей их синусоиде, они сообщались лишь через мощные протоки, стихийно

возникавшие каждый раз, когда отбывшие свой век огненные гиганты, с захватом звездной мелочи из окрестностей и закручиваясь на лету, исчезали из нашей видимости, проваливаясь куда-то, но не просто в глубь себя, а в смежную половину на переплав в свою диалектическую ипостась. Иначе, успокоил меня Никанор во избежание пессимизма, застрявшие в собственных ямах-ловушках светила небесные навсегда остались бы в них, и тогда отведенный нам на жительство прелестный уголок превратился бы в свалку промороженного утиля. На полном разгоне прорываясь в свое иррациональное состояние сквозь знаменитое табу предельной скорости, материя в тот **мнимый** момент (как бы протестуя против столь невежественного обращения с нею) радиоревом раздираемого Самсоном льва оглашает безмолвие космоса. Кстати, при переходе через нуль подобная метаморфоза должна уложиться в некое абсолютное мгновение, куда запросто вместятся тысячи людских поколений, целые геологические эпохи, что позволяет судить о мимолетности нашего эфемерного существования на шкале космического времени... Значительно расширила мой кругозор ценная студентова догадка насчет звездных могил, которые в действительности не имеют дна, так что слепительные ядра, наблюдаемые посерединке разных возрастом и порою все еще вращающихся галактик, суть не что иное, как яростные выплески плазмы по ту сторону синусоиды. Но отрадней всего было узнать про наш любимый Млечный Путь, который не сгинет в неведомых просторах **антимира**, а, напротив, по миновании обязательных фаз эволюции снова станет оазисом прогресса и цивилизации, правда, с сомнительным по части этики и физиологии комфортом в том зеркальном его отображении, которое предстоит нашей Вселенной.

На беду мою, изложение дымковской теории велось так беспорядочно, с частыми пробегами и перескоками с одного на другое, что никак не удавалось мне свести сообщаемые сведения в стройную законченную систему. Будто бы, например, со школьной скамьи известные нам физические законы далеко не обязательны для всех этажей мироздания. Как видно, научно немыслимые бездны с диковинками светимостью чуть ли не в миллион солнц простираются во все стороны. Поэтому, ступенчато спустившись в одну из них и нигде не возвращаясь вспять, можно напрямик сквозь круговую анфиладу вселенных выбраться наружу в прежней точке пространства и времени, от которой еще недавно наука и религия каждая своим кодом вели отчет бытия. Парадоксальная заушь нашей мысленной прогулки объясняется тем, что кольцевой маршрут ее является силовой орбитой атома высшего ранга, повергающего разум в смирение. Словом, в основе сущего лежит циклическая повторность, подтверждающая указание, что все зримое на свете обязано своим бытием мелкоэлектрическим кубарикам, которые даже ночью крутятся в нас самих, но мы привыкли и не замечаем. И как бы в подражание им целые галактики, невзирая на свою громоздкость, тоже пребывают в непрестанном коловращении. Так что при внешней сложности вся механика Вселенной сводится к заурядному меж двух полярных крайностей качанию маятника, четким пульсом коего гарантируется упругое постоянство, то есть **вещная** прочность машины, а фазовым его состоянием мерится поэтапно-разный возраст никогда не умирающей Вселенной. Тут по невозможности описать процесс во всей его протяженности лектор прибегнул к опыту чисто житейской практики: ежели левое плечо некоего единства поднимается, то, по закону коромысла, столько же его с правой стороны опускается. В особенности, говорят, это заметно на примере всякого слишком быстро летящего предмета, когда самая даже ничтожная на старте масса его с приближением к максимальной скорости безгранично возрастает за счет чего-то полностью исчезающего на финише, ибо ничего не может взяться ниоткуда. Нет сомнения, речь явно идет о **времени**, за ненадобностью **перестающем быть** на окраине бытия, по авторитетному свидетельству ангела из Апокалипсиса. Не значит ли это, что именно **оно** явилось той самой доматериальной, сверхъемкой сущностью, из которой излилось все?

В частности, **время** в рассказе у Никанора подразумевалось отнюдь не циферблатное, каким пользуются при отсчете пульса либо для варки яиц, а то абсолютное время античной

теологии, обозначаемое именем Хрона, от семени которого произошли стихии, боги, звезды, зародыши всякой живности земноводной. Недаром в равноправной триаде сущего: пространство – время – материя (где, заумно разъяснил студент, первое неправоммерно без чего-то в нем размещенного, чья длительность определяется посредством второго и каким образом обе ипостаси являлись бы производными от третьей, кабы сами не обеспечивали ее бытие) – именно оно значилось на первом месте – **посреди**. Однако, начисто исчезающее в перевальной точке, время само должно было подвергнуться немислимому для реальности сжатию в математическую точку праматеринской субстанции, которой предстояло из стадии первозданного бешенства выродиться в обыкновенную звездную плазму, чтобы, остывая дальше, вступить в пору плодоношения высших чудес – музыки, мышления и, скажем, моря, для чего, наверное, и было **все** затеяно. Невыполнимая задача вместить обширную небесную подвижность в некий взрывающийся шар нулевого диаметра задолго до нас толкала людей на признание надмирной персональной воли. По Никанору же, **заблуждение** разрешается простой заменой одноразового вселенского цикла вечным кружением с постоянной многомиллиардной орбитой. При этом сверттитаническое взрывное происшествие, почитаемое одними за акт божественного миротворения и принятое другими в качестве отсчетной точки для исчисления возраста Вселенной, на деле только рядовая искра энергетического переключения в смежно-полярный потенциал. А хрестоматийный библейский сказ с привлечением малоизвестных подробностей по Еноху, как оказалось впоследствии, представлялся моему просветителю всего лишь пригодной схемой для наглядного осмысления истории людей.

На ощупь и оступаясь, словно в дремучем Дантовом лесу, покорно тащился я за своим поводырем. Манящие огоньки наважденья, мелькавшие за стволами сказочного обхвата, воочию убеждали в близости желанного клада, который без терпенья не дается никому. Однако колдовская одурь понемногу уступила место робкому сомнению – не дурачит ли меня этот с очевидными задатками провинциальный увалень, из которого его шеф, признанный мастер философского носовождения, растит пророка какой-то еще неведомой миру, в качестве панацеи ото всех бед, сумасбродной идеи?.. Осведомленный по **Книге судеб** о фантастической будущности своего питомца корифей совершал сие с обязательной при изготовлении адской машинки предосторожностью – самому не взорваться на ней, – чем и объяснялся, видимо, их странный симбиоз. И вообще, с виду достаточно **безумная**, как нынче требуется от научных сенсаций, а на деле ребячий пустячок, дымковская концепция в передаче рассказчика все больше, по мере углубления в тему, приобретала отпечаток его подпольной личности, способной завести доверчивого простака в опасный тупик.

Теперь, невзирая на мое стесненное состоянье, студент принялся взламывать общеизвестный тезис иллюзорного, якобы спектрального смещения, обусловленного будто бы не ускорением взрывных разлетающихся брызг и осколков, а меняющимся соотношением возрастающей массы за счет убывающего времени. Другими словами, наблюдаемый эффект **красного смещения** диктуется не пробегом удвоенной, учетверенной дистанции за раз навсегда эталонированный срок, а напротив – один и тот же неизменный отрезок пути преодолевается за укороченную единицу длительности. То есть движение повсюду остается равномерным, но пройденное расстояние исчисляется за меньшее время, стремительно сокращающееся с приближением к финалу. Означенный парадокс уподоблялся у Никанора нередко в рыночном обиходе усыханию гирек, когда ради маскировки растущей дороговизны снижаются вес и объем товара с прежней ценой на этикетке. Отвергая гипотезу **разбегаания** галактик, он в особенностях горячо осудил допускаемое кое-где сосуществование разноименных, зачастую перенаселенных живностью миров, которые подобно баржам со взрывчаткой свободно плавают в одном и том же фазовом поле.

– Сердце кровью обливается при мысли о возможных последствиях такого допущения, – с полной серьезностью сказал он, глядя куда-то **вглубь** и как бы созерцая уже разразившийся катаклизм.

– Понимаю... но что же в такой степени волнует вас, милый Никанор Васильевич? – не сдержался я, тронутый его заботой об участи многочисленных жителей, обрекаемых неправильной гипотезой на верную однажды гибель.

Несмотря на те боевые годы, когда все было возможно, ни разу не доводилось мне не только наблюдать, но и слышать о только что столкнувшихся галактиках. И, чтобы вернуть беднягу в русло гражданского оптимизма, я указал ему на огромную, по счастью, протяженность Млечного Пути, так что в случае малейшего соприкосновения космических объектов местные начальники, оповещенные о грозящей опасности, успеют без паники наличными средствами уладить дело.

– Ах, вовсе не то, тут вещи поважнее! – отмахнулся он, имея в виду неизбежность жертв в такого рода событиях, и вдруг оказалось, что отнюдь не судьба материнства-младенчества и заслуженных пенсионеров тревожила его, а именно долгая и безаварийная среди стольких сцилл и харибд навигация нашего звездного корабля, немыслимая без верховного лощмана, нарицаемого у **них** Демиургом мироздания. – А ведь вера в **него** и есть тот опаснейший **опиум** для трудящихся, как метко обозначена она в современной Библии человечества, не так ли?

Он испытующе уставился в меня и, почудилось, даже подмигнул мне как будущему сообщнику в каком-то неблагоприятном предприятии. По условиям места и года разговор велся полунамеками ввиду возможных наших разногласий по коренному вопросу – чем именно, помимо паспорта в кармане, отличается обыкновенный кусок мяса от человека? Угадывая коварный финт ходом коня и чтобы не получалось что-либо нежелательное, я воздержался от прямого ответа.

К чести лектора, он охотно соглашался, что покамест дымковская модель мироздания годится разве только для умственной гимнастики и сравнительно с нею концепция Козьмы Индикоплова о Вселенной на трех китах может показаться кое-кому венцом математической смекалки. Однако благообразная и чопорная старина всегда, поворчав немного, почтительно сторонилась перед юной, непричесанной и напористой новизной. Отбиваясь от странного соблазна поддаться ей, я пытался сокрушить навеки главную ересь всей конструкции по Дымкову на манер того, как знаменитые праведники поступали со всякими исчадьями преисподней. Крестом служила известная мне понаслышке и счастливо подвернувшаяся в памяти парольная пропись при входе в святилище современной астрофизики сродни знаменитому Дантову заклятью на воротах ада. То была железная формула о запретности пресловутой **абсолютной скорости** для всего на свете, кроме фотонов да мысли человеческой.

Мою, неуклюжую пусть, вылазку в защиту здравого смысла Шамин воспринял почему-то как личное оскорбление.

– А не приходило вам в голову, **могучий** ньютонианец, – обрушился он на меня, захлебнувшись словами, – отчего и только ли по нехватке инструмента некоторые мудрецы, особенно с привязными бородами, так яростно отвергают незримую **суть** айсбергов, сокрытую в пучине бытия? Или зачем виднейший из них задавался вопросом, мог ли **Бог** создавать мир иначе? Или ради чего мир стал задумчиво оглядываться на отвалы мыслительного шлака и утилиа за спиной?.. Равным образом пассажиру в ракете на той почти роковой скорости с километром девяток после запятой свойственно противиться дальнейшему разгону из страха по инерции при малейшей задержке безгранично разбухшей массы непременно разбиться о самого себя, без чего Ахиллес никогда не догонит свою черепаху. Не бойтесь возможного просчета: лобастые потомки уточнят, утрясут наши с вами неувязки на своих совершенных арифмометрах, приспособят тайну к пониманию малышей. У вас зерно завтрашних открытий о Вселенной, держите крепче, чтоб не склюнул сквозь пальцы какой-нибудь проворный петушок!

...И тогда все сказанное раньше оказалось лишь предлогом для еще более абсурдных обобщений, масштабность коих достигалась посредством необузданного детского воображения, у кого имелось, разумеется. К примеру, в корне отрицая божественность миротворения, давность которого даже наукой исчисляется не свыше каких-нибудь двух-трех десятков миллиардов лет, дымковская теория низводила это сверхтитаническое происшествие в разряд проходного эпизода, энергетического **щелчка**, а истинный возраст сущего расширился до полной непостижимости.

Во исполнении заветных чаяний человечества Никанор высказал твердую уверенность, что теперь уж скоро какой-нибудь отчаянный, Колумбова склада, Прометей сумеет вернуть крюк в зияющую твердь небес и, на разведку подтянувшись ввысь, начертит для будущих смельчаков план тамошней мнимой пустоты с заветною, в окружении непролетных бездн, **световую горой** посреди, и на отвесной высоте с подножья, если голову закинуть побольней, станет видна та желанная мечта **всех** изгнанников, Адамовых потомков в том числе, – неприступная цитадель...

– ...уразумели наконец **чья?** – тоном искусителя справился он и опять шурким из-под нависшего века глазком подмигнул мне в знак особого расположения.

Разговор приобрел чрезмерную фамильярность касательно вещей, вообще-то все неприкасаемых.

– ...и даже уразумел, совместно с кем предполагается освоение этой целины, – на всякий случай поотстранился я от неположенных смертным знаний. – Все балуете меня всякими хитростями, Никанор Васильевич! К прочим в придачу еще одна: загадочный подкоп под резиденцию всевышнего. Не вижу смысла, зачем мне она?

– А его сразу-то и не увидишь, тут глубже надо копать! – посмеялся он на мою догадливость. – Дело в том, что последнее время мыслители с хозяйственным уклоном стали задумываться, к чему атеизм?.. И ежели для него не имеется особых, непубликуемых причин, то стоит ли тратить столько бумаги, усилий и просто государственных **средств** на опровержение чего-то заведомо несуществующего? Вся суть якобы в том, что, вдохновляемый техническими успехами, все резвей становится заложенный в человеческой природе **ген** овладения миром.

Высказанное сопровождалось обещанием будущего светоча Никанора показать мне чуть позже, как печальные и с виду вполне беспочвенные фантазии выглядят в натуральную величину.

– Хотите отправить меня туда, в **дальнюю** разведку? – с тайной надеждой на отсрочку пытался отшутиться я.

– А что же, в походе на розыск земли обетованной нет должности почетней, чем соглядатай грядущего, – сказал он и рикошетом, по недосказанному поводу, резко отозвался о вопиющей беспечности современников в отношении своей репутации у потомков, от которых будет зависеть судьба великих идей. – Судя по почерку, именно у вас получился бы вразумительный, в патмосском жанре репортаж об ожидающих нас бедах, если своевременно не принять мер самозащиты. Правда, ни подобающей шедеврам вечности, ни оваций читательских посулить автору не смогу... ничего, кроме крупнокалиберного разноса вроде того, что привел вас однажды к нам на Старо-Федосеевский погост. Не исключено, впрочем, что фатальная ситуация разразится досрочно, и тогда возвращаться оттуда станет незачем да и некуда, пожалуй...

– Если так **скоро**, то кому нужен будет подвиг мой... разве только уцелевшим?

– Не уцелевшим, а еще живым! – поправил мою догадку на глазах у меня вдруг повзрослевший молодой человек. – Книга ваша была бы им как прощальный с птичьего полета и за мгновение до черного ветра человеческий взор на миражные в тихом летнем закате, уже обреченные города Земли. А заплутавшему путнику на исходе души воспоминание о **бывшем** сто-крат дороже глотка утренней росы в пустыне. Не сопротивляйтесь же, **коллега...** – И выполняя обещание, преподнес мне пару-тройку весьма впечатляющих эпизодов, наугад взятых из кол-

лекции Дуниных видений и тотчас органично вписавшихся в сюжетную канву моего повествования.

– Похоже, преуспевающий госстипендиат Никанор Шамин сам верит в реальность этих галлюцинаций? – осудил я преступный в наше время пессимизм в столь масштабном развороте, да еще с инфернальной подсветкой.

В доказательство своей правоты Никанор выдвинул несомненную аксиому, что наше восприятие вещей и событий целиком определяется не только умственным кругозором или психическим настроением наблюдателя, но и состоянием действительности, которая в момент ужаса и поиска норы самосохранения может представиться ему в самом первобытном аспекте. Благодаря успехам просвещения, мы даже солнышко разжаловали в захолустную звезду со ссылкой на окраину системы, но кто знает, не вознесет ли его когда-нибудь обратно в ранг сурового и милосердного божества потрясенное сознание наше? Генеральная перестройка человечества, помимо прочих причин обусловленная все возрастающей теснотой множества, лишь началась на планете и вряд ли обойдется без крупных социально-сейсмических подвижек, которым иступленное людское отчаяние неминуемо придаст эсхатологическое толкование. Как бы ни обернулось дело, **все равно** послезавтрашний мир будет решительно не похож на позавчерашний. Отсюда, подобно тому как положенная на **ладонь** Вселенная упрощает постижение мироздания по Дымкову, такую же, пусть условную философскую обзорность приобретает и будущность по Никанору на меркаторской сетке апокрифа.

В качестве компаса для ориентировки в той безбрежной неизвестности собеседник предложил не менее вольнодумную касательно прогресса концепцию, правда, с благоприятной концепцией... Впрочем, вот приблизительная логика его рассуждений. С райских времен люди, как дети, в особенности тянулись к запретным дарам природы, и неспроста народный эпос поручил самой отборной сказочной нечисти охранять последние – не для утайки их от тех, ради кого создавались, а в защиту самих людей от обычных последствий ребячьего баловства со спичками. И почему-то с выходом наук на магистраль самых благодетельных с виду, но обнаруживающих вдруг обоюдоострую двоякость открытий рогатая охрана все чаще стала оставлять без присмотра не только запасенные на черный день склады ширпотреба, но и пульта управления сокровенными механизмами жизни и смерти. И так как нравственная зрелость ныне действующего поколения значительно отстает от уровня его технической оснащенности, то не мудрено, если кое-какие не опробованные на себе находки уважаемых кладоискателей по прошествии времени окажутся пакетом мин замедленного действия, так сказать, сувениром доброго дедушки на рождественскую елку внукам.

Внезапная подмена ужасной, зато мыслительной версии **мирокрушенья** другою, уже планетарного масштаба, устрасала в смысле пока, но, значит, было **подумано**, если Никанор свернул с главного на колею смежного варианта, и, к стыду моему, поддавшись наваждению момента, я ощутил жуткий холодок чьего-то незримого присутствия у себя за спиной. В свете этой единственно вероятной догадки меня буквально обожгло воспоминание о моем сверхудачном визите в деканат корифея всех наук. Непрошенная откровенность его подопечного насчет секретов преисподнего ведомства смахивала на посвящение завербованного в некую вредную авантюру. Иначе, как и в случае моего отказа от сотрудничества, разглашение хозяйских замыслов грозило серьезными последствиями для нас обоих. Словом, игра зашла в ту опасную крайность, когда следовало выяснить, на кого работает мой собеседник.

К утру наше ночное ощущение действительности настолько сроднилось, что мы без труда понимали друг друга.

– Не опасайтесь того, что сейчас у вас на уме, – прочел он мои мысли. – Есть основания полагать, что распространенное мнение об **их** неземных возможностях шибко преувеличено.

– В данном случае, – вполголоса, доверительным тоном посредника заговорил Никанор, – стремясь заранее во исполнение надежд снискать симпатии у трудящихся, подразумеваемый

господин жаждет любой оказии предстать перед нами в более современном, нежели у Еноха, атеистическом облике вожака, основоположника борьбы с небесной тиранией...

– Ну и пусть предстает: если выдержит! – оборонялся я от соблазна заглянуть на **тот** берег через приоткрывшуюся щель.

– ... простите, я недосказал! – перебил тот. – Только что вы правильно истолковали успех своего визита в контору корифея. Ваше участие сводится всего лишь к публикации новой схемы небесного раскола, которая будет сообщена вам по ходу дальнейших встреч. Все происходит на основе добровольности, без малейшего принуждения, даже напротив! Раскрытая в ключе наших с вами предпосылок лоскутовская эпопея вывела бы читателя на простор закосмических обобщений и при достаточно искусной мотивировке сработала бы в плане избавления его от болезненных разочарований.

– Хорошо, – мысленно поскрежетав зубами, согласился я выслушать соблазнительное для автора предложение. – Пожалуйста, если не секрет, расшифруйте ваш намек!

– Хотелось бы по возможности срочно и наглядно предупредить род людской о генеральной яме на его столбовой дороге к так называемым **звездам**, – кратчайше сформулировал он, предоставляя остальное моей догадке.

– Тогда в каком аспекте... точнее, которая из обрисованных вами ям... та предвечная, или нынешняя глобальная, или обе сразу имеются в виду?

– В том именно, как она выявляется нам сегодня, – отвечал неистощимый путаник мой и в теплых словах, несколько туманно пожелал человечеству успешного сопротивления любым козням зла.

В итоге получалось, что хотя по миновании бурь и ям ждет людей единственно спасительная эра без сорных профессий и потребностей, также без порочных мечтаний, некогда служивших дрожжевой закваской при вызревании великих творений духа, – пусть даже эра вовсе беспамятная в плане большой истории, которая всегда писалась черными и красными литерами горя народного, эра некоторого измельчания, обусловленного необходимостью разместить любое стихийно возрастающее множество в некоем постоянном объеме, с обязательной интеллектуальной и габаритной подгонкой особей, чтобы места и пищи хватило на всех, – все же не следует торопиться с возвращением назад, под крыло матери природы...

– Впрочем, – утешительно добавил Никанор Шамин, – океану не придется делать мучительный выбор, стоит ли ему перемещаться в незнакомое геологически приуроченное лоно...

Похоже, дело сводилось к желанной наконец-то замене низменного, донныне правившего цивилизацией стимула личной корысти благодетельным инстинктом единой для всех судьбы и выгоды – с правом каждого на посильное ему духовное обогащение, разумеется. Равное для всех регламентированное счастье было, по Никанору, достойнее человеческого звания, нежели прежняя беспощадная, из-за угла умственного превосходства охота на ближнего. Правда, это было связано с той неминуемой перестройкой порядком ниже, какую обеспечивается в природе биологическое бессмертие вида, уходящего в свою безбрежную, навеки беззакатную утопическую даль... Короче, здесь особо сказалось генетическое, во имя жизни, приспособление к грядущему бытию, с помощью которого эволюция гарантирует благополучие потомков, взращенных на горькой и жгучей золе отпылавших поколений.

Чтобы вернуть чересчур смышленного юнца в русло благоразумия, я напомнил ему построже, что в суровые исторические времена безобидный прогноз плохой погоды может кому-то под горячую руку показаться клеветой на светлую будущность человечества.

– Вот и жаль, что в повседневной загрузке наши люди не имеют времени интересоваться последствиями совершаемых ошибок, – мальчишески поворчал он и вдруг, смутясь моего пристального молчания, согласился нехотя, что мы и в самом деле малость отклонились **не туда** от нашей первоначальной темы.

Впрочем, ввиду зловещего облачка, появившегося на современном горизонте, ничто не может снизить важность затронутого вопроса. По всем признакам человечество вступило на переломный порог своего исторического бытия. Коль скоро весь зримый мир пропущен за минувшие века через мысль и руки наши, он является твореньем человека, начертанным на мерцающем экране еще не доследованных стихий, и генетическое уничтожение наше полностью совпало бы с церковным концом света. **В случае чего** мы угаснем вместе с нашим удивительным шедевром. Иначе допущение дальнейшего существования чудовищной вселенской машины, продолжающей свою работу уже ни для кого, способного охватить ее разумом, означало бы признание других иррациональных реальностей за пределами нашего сознания.

Не исключено, однако, подобного рода рассуждения покажутся скептикам слишком вольной импровизацией на щекотливую тему. Бывают такие прочные оптимисты – уж ворон бедняге глаза клюет, а он и не чует. Дьявол слишком хитер, чтобы оставлять следы на месте преступления.

Знаменитые пожары прошлого возникали от обыкновенной людской спички, которая сгорала в первую очередь, заодно с поджигателем. Наиболее подходящим предложением к такому развороту событий, не теперь, так в следующий раз, могло бы послужить подоспевшее, на вполне логическом перепутье противостояние полярных социальных систем. Все станет возможно в запале, когда элита богачей, встревоженная близостью грядущих перемен, рискнет на отчаянную вылазку с применением адских, высшей убойности новинок, вроде: поджечь океан у берегов противника, либо защитный купол озоносферы, обрушить рентгеновскую бездну на его территорию, словом, собственной головой швырнуть в ненавистную мишень. Легко представить недолговременное счастье знати, отсидевшейся в подземных норах от необратимых последствий катастрофы. Уцелевшие от боли и безумия, они будут сдыхать от крыс, смрада и кровавой рвоты при виде повсюду разлагающейся человечины. Ибо даже для прежней могущественной цивилизации было бы непосильно в пределах санитарной срочности предать земле многомиллионный, по первому заходу укос смерти. Кабы мы, люди, догадались заблаговременно, сложив всю свою поганую взрывчатку промеж надежных горных хребтов, шархнуть ее разом к чертовой бабушке, то, конечно, малость закачался бы на орбите шар земной. Однако находящиеся на достаточной глубине в шахтных укрытиях ученые-наблюдатели разгадали бы наконец, что не от потопа или голода померли несчастные динозавры, а от чрезмерных для живой твари сердечных переживаний. И присяжные скептики сквозь землю напрямки, в пламенном зените над собою опознали бы личность истинного вдохновителя назревающей самоубийственной эйфории.

...Тем временем совсем рассвело. Сквозь пыльное окошко, затянутое паутинкой с прошлогодней мушиной шелухой, пробившийся лучик высветил в дальнем углу тряпичную, от прежних жильцов, зацелованную матрешку с раскинутыми руками. Потянуло скорей наружу из нежилой тесноты с рваными обоями на стенах и обвисшей с потолка электропроводкой. Выключив свет, мы спустились с заднего аблаевского крыльца отдохнуть под сиренью возле домика со ставнями. В утренней падымке радужно искрилась сизая от росы трава. Без единой соринки тишина располагала к молчанию о предмете состоявшегося ночного бдения, – вселенная! Теперь можно было сравнить дымковский портрет с оригиналом.

Ни промышленный дым из окрестных труб, ни тучка, ни даже птица на пролете – ничто покамест не засоряло зеленовато-порозовевшую над головою синь. Любое мечтанье свободно вписывалось в девственно чистое, без ничьих следов пространство, будто ничего там не бывало прежде. Издревле населяемая виденьями пророков и поэтов небесная пустыня вновь была готова принять еще более сложные караваны призраков, что из края в край пройдут по ней транзитом после нас. И тогда по сравнению с ними модель мироздания по Дымкову, ныне предаваемая огласке в качестве следственного материала к распознаванию последнего, покажется лишь примером наивного верхоглядства.

Впрочем, что касается меня лично, то я с самого начала не сомневался в дымковском ангельстве.

## Глава XIV

Дружба Дуни с ангелом продолжалась. Он пытался, исследуя степень ее проницательности во вселенной, гнать ее дальше, дальше и дальше, и оказалось, что там пустота. Заблуждение превращается в догмат, догмат в постулат. Когда он толкнул ее чуть дальше, она бессильно заплакала. И хотя он знал, что и бездна вся кишмя кишит левиафанами вперемешку с барракудами и там на сучьях дубов, или на волнах, или на валунах сидят лысые с продолговатыми от ума черепами старцы, которые, как и мы здесь, пытаются разгадать себя – кто они, откуда и зачем, но вся эта перенаселенная жизнью явь – в таком разреженном состоянии, что для нас кажется прозрачной. При очередной встрече с Дымковым Дуня подняла щепетильный вопрос о характере дальнейшей дымковской деятельности. Для начала она справилась, пойдет ли он завтра на работу, но оказалось, что у Дымкова документы оформлены на годичный отпуск.

– Но тогда, по нашим законам вам надо переходить на инвалидность, – горячо и строго, заговорила Дуня. – У нас каждый должен что-нибудь делать. Вот вы уже столько времени здесь, а еще не подумали чем заняться... а это нехорошо!

– Что именно нехорошо? – нахмурился Дымков.

– Ну всякое безделье нехорошо... особенно на фоне всеобщего строительства. Да и не станете же вы весь год по музеям ходить! Застукают где-нибудь при облаве, вам же стыдно будет ссылаться, что вы ангел, вам можно. Вот мы лишены, все одно что вне закона... с нами что угодно делай и не взыщут, но отец все равно шьет обувь для трудящихся, чтобы оправдать свой хлеб. Ведь вы же есть-то будете?

– Мне можно только изюм, – простосердечно сказал Дымков.

– Все равно, не **оттуда** же вы будете привозить ваш изюм! Давайте лучше присядем на минутку... – и сама сдвинула со скамьи, в нише ворот, высокий отяжелевший снег. – Скажите мне, что вы умеете?

– Я могу все.

– Нет, я не в том смысле спросила... и вы не должны тратить себя по пустякам: **это** может кончиться плохо. Я спросила, что вы **руками** умеете. Конечно, надо попробовать сперва, но только по чистой совести вам легкую работу никак нельзя.

Ненадолго разговор принял шутовское направление... По своим рабочим параметрам ангел весьма пригодился бы в каком-нибудь трудоемком производстве, горнорудном, например, где он мог бы, не спускаясь в шахту, выдавать на-гора годовую норму круглосуточно, хотя в таком случае выгоднее возложить на ангела целиком все промышленное снабжение, но тогда как привязать к столь малочисленному коллективу имеющийся профсоюзный, учетно-планировочный и всякий другой **аппарат**.

После некоторых блужданий на ощупь они воротились к проверенной практике **добрых** дел посредством сверхъестественного вмешательства, употребляемого от случая к случаю во избежание нездоровых страстей и вообще развращения трудящихся: тут самое главное – **чтобы недосыта**. Опыт всемирных религий показывает, что, обзавясь утирать повседневно проистекающие слезы, ни одна не задавалась целью прижизненно осушать их раз и навсегда, ибо неумеренной щедростью легко не только обесценить счастье, но и нарваться на мятеж против Всевышнего вследствие неумеренных appetitов. Словом, бесплатные благодеяния, порешила Дуня, надлежит совершать не иначе как под контролем пожилого, то есть практически сведущего руководителя, помимо разума обладающего даром долготерпения, даже небрежности к своим клиентам. По условиям подразумеваемой секретности не виделось кругом лучшей кандидатуры, чем старо-федосеевского батюшки. На прощанье условились безотлагательно продолжить беседу завтра же днем в присутствии о. Матвея.

В тот же вечер, когда старик по обычаю поднялся в светелку покрестить на ночь любимицу, Дуня попросила у него разрешения зайти к нему как-нибудь со своим знакомым ангелом для переговоров первостепенной важности. Порывистое обращение, слегка увлажненный взгляд, выдававший предельную душевную разрыхленность, наконец жаркие слова представительства за все громадное человечество – все свидетельствовало в глазах растерявшегося отца о новой фазе Дунина недуга.

Придерживая за виски ее головку, Матвей долго, испытующе вглядывался в лицо дочки.

– Как, ты сказала, как его прозывают, ангела твоего?

– Просто Дымков... Но ты не смейся, это его здешняя фамилия. И совсем его не стесняйся, когда придет: он и сам стеснительный... но добрый очень.

– О чем же приспела ему охота потолковать со мною, Дымкову твоему?... Я и сам не шибко ученый, из пастушат. Признавайся, небось, добрые дела творить задумали!

– Вот именно, мы хотим делать людям **внезапное** счастье. Пусть понемножку, чтоб без зависти и обиды соседской, только непременно внезапное и сверх всякой положенной нормы.

– Сама по себе затея похвальная, – говорил о. Матвей, сокрушенно опуская взор. – Но ведь если дело **доброе** — значит, справедливое, а справедливое – то, значит, поровну, а коли поровну – враз они привыкнут, а стоит попривыкнуть – вновь за бунт да богохульство примутся...

Он осекся на полуфразе: в нынешнем Дунином состоянии самое худшее было перечить ей, трудностями пугать, охлаждать разочарованием, возвращать к действительности. Но тут, кряхтя и задыхаясь, Прасковья Андреевна в мезонинчик поднялась к мужу на выручку – узнать о чем шепчутся.

– Вот, Параша, – упредительно и глазами умоляя не волноваться, оповестил ее о. Матвей, – Дуняшка-то наша совместно с ангелом своим задумала благодеяниями людскими заняться, во всемирном масштабе!

– Неплохо, кабы во всемирном-то... глядишь, и родителям чего-нибудь достанется: не обделит? – ко всему готовая тотчас подхватила мать. – Главное обдумать **как и чем**. Скажем, вещевым довольствием через раздаточные пункты, так ведь ежели уцененные товары в ход пустить, никаких средств не хватит!

– Это верно, – поддержал ее о. Матвей, – самые что ни есть златые горы гималайские по ветру в миг развеешь.

– А для нас это не имеет никакого значения, – простодушно сказала Дуня, – на то он и ангел, чтобы брать все это **ниоткуда** и в любом количестве.

– Ну, тогда совсем другое дело... – поспешно кивнул о. Матвей и, тем самым давая дочке свое согласие, поведал матушке о предстоящем визите. – Вот мы вчетвером и обмозгуем ваше дельце.

Наклонившись к лежавшей на спине, он поцеловал дочку в пугающе чистый и прохладный лоб за жар сердца, за ее безвинное страдание; матушка же, со всех сторон подтыкая одеяло, высказала шутиливую догадку, что последнее время ангелы не кажут к нам носа из опасения, что посадят в банку для обучения студентов. Однако, спустившись вниз, старики молча переглянулись и, не дерзая роптать на Господа, каждый по-своему вознес ему скорбную и благодарную хвалу, что, хоть и затяжной, душевный недуг любимицы протекает вполне терпимо, без буйных выходов и нередкой в подобных случаях неопрятности.

Собственно для осуществления Дуниных планов требовалось прибегнуть к чуду, и для о. Матвея оно заключалось не в чем-то материальном за счет неба, то есть **дарма** приобретаемом, а прежде всего в самом крохотном, пускай, нарушении цинической логики бытия. Еще в ребячьем возрасте приобрел он мечтательную, позднее на выборе профессии сказавшуюся привычку – бездумным взором блуждать по небу в чаянии каких-то необыкновенностей, чем неоднократно навлекал на себя неудовольствие, даже побои старшего пастуха; в зрелые годы

страстная потребность эта подзаглохла, чтобы с новой силой воротиться к старости. О. Матвей приучил себя к мысли, что всякое чудо представляет собою насильственное нарушение бесконечно стройного, почти кристаллического распорядка в мироздании, так что излечение иного, даже не слишком застарелого ревматизма, например, пришлось бы оплатить поломкой целой галактики, хотя бы и столь отдаленной, что вроде и не жалко. Он примирился на том, что если и нельзя творить чудеса, то можно возместить себе это способностью повсюду видеть их.

Однако, чем дольше в ту ночь лежал он с открытыми глазами, чем больше вслушивался в, казалось бы, надежно умерщвленное, так почему-то и не произнесенное слово, тем сильнее убеждался в его спасительной своевременности для мира, после столь долгого исторического бездорожья, наконец-то вступающего в равновесное, на базе здравого смысла построенное царство. Он и прежде опасался, что с катастрофической быстротой происходящая убавка сего загадочного стимулятора, **чуда**, из духовного рациона людей неминуемо повлечет не только духовное истощение человечества, и по нехватке медицинского образования не взялся бы доказывать в проповедях, что всего лишь двукратный в год нетерпеливой надеждой дарованный праздник, **разрядка радостью**, мог бы ослабить роковое пламя из суеверия не называемого вслух недуга, все сильней раздуваемое ветерком благодетельного прогресса. «На что прочные русские мужички, тем же огоньком занялись, а вот уж поманеньку и незрелая молодежь загорается!» И оттого что даже верующему чудо представляется явлением исключительным, при полном-то социализме, когда все образуется по велению не сомнительного, божеского, а проверенного людского разума, то и не станет никаких в этом смысле нежелательных случайностей – ни пропаж, ни находок, также всякого другого обогащения посредством даров, несправедливого наследования либо преступлений, ни презренного уродства, ни зазнавшейся красоты, ни войн и революций, ни печали и воздыхания, а одна **жизнь бесконечная...** После некоторых событий в семье всемерно сторонившийся политики священник Лоскутов и сам ужаснулся бы, кабы смог понять, своему открытию социальной энтропии.

Он еще и потому не поверил своей Дунюшке, что, не мысля категорию ангелов кроме как в церковном толковании, он по нынешним временам счел бы неприличным появление одного из них прямо сквозь стенку или буфет с посудой, безразлично – в хитоне или радужном сверкании, наводящем панику на домашних, канарейку в том числе. Вообще после некоторых принципиальных перестроек, происшедших в его сознании, о. Матвей счел бы кощунственным самое допущение, чтобы крылатый, отменного здоровья, пусть даже **вечный** юнец позволил себе сиять и красоваться перед нищим и немощным коленопреклоненным стариком. Совсем другое дело, кабы тот догадался переступить порог смиренного старо-федосеевского жилища в партикулярном облике, убеждая в достоверности своей доводами рассудка, а не трепетом парализующего ошеломления. В том и состоял канонический, с отчаянием впоследствии осознанный грех о. Матвея, что, распространяя **демократический** принцип общения на всю категорию **сил невидимых**, он наравне с Дымковым давал право посещения и его прямому антиподу.

Вдруг вспомнились неоднократные, за последние полгода, фото- и радиопредупреждения о чем-то чрезвычайном визите и новые тревоги окончательно спугнули непрочный стариковский сон.

– Ай тоже не спишь? – заворочалась рядом Прасковья Андреевна.

– Да вот, не выходит у меня из ума Дунюшкин ангел: что за личность такая? Описать нас с тобой, на что жизнь тратим – не поверит никто.

– И я о том же: вдруг и впрямь приведет с ветра невесть кого. А он, глядишь, беглец клейменный окажется!

– Нам теперь, Параша, никак нельзя промахиваться, головой заплатишь... А и что делать-то? В пачпорт к нему вроде не заглянешь, неловко...

– Да я по нынешним временам с Господа Бога моего документ требую! Я мать, он меня не осудит... – чуть не в голос прокричала, чтоб услышал, и вздохнула.

По свойственному всем гонимым опасению – вдруг услышат и добавят! – она не посмела в тот раз признаться вслух, что **любое** согласилась бы в дом пустить – рай и ад, кабы посулили исполнить одно ее заветное желание: напоследок дней свидеться с ненаглядным одним и, несмотря на все пролитые ночами слезы, так и не оплаканным существом... С утра начатый разговор не возобновлялся, но как ни крепилась в продолжение дня старо-федосеевская попадья, чуть посмеркалось – вдруг принялась за приборку в доме, отослала Егора в кино, сготовила наспех дежурную у них селедочку с отварной картошкой, все выглядывала в окно. Не менее того волновался и о. Матвей по мере приближения назначенного часа, к верстаку присаживался время убить, но игла не шла, только руки исколол. Дуня отправилась было с ведрами на водоразборную колонку, чтобы встретить гостя еще в дороге, но странно для столь раннего часа, хоть бы кошка пересекла улицу! Ангел Дымков не появился ни завтра, ни через неделю, даже открытки не прислал, и Дуня с присущей тихим девушкам безгневной болью придумала какое-то оправдание его небрежности, как попозже простила и самую измену – лишь бы не запутался в какой-нибудь сатанинской западне. Месяца через два Дуня услышала о головокружительной карьере Дымкова – имя его в неожиданном качестве возшло на московском горизонте.

Случилось так, что Дымков по Дунину настоянью согласился хотя бы для виду и выяснения обстановки показаться в институте, где был оформлен по документам. Он отправился туда в середине дня с расчетом к вечеру попасть в Старо-Федосеево на консультацию по добрым делам. Сразу опознавшая Дымкова гардеробщица приветливо подивилась его несезонному загару, а девушка за пропускным столом справилась тоном шутиливой ревности, не окрутила ли его за минувший месяц какая-нибудь абхазская красотка. Несвойственное научному учреждению оживление наблюдалось в институте. Все сновало кругом, вороха ребячьей одежды лежали на столах и подоконниках, а сверху доносился хор писклявых голосов и шестеро лягушат с бантами в косичках глазели сквозь лестничную балюстраду на пристроившийся в углу вестибюля походный буфет, где, оттянув серебряные усы на резинке, дед Мороз срочно впихивал в себя бутерброд с кетовой икрой. Очевидно, после долгого небесного благочиния у Дымкова успело развиться болезненное пристрастие ко всяким зрелищам, порою с опасным уклоном в ротозейство. Едва научившемуся результативно обобщать игру безличного вещества, буквально все у нас нравилось ему не меньше, чем ребенку волшебная смена фигур в калейдоскопе: людской уклад с его бессмысленной взаимно-гасящей суетой представлялся ему самым выдающимся чудом творения. Поэтому, поднявшись наверх, Дымков не пошел к себе в прошлогоднюю пристройку полуэтажом выше, а с вытянутой от любознательности гусиной шеей проследовал напрямик в актовый зал, откуда волнами исходила душная трепетная жара от пылающих, в отмену комендантского распорядка, настоящих свечей и вкусно пахло подпаленной хвоей. Историки будущего выяснят точнее связи Института детского питания с гражданской войной в Испании тридцать шестого года, но только случилось так, что Дымков попал на новогоднюю елку для испанских сироток из подшефного приюта, как раз в антракте праздничного концерта.

Все это чем-то походило на богослужение, да оно и было им. Взявшись за руки, перемежку с затихшими от удивления малютками, видные научные работники и обслуживающий персонал в карнавальных масках, иные с привязанными бородами, с песенкой двигались в хороводе вокруг разряженной, под самый потолок елки. Отпечаток неизгладимого восторга лежал на лицах ребят, но еще примечательней было, что взрослым дядям и тетям не столько хотелось залечить детскую скорбь, как самим забыть что-то неотвязно шествующее по пятам – даже здесь, даже здесь.

Под елочную церемонию отведена была добрая треть зала, остальные же две, включая тесную галерку позади, занимали ряды стульев с низенькой эстрадой в конце. Через полминутки кончился антракт, и по команде Деда Мороза детвора хлынула на передние места. Чтобы не перешагивать маленьких, с пряниками и подарками разместившихся прямо на ковре, пришлось отправиться в обход, через боковую служебную дверь; пока пробирался на скамьи для взрослых, сидевший на чьих-то коленях балованного вида мальчик запросил себе апельсин, как у более проворных впереди, завладевших даже двумя, и чтобы унять шум и слезы, Дымков машинальным жестом благотворителя протянул ему еще более спелый и красивый, взявшийся у него прямо из ладони. Заодно, сожалея о пропущенном, он осведомился у доставшегося ему соседа справа, возможно, из отработавших артистов, бритого обрюзглого старика в куртке с кожаными плечами, много ли уже прошло, и тот объяснил, потеснясь, что из всей программы пока выступил только эквилибрист на колесе Семенов, который в позапрошлом году сломал ногу в Казани, акын политической сатиры из Киргизии и еще виртуоз на этом самом – «ну, чем делают дрова».

– Вы, что, из цирка, филармонии?... Не припомню вашего лица.

– Нет, я приезжий... – сказал Дымков.

– Понимаю, самодеятельность... Я сразу увидел, что **аматёр**, потому что сам занимаюсь тем же делом, – по-свойски признался старик и некоторое время затем сосредоточенно глядел в чей-то жирный затылок перед собою, пока снова не повернулся. – У меня к вам небольшое дельце... Если вас не затруднит, то не сможете ли вы сделать и мне один апельсин для больной внучки?

В ту минуту Дымков отчетливо знал, что тот отродясь никакой внучки и не имел, но ему уже мешала жить на земле эта гадкая, по счастью быстро отмиравшая способность.

– О, у меня много, пожалуйста! – сразу откликнулся он, однако из бессознательной предосторожности достал ему обещанное уже из кармана.

– Хочется порадовать одинокого ребенка, – сказал старик, со всех сторон оглядев полученное. – Но тише, тише... мы срываем детям удовольствие!

На них зашикали с обеих сторон – молодая женщина в чем-то тугом, шелестящем и черном до полу пела про храброго зайку, отстоявшего от прожорливой четы медведей посеянные им для зайчат четыре грядки сахарного горошка. В паузах музыкального сопровождения ноздри ее чуть раздувались в напрасном ожидании успеха, которого не было, как если бы выступала в яслях для грудных, и видимо, по несоответствию песенки и надменной, без толку пропадающей красоты исполнительницы.

– Несчастливая... – внезапно обронил Дымков, – и сама не знает, какая она несчастная! – Когда же ушла, награжденная недружными хлопками, спросил не без удивленья, кто же она – такая несчастная.

Сосед смерил его взором презрения со лба по крайней мере до колен, насколько позволяла теснота:

– Если вы не врете, что приезжий, то вы приезжий с луны. Плюс к тому же красавица перед вами Юлия **Казаринова**, звезда будущего кино... Но вы в самом деле приезжий?

Заодно, смягчась раскаянным видом Дымкова, он обратил его внимание на очередной номер, якобы подготовленный в студии под его личным руководством... Несмешной повар в колпаке стал готовить обед, но в корзинке оказалась всякая несъедобная живность: змея, ворона, ящерица и под конец такой драчливый, не влезавший в кастрюлю петух, что его тут же пришлось разменять на десяток яиц, из которых, едва залили водой, вывелись мыши, не очень белые по причинам частых, на каникулах, сеансов; дети сочувственным молчанием проводили неудачника. В намерении повеселить скучающую аудиторию Дымков и совершил свой неосмотрительный, сверх программы, даже роковой для него поступок.

Эпизод произошел во время выступления некоего Хималаева, покровителя местной самодеятельности и чего-то вроде кандидата соответственных наук, который во имя международной солидарности откалывал на подмостках танец журавля, прищелкивая подошвами и картонным, на бамбуковой основе, клювом. К самому концу, когда исполнитель сделал пару потешных **па** из русской полько-венгерки, прямо сквозь занавеску просунулась внушительная голова с кривым, близ самого носа расположенным рогом, встреченная общим оживлением зала, – мутный зрак в складчатой глазнице и убедительное утробное воркотание выдавали исключительное мастерство артиста. Большинством это было понято как вступительный трюк обещанного в программе номера **трансформации**, состоящий в мгновенном преображении под разных знаменитых деятелей: по-видимому, применительно к юной аудитории предстояла звериная галерея. Уже в следующее мгновение восторженное ликование детворы сменилось криками ужаса среди взрослых, когда, поднимая сорванный занавес, на эстраду поднялось неуклюжее, в полуброне, чудовище и оглядело зал, шумно втягивая воздух.

Замечено было, что, проходя мимо, загадочный зверь подмигнул ребятам, которые стоя проводили его дружными рукоплесканиями в артистическую, где он тотчас же, по миновании надобности, исчез.

По невозможности приемлемого материалистического истолкования случай на детской елке, как и некоторые подобные ему впоследствии, не попал в газеты, а с администрации была взята расписка о неразглашении, но собранные на неделе, по свежим описаниям очевидцев, приметы зверя позволили отнести его к семейству непарнокопытных. По уточнению одной на вечере оказавшейся учительницы-биологички, чуть позже негласно допрошенной специальной авторитетной комиссией, как-то слишком быстро прибывшей для расследования чьей-то неуместной на детском празднике шалости, виновником переполоха был половозрелый, по счастью карликового размера экземпляр индийского носорога, **полупанцирный бадак**. Некоторые отклонения от классического типа, вроде не свойственной виду вертикальной полосатости, отнесенные за счет подавленного психофизического состояния свидетелей, объяснялись неточным дымковским воспроизведением виденного накануне в зоопарке, а именно косвенным наплывом впечатлений от смежных обитателей, что говорит о далеко не фотографической памяти даже у ангелов.

С нескрываемым неудовольствием животное обнюхало аккомпаниатора, который, вместо того чтобы исполнять зарисовки, в причудливой позе лежал близ своего инструмента, затем под ужасный треск проминаемых досок спустилось в зал, причем якобы подмигнуло совсем не испугавшимся детишкам и по образовавшемуся среди зрителей коридору тяжело проследовало в противоположную дверь в буфет, где свободный персонал занимался исследованием колбасно-водочных изделий; и, едва ступив на порог, сильно поредевший атмосферический феномен бесследно исчез. Лишь довольно стойкий, совсем не inferнально-серный, а всего тухловатый, пополам еще с чем-то таким, запах в течение трех дней напоминал о происшествии.

Сразу весь зал загалдел и поднялся, как потревоженный муравейник, и вспомнив Дунин наказ нигде не применять свои способности, ангел уже не посмел уйти невидимкой.

– Вы видите того товарища в углу с напоминающий выражением лица. Он смотрит в нашу сторону. Срочно спускайтесь в раздевалку, здесь будет нехорошо... – вполголоса приказал Дымкову давешний старик и слегка подтолкнул его, растерявшегося, в служебный проход. – Ждите меня у входа...

Когда выяснилось, что пострадавших нет, он, как ведущий программы, громко призвал всех поблагодарить неизвестного шутника за несколько рискованный, хотя и **оригинальный иллюзион**, потом по его жесту бывшего трибуна детишки тоненько провозгласили троекратное **ура** за то, чтобы вечно не затухал факел освободительной борьбы против колониализма. Сам же, едва музыка покрыла его слова, отправился на поиск исчезнувшего соседа. Непости-

жимым чутьем угадывая оптимальный вариант, он вместо вестибюля двинулся в глубь институтского коридора и вдруг, как и иные кончиками пальцев берут муху в полете, толкнул отошедшую дверь предпоследнего кабинета... По ту сторону улицы сияли транспаранты вечернего кино, – в потемках дымковский силуэт четко рисовался на дешевой до полу шторе, а по включении света под нею обнаружили и грязные мужские башмаки. Хотя охотник понимал, что игра велась с огнем, он опять не пошел прямо к тайнику, а принялся заглядывать за шкафы, даже в корзины под столами с целью довести жертву до расслабляющего волю сердцебиения. И значит, неизбежные перемены уже наступали в ангеле, если вполне человеческое заслонило более грозные и действительные средства сопротивления.

Для охотника выгоднее было, чтобы все созрело без понуждения.

– Куда же он тут спрятался от жалкого старика, хитрый шалунишка? – притворно горевал он, присаживаясь на стул посреди, спиной к находившемуся за шторой, и тот хоть и понимал, что уже открыт, вовсе теперь нельзя стало выходить самому, чтобы не признаваться в стыдном и беспричинном мальчишестве. – Или мы так и будем сидеть до утра, когда придет комендант с кобурой у пояса и возьмет нас двоих за жабры?

– Ну, хорошо, положим, я здесь... Что надо от меня? – вполглаза выглянув из укрытия, вызывающе спросил Дымков: именно виноватая развязность его и означала сдачу.

Старик встретил его укоризненной улыбкой:

– Ах, вот он где, разбойник... Ну, идите же сюда. Скажите, вас мама никогда не учила, что надо говорить при виде старших? Так вот, зарубите себе: мне от вас ничего не надо, кроме немножко побранить плюс к тому, чтобы вы со мною ничего не боялись: я **там** все устроил, но не ручаюсь во второй раз. В общем тогда получилось неплохо, если бы что-нибудь помельче, но о многом мы должны еще поговорить.

– Но у меня нет времени... – стал упираться Дымков. – Мне пора уходить, меня давно ждут...

Новая неприятная черточка появилась в лице старика:

– Вы все еще не знаете, что ждет тех, кто вас ждет, если узнают, чего вы натворили... но не в этом дело. Весь вопрос – где? – И в самом деле, **такого** рода переговоры лучше было вести при закрытых дверях, но квартира старика помещалась далеко и не было надежды поймать такси на исходе рабочего дня, а надо было без промедленья закрепить достигнутое **качество** игры.

– Дело в том, что я еще не обедал: то министерство, то студийные экзамены плюс к тому художественный совет... но вот я решил: мы пойдем пить кофе!

Старик протянул руку и магическим жестом, словно склонул, ухватился за пуговицу на дымковском пиджаке, отчего тотчас странное оцепенение охватило его владельца. То был испытанный, в коммерческой практике на юго-западе старой России зародившийся способ волевого поработенья клиента, и заключается он в попеременном кручении обреченной пуговицы в обе стороны с попутным потягиванием на себя, что последовательно вызывает у неподготовленной жертвы сложную гамму ощущений от тревоги до уныния с переходом в безнадежную меланхолию и, наконец, завершается вспышкой исступленного и бессильного бешенства, в которой и сгорает сопротивление, мешавшее заключению выгодной сделки. Единственная защита состоит в ответном отвинчиванье того же самого у противника, о чем Дымков по земной своей неопытности не знал.

– Я же сказал вам, что и без того опаздываю... – подавленно бормотал Дымков, сверху вниз косясь на чужие, проворные пальцы, шарившие, казалось ему, в самом животе. – Мне уже пора ехать...

– Вам никуда не надо ехать, чтоб не поехать в ту сторону, куда добровольно никто ехать не собирается, – безжалостно заговорил ужасный старик. – Плюс к тому мой вам отеческий совет – сделав что-нибудь нехорошо, зачем стараться, чтобы было еще хуже?.. Но не в этом

дело. Вам безумно повезло, что попали на человека, который везде ищет выручить молодое дарование из беды. Моя фамилия Бамбалски, польский игрек на конце, потому что наполовину итальянец!... Вижу – вам это ничего не говорит. Вот еще одна веская улика для следователя, что вы подозрительно издалека. Но друзья зовут меня просто **старик Дюрсо...** тоже нет? Теперь я вижу, что вы действительно приезжий. Нельзя выдавать себя на каждом шагу: я уже стар и не всегда сбоку у вас, чтобы выручить, будет находиться Бамбалски. Наверно, раздевались внизу?... Тогда пошли. Только не бегите: у меня одна нога профессионально короче другой, но плюс к тому плохое сердце.

## Глава XV

Испытывая прочность плененья, старик Дюрсо не только пропустил вперед затихшего Дымкова, но и дал ему выйти наружу без себя, сам же некоторое время наблюдал за ним из-за дальней колонны, как тот прогуливается взад-вперед в своем летнем пальтишке, удерживаемый на месте прочной паутиной деликатности. Погода сменилась морозцем, сжигающий сквозняк гулял в колоннаде и приходилось ежиться, колотить друг о дружку стынувшие ноги, потому что одежда почти не грела старика. То был сохранившийся от последней ссылки, на каком-то бывшем меху, однако незаменимый по количеству секретных кармашков, укороченного типа **полпердончик** в ироническом просторечии друзей; хотя после недавней встряски личная его жизнь налаживалась понемногу, старик Дюрсо не расставался с ним, чтобы не разнеживаться на случай повторения кое-каких эпохальных невзгод. Слезаящимися на ветру глазами взирает он на нового знакомого, величайшую находку жизни, внушавшую ему смутные и радужные надежды, которые еще утром оставалось возлагать на другую, более решительную избавительницу от земных несчастий, и теперь самообладание покидало его от страха, что опять все рассыплется прахом от первого же прикосновенья. Часом позже, уже в кафе, когда удалось подзакрепить их странные, безоговорочные отношения, старик Дюрсо долгой отлучкой на телефон предпринял вторичную дымковскую проверку: совсем было погасшая, буквально из пепла возродившаяся мечта отыгаться за все бывшие поражения требовала особой уверенности в инструменте реванша. И конечно, в тот кратковременный период, пока неба в нем было больше, чем тела, Дымкову ничего не стоило мановением бровей смахнуть любое препятствие с пути, и непротивление натиску смешного астматического старика объяснялось отнюдь не бессилием или напротив боязнью за свое почти безграничное могущество, которому негде было размахнуться в земной тесноте, а только категорическим Дуниным запретом – ни при каких условиях не раскрывать людям своего инкогнито, чтобы самим себе во зло не применили этой тайны, как уже получилось со всеми прочими в прошлом.

– Хэлло, вот и я, – сказал старик Дюрсо, появляясь как из-под земли, – еле нашел свою доху. Пять минут ходьбы, и мы на месте. Через переулок было бы короче, но перегорожено стройкой, а знакомый прораб в отпуску. И вообще считайте, что вы родились под счастливой звездой. Мне удалось для вас отложить одно важное денежное дело, чтобы выделить весь вечер на наш разговор. По глазам вижу, вы тоже не успели закусить, а голодный циркач совсем никуда не годится. Я потому так твердо говорю, что вижу ваше будущее, которое у нас в руках. Внимание, тут под снегом починка мостовой, чтоб не хромать, как Бамбалски. Теперь еще проходной двор, и мы дома в том смысле, что директор кафе мой знакомый, где всегда можно иметь в кредит горячее безопасное питание. Даже представить себе не можете, как я вам завидую, что мне в ваши годы не попался руководитель такого профиля, как я... и тогда, может быть, старик Дюрсо обошелся бы без сломанной ноги. Я не жалею, потому что арена есть такое место, где падают, но у меня другое, у меня лошадь, что в сущности то же самое. Мне не нужно, чтоб вы плакали над моей судьбой, и вообще ничего не надо, потому что, во-первых, займы у вас нет, а во-вторых, я от незнакомых принципиально не беру. Не обижайтесь, но мы живем в такое время, когда можно легко попасть в историю, то есть превратиться в белый порошок. Деньги меня абсолютно не интересуют, все равно на них ничего не купишь, а что касается из-под полы, то у меня опыт, и я лучше подожду. Но если мне действительно от вас что-то хочется, то чтобы вы благодарили меня всю жизнь. Но не в этом дело! В жизни у старика Дюрсо, кроме постоянной койки, осталась одна мечта: это чтобы каждое представление сидеть на **местах**, глядеть на манеж, плюс к тому нюхать застарелый спирт конского пота. Наконец, гремит галоп и выбегает молодое дарование в юбочке, влажная рябая кожа от волнения, цыпленок... Но теперь у нее никого нет на свете, кроме меня, и я шепчу ей глазами: «...кураж, дочка»... Но

опять же не в этом дело! Если только не в подвале с железным окном, то я не боюсь смерть. Мне не нужна роскошная кровать и вокруг с нетерпением ждут похоронить заграничные родственники. Я хочу упасть лицом на манеж в те вонючие опилки, потом вздох и все!.. Но вы не глядите, что старик Дюрсо плачет, как только начинается об этом. Он не виноват, что родился под хрип шарманки, когда шло второе отделение. Интересно, я был тогда совсем ребенок, но иногда мне до боли слышится эта мелодия... не Вивальди, не Бах, но что-то еще сильнее! – И не давая спутнику передышки на раздумье, он фальшиво напел ему несколько тактов. – Цирк моя стихия, и я его верное дитя... только нелюбимое.

Всхлипывающие нотки в голосе заставили Дымкова беспокойно покоситься в его сторону, но, значит, переживание происходило где-то глубже: ни слезинки не виднелось на поверхности.

– Цирк, я еще не слышал такого слова, – неуверенно поинтересовался Дымков, и в самом деле, эта столичная достопримечательность выпала из списка общеобразовательных Дуниных мероприятий, потому что по случаю школьных каникул всю неделю нельзя было попасть туда без особого знакомства. – Что такое цирк?

– Терпение, не торопитесь, всему свой срок, тем более, что мы уже у цели. Осторожно, здесь плохие ступеньки вниз, особенно для хромых и близоруких. И немножко запах при входе, но я нарочно не веду вас в большой ресторан, где дорого и долго. Делового человека подкупает в таких скромных столовых, что можно на ходу, плюс к тому исключительное семейное тепло. И в раздевалке настоящий рогожский старOVER, исключительный по бороде... вот он сам! Привет тебе, Иван Иванов... – дружественно кивнул он, и видно было, что этим условным обозначением он оберегает свою память от засорения. – Тише, ты же мне вывернешь руку. Нет, я еще не забыл: непременно устрою конкурс по бородам, и ты у меня получишь первую премию. Нас двое, но можно вместе на один гвоздь. Как внук, сыпь еще не прошла? Что делать, в этом возрасте все дети любят корь. Совсем забыл, мы же не виделись полгода. Нет, лучше без номерка, я их теряю... Минутку, я загляну сюда, здесь ли директор. – Мимоходом он постучал перстом в угловую, до потолка застекленную конторку, где виднелась утонувшая в кресле и газетой заслонившаяся от мира массивная фигура. – Ты еще здесь, несимпатичный Давтян?.. Тебя еще не посадили за твою вредительскую ноголомную лестницу, старый саботажник? Не порть себе глаза, а лучше взгляни и зачти мне авансом, что я привел к тебе первому показать будущую знаменитость.

Хозяин даже не шевельнулся и в обмен на приятельскую любезность выказал умеренное, с оттенком разочарования, удивление, что тот еще не погиб где-нибудь под забором. Давтян оторвался от газетного листа, когда гость по самые плечи просунулся к нему в служебное окошко.

– В самом деле, где ты пропадал раз-два-три-пять-семь, – посчитал он по пальцам, – целых восемь месяцев?

В ответ старик Дюрсо принялся описывать с красочным юмором бродяги свое последнее горестное приключение, правда, сохранившее его от очередной высылки в местность с суровым климатом. Случилось оно в разгар кампании по очистке столицы от социально-вредных элементов и началось якобы с того, что, проснувшись среди ночи, старик обнаружил свою каморку в наклонном положении над пропастью. Держась за стенку, чтоб не вывалиться, он стал бегать на кухню за водой и успел целых четыре ведра вылить на пол для проверки действительной покатости, когда же поднял голову, то соседние жилыцы в одном белье глядели на него с порога недоверчивым взором.

– Ну и что? – спросил Давтян.

– Так знаешь, на что пустились эти подонки, чтобы присвоить жилплощадь беззащитного старика? Они сообща надевают на него смиренный мешок и по зимнему холоду тащат на просмотр Ганнушкину... Ты еще ничего не слышал про этого старика?... И не надо! Знаешь,

довольно уютно и мягкая мебель, но не с кем поговорить. Пришлось два месяца убеждать, чтоб отпустили на поруки...

Поразительно, что рассказ старика Дюрсо нисколько не тронул очерствелого директора. Он только осведомился, все еще поверх газеты и в третьем лице, что нужно от Давтяна этому несусветному босяку, на что последовал встречный вопрос, найдется ли в его вертепе уголок для приличных людей потолковать наедине.

Гостям отвели тесноватую, зато с мягкой мебелью каморку, из стенного шкафа при царизме переоборудованную в чудесную бонбоньерку для привала особо непритязательных избранников. Золоченым шнуром перехваченная портьерка отделяла ее от общего зала, интеллигентные львы и пальмы красовались на пятнистых непросохших обоях, и если пренебречь кисловатым запахом клейстера, трудно было подобрать более конспиративный уголок для секретного сговора или кратковременного блаженства. Услужаящая девица ловко перевернула скатерть свежей изнанкой наружу и без напоминанья, кроме всего прочего и заодно с бутылкой, принесла фужеры для шампанского, как выяснилось позже – неизменное, даже накануне очередной бури и в период крайнего упадка, пристрастие клиента, надо полагать, для поддержания фамильного престижа. Образовавшуюся паузу старик Дюрсо посвятил глазомерному исследованию сидевшей перед ним загадочной личности. Сравнительно с современниками его столичного окружения, прежде всего по анекдотической уступчивости, малый если и не принадлежал к разряду низших тварей, во всяком случае являл собою существо неполноценное, даже несмотря на феноменально-магический дар и подкупающую склонность беспричинно заливаясь краской смущения. Если бы не тот раздражающий, время от времени, поверяющий взгляд поверх головы, заставлявший старика терять самообладание, оглаживать лысое темя. Начиная с одежды и манеры держаться, весь внешний облик незнакомца выдавал в нем захлавленную провинциальность, несколько облегчавшую начальное освоение находки, но тем труднее представлялось дальнейшее управление ею из-за нередкой у простаков душевной неиспорченности, исключавшей коммерческую сделку в обоюдных интересах.

В нынешнем его, особо плачевном положении, знаменитому в Москве неудачнику было бы грешно упускать из своей орбиты залетевший в нее дар небес, и пока не подыщется малому практическое применение, надлежало срочным образом выяснить деловые и природные параметры последнего. С этой-то целью, не спуская с жертвы глаз, старик Дюрсо и принялся фантазировать на одну давно занимавшую его тему. Причем в рассуждениях его, в самом размахе необузданного новаторства, попутно с действием напитка, различались кое-какие прискорбные возрастные явления. С помощью очередной завиральной идейки, как и некоторых прежних, он снова пытался хотя бы устно, если не в печати, создать себе репутацию непримиримого циркового теоретика, чтобы немножко притормозить свое явственно теперь обозначившееся паденье. Цирк действительно был любимым, даже наследственным делом комического старика Дюрсо, по моде тех лет он рассматривал его в перспективе развития на ближайшие полтора-два столетия. Речь шла о подведении под него новой социально-философской базы с превращением его в масштабную феерию непрерывного действия, чтобы представление длилось не час-другой, а по месяцу и полугоду для ошалевших от заседаний и житейской гонки, стеснения и трепета, причем не в спертom помещении, а на вольном воздухе, для чего полагалось бы оборудовать целый комбинат необыкновенностей в климатически здоровой местности и подальше от очагов цивилизации – со всякими аттракционами, каруселями и тайнами вразрез здравому смыслу... Словом, целый город с самыми запутанными улицами без часов и календарей, да так и назвать бы его **город снов**, где прибывающих прямо у заставы встречали бы милые, смешные и недалекие люди из среды самых отдохнувших, всякие незлобивые силачи в трико, лукавые волшебники, очаровательные феи и просто бескорыстные чудачки и вели их на представление **жизни**. В перерывах все лежат на лужайках, участвуют в бесполезных состязаниях, вроде доказательства очевидных нонсенов в стиле Рабле, едят даровые шоколадные бомбошки и

пирожки с повидлом, время от времени испуская глубокие, расправляющие грудную клетку вздохи надежды, а при желании пускаются и в еще более сумасбродные, при условии безвредности для соседей, похождения, потому что истинное счастье всегда глупое, без всяких мыслей, за которые будет возлагаться штраф по возрастающей шкале в случае рецидива, однако не полный рай, хотя и не совсем хлев, а лишь посезонное, вроде лета и зимы, абсолютное выключение из прогресса и даже плюс к тому чуточку регресса только без перегиба, чтоб не получилось нехорошо. Причем для такой программы потребуется гораздо меньше миллиардов, чем на одну современную войну или, не менее того, обстоятельную революцию, ибо все равно, едва отгремит последнее сражение, расстреляют подвернувшихся под руку, поставят монументы и опубликуют успокоительные хартии о том, как трудящиеся начинают копить денежку и священное недовольство на что-нибудь уже похлеще. И пока бывшие, вышедшие в тираж, солдаты, дружно и дисциплинированно, как положено героям, согнивают в своих братских уединениях, дипломаты и генералы уже выпивают и закусывают в теплой дружественной обстановке, составляя блицпланы и союзы в оправдание своих окладов и ассигнований. Таким образом, со стороны взглянуть, прогресс в самом разгаре, и все находятся при исполнении служебного долга, а на повестку получается сплошной кошмар плюс к тому дороговизна, а в заключение – всеобщий **пшик**. У старика Дюрсо много врагов на свете, но самому злейшему не пожелаю, чтобы хоть внуки его дожили посмотреть тот заключительный пшик!

Универсальные и, как легко заметить, местами не до конца продуманные планы свои старик Дюрсо излагал во всепланетном масштабе и с запросом, но охотно пошел бы на значительные сокращения при малейшем согласии с противной стороны. Однако, невзирая на вкрадчивое красноречие в сочетании с угрожающими интонациями, ему так и не удалось достучаться в сердце собеседника.

– Слушайте же, – возмутился он наконец, – вы мне буквально действуете на нервы. Я далеко не силач каждую минуту тащить вас к себе за рукав. Я говорю, все говорю... но отзовитесь же оттуда хоть немножко, чтоб не получилось, будто я треплюсь мимо и мимо, как пономарь.

– Поймите же, у меня срочное совещание, – отбивался Дымков. – И право же, ужасно тороплюсь...

Тот призывающим взором обвел львов на стенах, и лишь плечами пожал в ответ, как бы призывая их в свидетели:

– Чудак, он думает, что если безумный старик подарил ему целый вечер, значит, ему некуда больше торопиться, но не в этом дело. Тогда я хочу вас спросить – **в чем?**

– У меня важное дело... – почти запекшимися губами простонал Дымков, еле сдерживая волю, вопреки Дуниным запретам, единым дуновением, смахнуть препятствие со своего пути.

Была также сделана слабая попытка подняться с места, в ту же минуту, рискуя остатком дней, старик Дюрсо надвинулся на него вместе со стулом и мужественно взялся за самую на его пиджаке ненадежную пуговицу и без того еле державшуюся на нитке.

– Ну, хорошо, хорошо, – сказал он тоном уступки и снисхождения, – я же не отказываюсь выслушать, что у вас там за совещание... и, больше того, вы можете ничего не скрывать мне как педагогу. Не стесняйтесь, у меня есть для вас время, какие у вас там дела на очереди?

И опять настолько глубинным оказалось мистическое воздействие на психику через пуговицу, что мгновением позже от наложения пальцев угнетавшая Дымкова картинка томящегося в ожидании лоскутовского семейства сразу отодвинулась куда-то в безгласную даль.

– Мы намечали обсудить... – виновато замялся Дымков, – программу добрых дел.

Преклонив главу на бочок, с миной долготерпения старик некоторое время вникал в накиданную с Дуней накануне программу неотложных благодеяний для страждущего человечества, потом мановением пальца остановил на полуфразе.

– Довольно, мне не надо много слов, кое-что я уже ухватил... и не подумайте, будто я против. Это совсем не плохая, свежая мысль, чтобы всем было хорошо... кроме того, если находятся, которые собирают негодные почтовые марки, то чем хуже добрые дела... виноват, вы, наверное, имеете в виду **всеобщее счастье**? Одно время, после революции, когда началась большая перековка, меня тоже потянуло делать что-нибудь полезное для человечества, но вопрос встал – из каких средств? Скажите, как старому другу, это вы собираетесь на казенный или, наоборот, за свой собственный счет? Если тем заняться по должности, можно нажать крупные неприятности, потому что прибавочное счастье к зарплате – те же деньги, что означает сверхсметный перерасход с нарушением финансовой политики плюс к тому не только начальство, самые обездоленные будут коситься, сколько у вас самого прилипло сюда, – усмехнулся старик Дюрсо и показал на ладонь. – Как правило, для чиновника порыв сердца нередко приводит к судебной скамье... но, как мудрец, на базе пережитого опыта не советую творить добро из личных сбережений. Во-первых, сразу подозрение – **откуда**, а во-вторых – **кому?**.. Протянутые ладони у всех одинаковые, а сквозь слезы сострадания не видно – чья, и таким образом неосторожный грош становится уликой содействия кому не надо, и вот уже собрался военный трибунал... Конечно, надо глядеть на вещи шире, в государственном разрезе... но, видите, если верить провозвестникам, и я с ними согласен, что небесного счастья нет, но зато земное вполне вещественно, значит, в рамках товарного индекса подлежит распределению в централизованном порядке, и тут встает проблема не только планового, но и целенаправленного счастья. Я спрашиваю вас с ихней точки зрения, можно ли позволить, чтобы на фоне классовой борьбы, когда вокруг лежит кровавая роса великой перестройки, какое-то подмоченное лицо, скажем, никому не нужный поп, и вдруг выигрывает по лотерее ценный предмет, который мог бы стать для иного старательного труженика не только орудием поощрения, и тот в очередной пятилетке превзошел самого себя, но и оптимистического поднятия жизненного тонуса, когда люди вдвое ценят каждый глоток воздуха, чем имели его просто так при экономическом хаосе отжившего капитализма. Иначе для чего революция и что на **это** скажут беззаветные мученики, отдавшие, чтоб все было в ажуре насчет высшей целесообразности... но не в этом дело. Хотя я не политик, но все равно открою по дружбе, выскажу немножко свое сомнение. Вполголоса говоря, если выючных лошадей на таком крутом подъеме досыта перекормить, то, вы думаете, **они** вам скажут мерси? Скорее наоборот... И не подумайте, что я отговариваю, напротив, только интересуюсь помочь. – И вдруг тоном беглого покровительственного любопытства пригласил молчаливого собеседника поделиться наконец соображениями, откуда теперь уже вдвоем, так сказать в четыре руки, станут они пополнять свои благотворительные фонды. – При нынешних контингентах человечества, учитывая пробуждение колониальных стран, потребуется почти неисчерпаемый источник, то я как будущий соратник должен быть в курсе или нет, что у вас имеется на виду?

– Видите ли... – слегка замялся Дымков, памятуя Дунины наставления накануне, – мне запрещено разглашать посторонним до поры, по крайней мере, наш секрет.

– Во-первых, я уже не посторонний, но плюс к тому мне интересен ваш секрет скорее с юридической стороны, чем для себя. Лично у меня все есть, мне ничего не надо...

– Ладно, я скажу, – доверчиво улыбнулся Дымков. – Здесь имеется в виду просто-напросто чудо.

Как ни хотелось – в подозрении злого розыгрыша, было не только глупо дважды переспрашивать у несомненного обладателя названного дара, но и опасно на случай чужих ушей:

– Порядок, молчу, все понятно... – поспешил Дюрсо с пояснительным жестом, словно затыкал бутылку, чтобы не испарялись зря таинственные чары.

Вслед за тем, наугад и для разведки несколько произнесенных им фраз должны были показать, что автор их тоже, наравне с прочим человечеством, ощущает нехватку данного витамина в житейском пайке, хотя, казалось бы, весьма прозаическая внешность старика полно-

стью исключала голодание по духовной части. Отсутствующей Дуне было явно не под силу состязаться со сверхсатанинским красноречием старика Дюрсо, каким пользуются в подворотнях для приманчивости предлагаемых ценностей. Впрочем, по своим еще нерастраченным возможностям Дымков без труда распознал бы шарлатанскую уловку, если бы тот хоть чуточку не верил в действительность своих гуманистических соображений. Полуприметная таблетка, которую старик между делом жадно слизнул с ладони, убеждала в непротиворечии его волнения, и хорошо еще, что Дымков догадался послвинуть посуду с прилегающей части стола: временами жестикулирующий старик походил на тысячерукое индийское божество.

И вот приблизительное содержание той умопомрачительной тирады. «Чтобы продлить людей в их гонке к счастью, давайте им хоть изредка сверх нормированной зарплаты, без обвеса и фальсификации, маленькую дольку иррациональной радости, пусть лишь недолговременное озарение скрытого ее наличия в мире... Ладно, даже ничего не надо, только не отнимайте у них самого права на гипотетическое допущение, что однажды, тысячу лет спустя, откроется математическая, в долях процента, вероятность какого-то слепительного чуда...»

В передаче этого эпизода сам рассказчик Никанор назвал описываемую вспышку воплем стихийного идеалиста, раздеваемого под мостом эпохой до исподнего в тихий морозный вечерок. Но вряд ли столь законченный скептик с оттенком цинизма мог самостоятельно додуматься до таких жизнеопасных ныне утверждений, будто душа живет не обладанием добытого, а подсознательным влечением к чему-то заведомо непостижимому. Или – что движущей силой человеческого прогресса является не развитие усложняющихся производственных отношений или ненасытная тяга разума ко все новой информации, а будто бы влечение к некоей первородной тайне, одинаково содержащейся в недрах материи или неизвестности неоткрытых материалов. Вообще трудно воспроизвести текстуально его трагикомическую импровизацию, составленную не из чередующихся логических звеньев, а скорее набора экзотических восклицаний, эстрадных ужимок и астматического свиста, отчего сама идея воспринималась как единое лексическое пятно с таким уморительным синтаксисом, что нельзя было удержаться от смеха. Но хотя наиболее забавный, одновременно – криминальный абзац прозвучал чересчур громко, даже небезопасно для тех лет, более располагавших к шепоту, то почему же, почему ни одна харя не улыбнулась тогда – ни среди застывшего за портьеркой обслуживающего персонала, ни за ближайшими столиками в кафе.

Допущенная им неосторожность невольно наводит на мысль, что вдохновенная вспышка старика Дюрсо не обошлась без чьей-то властной подсказки, верно – во исполнение коварнейшего плана завлечь неоглядевшегося ангела в довольно дурацкую авантюру. Если же в согласии с передовой наукой отвергнуть участие нечистой силы в их беседе, значит, и впрямь давняя, всем людям свойственная горечь какого-то неосуществленного мечтания плакалась теперь голосом неудачника, к тому же с довольно неприглядной биографией. В тогдашних обстоятельствах дымковское появление само по себе являлось для него величайшим чудом, и пренебречь хотя бы и сомнительной находкой значило жестоко обидеть фортуна, на закате дней улыбнувшуюся ему из-под сгустившихся житейских тучек. Во всяком случае, до выяснения обстоятельств и следовало, не выдавая незнакомцу своего почти подавленного восхищения, принимать всего лишь за ремесленную категорию его таинственное ремесло.

Старик Дюрсо забавно пожал плечами:

– Я не знаю, просто анекдот... После всего вписанного мне в досье на Лубянке я еще оказываюсь философ-гуманист вдобавок, что при астме совсем ни к чему... но не в этом дело. Вы думаете – я не понял давеча, с апельсином, что вы абсолютный гений своего жанра? Не хочу омрачать вам праздник юной жизни, но я увидел плюс к тому, что нездешний и если руку помощи не протянуть, данный товарищ не успеет даже чихнуть, как уже покойник. Теперь скажите, что должен на моем месте делать человек на берегу, если он спешит на важное свидание, как вдруг кто-то тонет у него на глазах... не имея представления, что по существу без

пересадки идет на дно? Поневоле вы мне становитесь хуже, чем родной... все еще непонятно? Хорошо, я вам раскрою пошире! – Старик Дюрсо неторопливо извлек из кармана и с лукавым прискорбием издали показал Дымкову его неосторожный давешний дар. – Вы узнаете эту загадочную штучку? Этот апельсин просто бомба в смысле разнести в пыль тот новый фундамент, который они закладывают уже двадцать первый год. Похвально отозваться на звук больного ребенка, но зачем призывать нечто похуже на себя? Вы просто не в курсе дела, но я немножко обрисую обстановку, и вы поймете. У нас все живое имеет при себе бывшую входную дырочку, через которую вылез в мир... выходная пошире, но подробности потом! Меня не интересует – кто, откуда и как, но скажите, если симпатичный молодой гражданин в матросской тельняшке, с прыщами цветущей юности на лбу спросит на ту же тему плюс к тому пристукнет костяшками об стол, то вы не сумеете ему показать на вашем апельсине тот обязательный паспорт бытия под названием **пупок...** Тут волокиты не бывает, вы меня поняли?

Несмотря на мой вкус, я как-то не раскрылся пока как режиссер, но скажу начистоту, мне вообще не понравился весь номер с носорогом в смысле оформления. Хотя я не против юмора в наших зрелищных предприятиях, но каждый юмор не должен иметь потом тяжелую психическую депрессию. Вы, надеюсь, заметили, как ваша шутка отразилась на аккомпаниаторе, когда на него полезло оскаленное чудовище с рогом на носу? На беднягу страшно было глядеть!... Но не в этом дело. Кроме химической чистки брюк, мог легко получиться перерасход на похороны. И даже не в том дело, что могла невинно пострадать полдюжина испанских сироток, а в том, что вы нахально опровергаете весь материализм, начиная с Демокрита, если не дальше, замахиваетесь... знаете на кого? А за такую вылазку праведники с железными анкетами найдут подходящий способ расшатать вам здоровье. Вот я вам достану на днях почитать **Анти-Дюринг**, то вы ужаснетесь, чего натворили без меня. Если за подстроить железнодорожное крушение человеку надолго делают нехорошо, то что полагается за сокрушение идей? Другое дело, если под рукой имеется компаньон, быстро прикинуть в уме, подвести под ваши действия правильную философскую базу. Я надеюсь, теперь вы поняли, зачем вам требуется опытный наставник с большим жизненным охватом, как я, у которого вообще масса неиспользованных замыслов. Например, я тоже, как и вы, давно хочу подарить человечеству один полумедицинский совет, имеющий серьезное государственное значение, но мне не надо памятник в виде бутылки с надписью **Абрау-Дюрсо**, чтобы потом смеялись, лучше возьмите просто так меня самого в придачу. Плюс к тому мое лекарство не от болезни, а от смерти, которая, если мне не изменяет чутье, караулит нас вон за тем углом... но здесь надо коснуться немножко издали. Несмотря, что я никогда не касаюсь политики, но, конечно, такое лучше обсудить в закрытом месте, но я живу в одиноком беспорядке, почти как Диоген, и пока доедешь до моей несчастной бочки, то основная мысль пройдет. Главное, не ловите меня, будто я вовлекаю вас в подпольную аферу или церковный дурман... я сам глубоко неверующий человек и согласен с передовым воззрением, что жизнь является одной химической перегонкой вещества под влиянием солнечной энергии, так сказать, из одной пустоты в другую. Но если вы уже обратили внимание на шум от всяких там сплетающихся законов из-за всякой мелкой ерунды, просто какие-то колеса машины, то скажите мне, как мудрец мудрецу: какой товар окончательный вырабатывается на этой печальной фабрике и что с нее имеет сам фабрикант? Если там делается человеческий вздох и, положим, он накапливается в жилах как старая болячка, вроде накипь, отчего получается склероз души, то зачем?... Но даже и не в этом дело. Меня больше мучит вопрос, можно ли действительно хоть немножко подправить в застарелом организме природы плюс к тому с такими зубами, как у ней. У вас не хватит пальцев, включая ноги, пересчитать, сколько разных деятелей она перекусила пополам, когда хотели залезть внутрь даже для маленькой переделки. И я не виню, ей просто неприятно в животе, когда что-то делают обыкновенной отверткой. Делается не по себе, когда смотришь на глобус, если его оставить в прежнем капитализме, но страшно подумать, с другой стороны, если провести мероприятие как намечено,

до основания, то что останется затем? И довольно странная манера: как только чуть один придумает к лучшему, другой сразу делает ему вразрез; и потом внучата в полном составе крушат бомбами взаимную работу... Я далеко не Маркс, хоть и проходил в лагере неполный практический университет политграмоты без отрыва от тачки, не буду настаивать, что свежая мысль, но почему-то невольно хочется закричать на весь мир: слушайте, а стоит ли менять весь мотор на полной скорости в неизвестной горной местности, а может быть, достаточно наполовину? Я понимаю, если такие идеи выразить художественным голосом, можно сесть куда следует на добавочный срок, но лично меня уже не пугают шаги социализма, и вообще никто не возражает, что все люди станут однажды, как боги, дураки в том числе, но у вас нет опасения, что получится нежелательный перегиб в балансе. В науках тоже бывают достижения ума, что умнее не достигать для здравоохранения и высшего гуманизма. Я хочу спросить, лично вам не жутко, что тогда из богов, на сытных хлебах расплодись, как мухи, может получиться затруднение в смысле дальнейшего развития? Давайте подходить к будущему как взрослые деловые люди. И вообще, надо ли закрывать ум на замок, когда уже достаточный прогресс, чтоб не получилось в обратном стиле? Приходит новый грандиозный пророк и без разрешения милиции открывает что-нибудь еще лучше, с риском, что возможно и вдвое наоборот. Я понимаю, непременно во избежание вреда придется с ним поступить постороже, например, расстрелять до поднятия шума, как придумал один иудейский царь, римская марионетка... но здесь меня интересует чисто технически, как его угадать – пока не родился, потому что будет затруднительно взять его на мушку за чертой времени, когда по окончании сеанса мы с вами очистим зал, уступить место которым еще теснятся за дверью. Я просто слышу в нашей обстановке, как потомки напирают сзади, неприлично ломятся, барабанят в дверь ногами, спать не дают: делается ничего не жаль. И вот уже получается – нет товара дешевле жизни, чтобы заткнуть щели, отбиться от будущего. Сегодня иду на затычку я, завтра ваша очередь, а затем гуртом остальные. Теперь пусть на минутку старик Дюрсо будет генералиссимус, думаете я бы стал иначе? Старый мир далеко еще не пылает, как ему предписано, но раз это обреченный Содом и надо всем уходить в суровую праведную землю, то я бы тоже запретил потомкам оглядываться на покидаемые приманки и сладости... но будто родились заново и ничего не было позади. Поверьте, уж я-то по себе знаю, чего только нет у **них** в мозгах, так и шныряют глазами по углам, лишь бы уклониться от наступающего материализма. На днях звоню одному видному полусоратнику поговорить с мадам, наши семьи с детства встречались по Киеву, так мне... теперь дайте сюда поближе ваше ухо! Так мне, представьте, выжившая из ума приживалка, верный пес, сдуру отвечает прямо в телефон, что никого нет дома, поехали на дачу ценности прятать. У нас в цирке это называется табло, в смысле – скандальная картинка. Недаром сажают не за действие, берут за мысль, пока не успели завербоваться к золотому тельцу на рога... потому, что для умного человека лучше потерять только душу, чем заодно тело и капитал. Но здесь начинается историческая необходимость и надо немножко объяснить, если вы не в курсе как приезжий, а сперва дайте маленькую передышку закусить, я еще не обедал. Каждому свое, у Давтяна сосиски с капустой. Советую и вам, пока совсем не остыло...

– Я не хочу, – сказал Дымков, с отвращением глядя на благоухающие сосиски на тарелке.

– Вегетарианец?

– Нет, я вообще мало ем...

По очевидной привычке обедать на бегу, старик Дюрсо чуть не залпом проглотил свою порцию, дымковскую заодно, залил обе чашкой кофе вперемежку с шампанским, правда, в количестве нескольких глотков для поддержания престижа и артистической клички. Порозовевший лоб заблестел в испарине, а на висках набухли опасные жилки и, вопреки логике, менее неряшливой стала речь.

– Мне далеко неинтересно **откуда**, – продолжал он, утираясь бумажной салфеткой, – но скажу вам по дружбе, вы к нам попали не совсем удачно, когда, ухватив друг дружку за

**шкирку**, как любит выражаться нынешний руководитель наших цирков, мы осуществляем нынче всесоюзную пропаганду за всеобщий оптимизм против недоступной усталости, когда человечество перебирается на квартиру попросторнее, если верить поэтам. Такие переезды случались и раньше, но у прежних пророков не было столько пастырей, когда сквозь пыль от множества ног не видна до конца наступающая шеренга, не говоря про топографические прочие обстоятельства. Тогда что? Я не требую сразу ответ, хотя знаю, что вы скажете, но все равно не перебивайте, лучше я назову сам. Не подумайте, что смеюсь: да, мобилизация внутренних ресурсов, но не в том смысле, что вы думаете, а как раз наоборот. Есть только одно такое слово, оно как крыло – лететь и не упасть, упасть и не разбиться, разбиться и не умереть. И здесь я не виноват, что от старости у меня развилась дурная привычка говорить красиво... Есть слова, которые нельзя говорить просто так: алмазы кладут на черный бархат, чтобы видеть игру, королям предшествует свита, гроза любит одеваться в молчанье, но тут требуется целое море тишины... но не в этом дело! Данное слово соединяет нас как пароль, мне не надо повторять, вы уже назвали его...

Похоже было, неисправимый скептик, он медлил, может быть, трусил произнести вслух, особенно в присутствии Дымкова, самое пленительное когда-то, но вот уже полностью развенчанное и вылущенное слово, потому что только оно и могло скрасить черные деньки старика Дюрсо. Самое понятие чуда, вырождавшееся на глазах, хоть и употреблялось порой в речевом обиходе, но главным образом применительно к успехам науки и техники, кухонной утвари и стиральным порошкам. Но, значит, великая тоска по нему еще витала в воздухе эпохи, если тезис о насущной, живительной необходимости какой-то сверхнадежды так властно возникал на противоположных, казалось бы, флангах тогдашнего общества. Чудо нужно людям как хлеб и воздух, они чахнут без чуда, порой оно нужнее хлеба, но это опасная вещь для постоянного хранения при себе... Чудо – это когда не знаешь, как это сделано.

– Мы еще застанем посмотреть, что станет с человеком после отмены чуда. Конечно, видно и теперь, но еще не совсем. Орешки будут потом. Все одно, как если поржавеют все трубы и станет вытекать наружу. Пить, красть, ненавидеть плюс к тому вошь...

По его словам получалось, что из человека вместе с социальными рудиментами прошлого выпотрошили надежду на чудо, право на тайну. А без тайны и чуда не может жить человек. Впрочем, муравьи ходят вовсе голые, не испытывая при этом нравственного ущемления. Человек должен иметь абсолютное право на чудо и тайну.

Вдруг в приступе какого-то насильственного вдохновения, едва не стоившего ему жизни, размахнувшийся оратор выдал одну за другой две очередные и по отдельности одинаково недоступные для восприятия **словесные мочалки**, при стереоскопическом совмещении образовавшие почти стройную формулу – что лишь безоговорочная вера в чудо, хотя бы в земном его начертанье, способна доставить герою бесчувственность к обязательной боли, в преодоленье которой и заключается подвиг. Самое слово было употреблено как последнее средство продлить человеческий полет перед окончательным уже приземлением; подразумевалось нравственное оскудение и кое-какие логически связанные с ним перемены. По строгим отзывам, правда, главным образом пожилых лиц, стремительное техническое обогащение, временно избавляющее род людской от неизбежных завтра потрясений взрывающегося множества, ни в малой доле не возмещает ему попутно утрачиваемых качеств и добродетелей: не стоит приводить полнее их воркотню, обидную для современного прогресса. Вреднейшая их теория, легко опровергаемая хотя бы рекордами спортивных олимпиад, например, прыгунов и штангистов, вообще настолько противоречит всему облику старика Дюрсо, что остается предположить, как уже случалось на нашей памяти, присутствие незримого подсказчика. Последняя догадка подтверждается и подозрительным сходством помянутой ахинеи с, позднее и в частной беседе, высказанным мнением одного современного корифея, что и без того полуконтрабандный сегодня орган, так называемый **дух человеческий**, в недалеком будущем окончательно

выболеет под натиском разоблачительного реализма и улетучится восвояси, в голубые небеса, чем, однако, не следовало огорчаться, так как вместе с улетающей пустышкой сгинет навечно и пресловутая печаль земли. По личному вдохновению Дюрсо прибавил, что поелику религия и магия, сводные сестры и соперницы, всегда питались из одного источника, то с отмиранием первой вторая успешно заменит ее у поверженных алтарей и, в силу указанной потребности, выйди теперь площадной фокусник к благоговейно затихшей толпе, она и его вместе со жреческой мантией надела бы ореолом мессианства... Похоже было, что, кроме высших философских побуждений, старик искушал Дымкова и соблазнительной легкостью карьеры.

– И даже не в этом дело! – подавляя в своей жертве возможные колебания, сделал он очередной ход конем. – Как сказал – вы знаете кто, – каждый своим путем борется за благо человечества... я тоже. И тут все настолько очевидно, что вопрос ставится не **зачем** и **как**, только **где**? Мне приходят на ум только две площадки развернуть ваше дарование: первое – **церковь**, но там вы имеете удобный шанс погореть в тот белый порошок со второго сеанса... Не знаю насчет вас, меня лично так не может устроить. Зато вам открыта прямая дорога в **цирк**, куда специально платят высокую цену посмотреть аттракцион насчет законов равновесия или вообще что-нибудь против здравого смысла, это два. Насколько я уловил сначала, вас тоже интересует большой гонорар, и здесь нельзя не согласиться, чтобы не кинуть тень на святое дело, как иногда среди духовенства, где ничего не достанешь по доступной цене, не важно – молитва или приношение... но ведь совсем бесплатно может еще хуже вызвать подозрение. К сожалению, когда деньги и здоровье кончаются немножко раньше жизни, это создает громадное неудобство и плюс к тому мы с вами не ангелы, чтобы не кушать...

– Но я как раз ангел... – из чисто провинциальной честности тихо вставил Дымков.

Несколько мгновений, остановленный в разбеге мысли, Дюрсо взирал на него озабоченным взором, прикидывая разные предположенья, но они все настолько осложняли обстановку, что лучше было пренебречь его признанием до поры.

– Понятно, – царственно отмахнулся Дюрсо, – но не в этом дело! Если бы даже я знал секрет делать из-под полы драгоценные камни или в том же роде, я родному сыну не посоветую раздражать государственный аппетит... Чтобы овладеть небом, надо расстрелять чудо на подступах к нему. Вы тоже хотите стать мишенью? Нет, не в смысле Колымы или еще подальше. Но, скажите, вам очень не терпится превратиться в золотопромысловую базу на дому, пускай, со всеми удобствами, но в три смены и без выходных? Имейте в виду, я сразу учел весь диапазон вашего жанра, еще когда вы случайно нагнулись поднять вилку, и она сама с полдороги пошла к вам в руку... думаете, я не заметил? Как честный человек, я вам вполне сочувствую и сам хотел бы для удобства при моем животе, но что подумает про вас какой-нибудь заслуженный комендант с железной анкетой, целиком посвятивший себя искоренению идеализма на земном шаре!.. Так вот, если вы не можете удержаться на почве нервов, чтобы не скрутить какую-нибудь штучку, то на манеже вы получаете лояльную оборудованную точку делать любой иллюзион под носом у самого товарища Скуднова и без риска в трибунал. Потому что в цирке чем невероятней, тем шире овация и ангажемент... разумеется, если гарантируется одна ловкость рук без никакого Бога. Под шумок сойдет немножко мистики, пожалуйста, чтоб не слишком дразнить гусей при исполнении служебных обязанностей. Здесь не бойтесь, я буду всегда под рукой, чтоб подвести правильную философскую базу. Идеология плюс вопросы юридического оформления – это я охотно беру на себя. Главное с чудом, чтобы всегда не досыта во избежание привычки плюс к тому сойти с ума, а ровно на один вздох, сделать публичке маленькую надежду и снять... Как запасной выход в кино, когда сбоку виден немножко красный фонарь на случай пожара. Даже не надо портить здание, если нельзя, пусть маляр нарисует вроде двери, и полный порядок. Но хуже нет будить напрасных ожиданий, когда просыпаются все болячки: это же люди! У вас не будет отбоя, может получиться Ходынка с массой смертных случаев. Им протяните руку, они выдернут ее вместе с плечом. Натуральное чудо и

в гомеопатической дозе страшный яд для повреждения всей цивилизации в целом. Помните у Пушкина: ангел летел и тихо пел, а дайте ему погромче, так они нахлынут к вам прямо из-за границы, в них проснется зверь... не поручусь и за ветеранов Гражданской войны, неоднократно проверенных через отдел кадров. Напротив, бывает такое время, что надо не только чудо или ценность, даже ум подделывать немножко наоборот, чтобы не вызвать раздражение. Умная камбала гримируется под песок. И не надо падать духом. Чудо, как вино, можно разводить водой: золото, когда в нем вдвое меди, все равно считается золотом. И в этом разрезе у меня уже кое-что складывается в голове, всякие **репризы** и **антре** посмешнее, причем в оркестре пустим посерьезнее... нам не нужен Вагнер, но и не галоп, а лучше всего скромная, как на эшафоте, барабанная дробь, – у меня задумано, чтобы сразу мурашки по коже. Словом, я беру на себя сделать вам сенсацию всех времен и народов. Не могу сказать наперед, начиная с какой гастролью, но в короткий срок наши с вами автографы будут иметь хождение наравне с кредитными билетами... На сегодня достаточно, остальное доскажу вам завтра! – Он залпом допил кофе и тусклым вопросительным взглядом справился у Дымкова, как тому понравился его длинный беспардонный треп.

Нельзя было отказать в стихийной логике изложенному плану, который, в общем, сводился к установлению целительного контакта с истосковавшимся человечеством; благоденствие предназначалось как для зрителей с оплаченными билетами, также и контрамарочников. Требовалось вначале безобидным цирковым трюком, с перехлестом в заведомо невозможное, затеплить им свечу надежды в житейской мгле, а дальше душевное пламя само расплывется по закоханным душам и коммунальным квартирам наподобие тех освященных огоньков, что в пригоршнях когда-то, после вербной вечерни, разносили по домам бородатые предки москвичей. Стремясь понаглядней передать живописный и варварский обычай туземцев, Дюрсо с помощью обычной зажигалки, перед носом у Дымкова изобразил целое шествие трепетно, на просвет, розовеющих фонариков, и оба хода, вправо и влево, тот скошенным замороженным взглядом проследил за движением волшебной штучки в пальцах искусителя. Неизвестно, насколько дошли до его сознания изложенные гуманистические доводы, но дымковское внимание куда больше привлекала эта, волшебный огонь производящая, вещица, как, впрочем, за минуту перед тем забавляло, заставляло в рот к Дюрсо заглядывать кастаньетное прищелкивание вставных челюстей.

Характерно, что, предлагая ангелу Дымкову свое сотрудничество в качестве администратора, Бамбалски сам не верил в чудо как средство изменять логику действительности. Считая чудо исключительной привилегией Творца, в бытии коего сомневался, полагал он, что повторное вмешательство Его в свое собственное творение с целью частичной поправки обнаруженного недосмотра, уступки ли под напором чьей-то настоятельной молитвы в обоих случаях повлекло разрушение системы в целом и самоубийство Бога через отмену самого себя.

В тот вечер старик собрался было навестить одну популярную в свое время воздушную полетчицу, одинокую и глухую ныне пенсионерку, – помолчать, поделиться сплетнями о нынешних выскочках вроде каверзного Преснякова, поглядеться в невозвратное зеркало прошлого... словом, подсластить горечь скопившихся обид, когда старуха, испуская облака табачного смрада, с перханием и слезой непременно помянет славу и благолепие, кнут и ласку незабвенного Джузеппе Паскуальевича, а заодно передать полуприятельнице давней молодости заваливавшуюся у него давно обещанную зажигалку.

Правильно оценив дымковский интерес к загадочной штучке, Дюрсо устроил показательное чирканье перед самым его носом, и когда из-под магического колесика рождалась искра, тот вздрагивал и потом, откинувшись к стенке с улыбкой привыканья смотрел на пламя.

– Что у вас там... – неуверенно показал он, – тоже чудо?

– Да, но не совсем... просто машинка зажигать печку, трубку, костер... вам нравится? Берите, теперь это ваше.

Он не преминул подарком закрепить намечавшееся сближение, хотя благодарное дымковское оживление и нельзя было считать начатком дружбы. Близилась пора расставаться по меньшей мере на сутки, а предполагаемый компаньон не выразил пока согласие на участие в операции по спасению человечества. И, чтобы не оставлять ненадежного парня наедине с укорами совести по поводу обманутых старо-федосеевцев, старик с ходу переключился было на программу их дальнейших, отныне уже совместных действий, но после того нечеловеческого монолога силы то и дело покидали его, и всякий раз, как останавливался слизнуть очередную крупинку чего-то, в полной красе представала перед ним фантастическая конструкция задуманной **липы**; впрочем, увлеченный освоением пленительной безделушки, Дымков вряд ли вникал в расплывшуюся стариковскую речь.

Некоторые, с миросозерцанием связанные сомнения насчет природы наблюдаемого феномена мешали выбрать окончательную тактику в отношении его носителя.

– Кстати, из-за плохого слуха немножко не дослышал вашу фамилию... простите, как вы сказали, Дымков? О, проклятый склероз: ведь я же собирался спросить про адрес... – поправился он на тот случай, если бы Дымкову еще до завтрашней встречи понадобилась его помощь.

Все это время тот с детским упорством чиркал зажигалкой, не мог наглядеться досыта на укоротившийся, погрязневший огонек, пока перестала рождаться искра, а следом остановилось и колесико.

– Больше не горит... – пожаловался Дымков вместо ответа, и достойное юного Гаутамы невинное огорчение, прозвучавшее в последующем вопросе, отлично рисует его девственное состояние на старте, откуда впоследствии стал он набираться ума и житейского опыта. – Это он умер?

Старик Дюрсо покровительственно протянул руку:

– Дайте мне сюда, я его вылечу.

– Но завтра вы вернете? – противился тот, пока старик не успокоил его доверительным признанием, что он и сам до некоторой степени волшебник.

– Правда, не совсем полный, – тотчас оговорился он. – Но я не виноват, у меня сложилась тяжелая жизнь. Когда в больнице, где я лежал с прокушенной ногой, то немножко занимался черной магией. Волшебник Элифас Леви, не слышали?... **Энхиридион** папы Льва, Клавикул царя Соломона... все это я прочел взад-вперед. Отсюда меня не устраивают черные ящики с двойным днищем для лилипутов плюс к тому складные лиловые букеты или другая манипуляция для детей, когда стыдно выходить на поклон. Оскорбительно для подлинного цирка, если джентльмен в крахмальном гарнитуре делает на манеже яичницу в цилиндре под чечетку или балаганный куплет... И сам Калиостро интересуется меня меньше, как Аполлоний Тианский или этот толстяк Агриппа, но с моей подмоченной анкетой этого нельзя, чтоб не получилась классовая вылазка... Все было и все прошло, но кое-что осталось... показать? – И безо всякого труда извлек из подбородка своего визави целлулоидный шарик, кстати, не слишком чистый от частого употребления.

Тогда и Дымков, очевидно, в качестве визитной карточки лукаво потянулся к собственному его носу, от приливного воздействия, что ли, принявшего потешную форму оранжевой капли, которая вслед за тем с пробочным чмоканьем и в виде настоящего апельсина отделилась ему в ладонь. Размен фортелями произошел на глазах у официантки Луши, заглянувшей к ним намекнуть насчет позднего времени. И, значит, ее рассмешило зрелище двух магов, попеременно развлекающих друг дружку.

– Ишь, чем со скуки занялись, фокусники несчастные, – фыркнула она в салфетку.

Сам по себе акт творения обошелся без личного ущемления достоинства, но почему-то произвел удручающее впечатление на старика Дюрсо.

– Так, понятно... и, знаете, мне даже нравится, что все это у вас без всякой аппаратуры! – подавленно протянул он, обследуя апельсин, оказавшийся покрепче прежнего и уже без идео-

логических изъянов по приметам; и некоторое время головной мозг его работал с астрономической скоростью. – Но, скажите, просто с научной целью, сколько вы можете выставить такого товара в одну партию... ящик, пакет, вагон?

– Не пробовал, но... сколько нужно вам? – спросил тот с улыбкой готовности, и странно, ничего не случилось пока, но самое пространство вокруг ошутимо продавилось, напряглось в предвидении вторгающегося изобилия.

Трудно сказать, что именно удержало старика Дюрсо от немедленной, на месте, пробы дымковского искусства: Лушино присутствие, опасность уличных завалов или грозящие директору неприятности после обнаружения таких, явно **левых** запасов в его хозяйстве.

– Нет, лучше не будем трогать, пусть пока останется **там...** – решил он после краткого раздумья, философски оценив преимущества подобного хранения всех без исключения скоропортящихся благ. – Но баста на сегодня: шалман закрывается и честным людям пора бай-бай. Возьмите этот апельсин, Луша, в награду за светлое мирозерцание и детский неиспорченный ум... но не в этом дело. Сколько с меня? – справился он, довольно неосторожным движением извлекая бумажник.

Ввиду общеизвестного бедственного состояния старика Дюрсо обычно застольные счета оплачивались друзьями, и нынешним, хотя бы умеренным расточительством он выдавал чрезвычайность состоявшегося совещанья.

После долгой погони за ускользающей жизнью, когда с поручня соскальзывала рука, перед самым закатом посчастливилось вдруг вскочить на подножку. Правда, было еще рановато, пожалуй, праздновать победу, но, значит, еще труднее было сдержать разыгравшееся воображение. Вдруг помолодевший, он дарил малознакомым ласкательные взоры, сорил по пустякам ценные хохмы и, наверное, по-боярски одарил бы Ивана Ивановича в гардеробной, если бы по дороге туда не поохладился в рассердившей его стычке с директором. Тот перехватил его у конторки и, затащив к себе, учинил форменный разнос. Все равно было поздно отправляться в Старо-Федосеево и, видимо, та же нерастраченная небесная деликатность помешала Дымкову, оставленному за дверью, воспользоваться моментом для бегства.

– Меня вызывали по делу, так что я застал только конец твоей поганой лекции, старый кутила, но тридцать человек сидели в зале развесив уши и не ушел никто... а что тебе известно про них, обормоту и трепачу? Тебе что, недостает пули в брюхе или снова захотелось на побывку в безумный дом?.. И мне наплевать на твои переживания, но ведь потом они придут вынимать душу из меня! В целом свете один Давтян пригрел тебя, когда отвернулась даже родная дочь, и ты в благодарность задумал посадить его, несчастный лишенец? Вот я скажу Юлии, чтоб она сажала тебя на цепь...

Последовал не менее вразумительный ответ:

– Пометь у себя в башке для будущего мемуара, глупый человек, что сегодня тебя навещил величайший иллюзионист всех времен и народов. И не забудь сказать своему Давтяну, что еще не просохнут вонючие обои в его вертепе, как он уже встанет в очередь к моему окошечку и если не умрет от ожидания, то всегда будет иметь у старика Дюрсо лимит на два места в ложе бельэтажа плюс к тому контрамарку на откидное место в десятом ряду. Старик Дюрсо помнит, как в трудную минуту имел у него постоянный кредит закусить из вчерашнего и стоя на проходе в туалет. Теперь кланяйся маме и покойной ночи, лысый безобразный ребенок! – не без жалости сказал он напоследок и простился издали жестом царственного благоволения.

Необычное для столь безнадёжного босяка дерзкое красноречие прозвучало в заключительной тираде. Нет, помимо развязности дельца, вырвавшегося из полосы гадких неудач, что-то еще молодое и тревожное содержалось в ней, может быть, призывная труба никогда не улыбавшейся ему фортуны. И, возможно, в расчете на ее слепую щедрость директорская глыба с треском, подобно каменному командору, поднялась из кресла проводить знатных гостей до

порога. С непокрытой головой бедный Давтян глядел им вослед, пока не поглотил обоих туман оттепельной ночи.

Силы окончательно покидали старика Дюрсо, лишь теперь стало видно, во что обошелся ему изнурительный монолог, а к тому несколько глотков запретного напитка. Он едва стоял на ногах, тем не менее из престижной необходимости вызвался лично проводить будущего компаньона домой. Подловленная на перекрестке частная машина обошлась недешево в оба конца, и только безоговорочная вера в успех фирмы заставляла беднягу повторно вкладывать остатки наличного капитала в далеко не освоенное предприятие.

Из адресных соображений, чтоб не утекло досрочно, старик Дюрсо довез свое сокровище до самой его охапковской калитки, где условились завтра отправиться отсюда куда-нибудь поглуше для пробного выяснения ангельского репертуара.

– Я вижу, вы не любитель поболтать, как я сам, – сказал он на прощанье. – Это хорошо: теперь такое время, надо беречь, даже чего нельзя украсть. В следующий раз я объясню вам подробнее.

Беря на себя юридические тяготы будущего содружества, старик проявлял законный интерес к личности Дымкова. Но как ни вглядывался снизу вверх в страдальчески запавшие глазницы, ничего не прочел там, кроме озабоченности все возрастающим обилием стеснительных мелочей. По счастью, вдоволь натерпевшись невзгод и унижений, он научился не вникать в изнанку быстротекущих житейских радостей.

## Глава XVI

Если не считать незамужней Юлии, сей жалкий, молю траченный господин замыкал собою главную российскую ветвь всемирно-известного древа **Бамбалски**. Под корень подрубленное в революцию семнадцатого года, оно целиком ушло в могучее боковое ветвление за границы. В устных преданиях вымирающих ветеранов еще хранились ценнейшие для истории отечественного цирка, но уже тускнеющие воспоминанья об основателях этой печально-кратковременной династии, однако сам Дюрсо, когда требовалось фамильным хвастовством подсластить горечь упадка, никогда не смел произносить публично ни имени отца, которого страшился и посмертно, ни своего легендарного деда, перед памятью которого благоговел. Знаменитая фирма началась как раз с его бродячего, на колесах, зрелищного заведенья, выдержанного в духе площадных остроумия и оплеух, фантастической экзотики, незамысловатого надувательства и прочих терпких приправ балаганной классики, столь лакомою нынешним гурманам и тем всегда любезною простонародью, что и под мишурной пудрой неизменно угадывались пот и голодная смекалка труженика – в обмен на медный грош и черствый хлеб.

Репертуар труппы, в пору высшего расцвета не превышавшей семи-восьми единиц, составлялся из лучших аттракционов мирового цирка в диапазоне от богатейших конных ристалищ и пантомим с участием всяких мировых деятелей до особо жуткого кабинета китайских привидений, оборудованного в спальном фургоне после частичного удаления коек. Несмотря на естественные сезонные затуханья, самоокупаемость предприятия последовательно достигалась исключительной дешевизной содержания, возрастными и прочими изъянами артистов, отеческим долготерпением хозяина и, наконец, житейской закалкой коллектива. Наиболее безответным значился выступавший под кличкой **Самсон в цепях** глухонемой гладиатор, он же конюх Иван Иванов, на груди которого ударами кувалды расшибались предварительно в костре обработанные камни, и лишь в запойную пору позволяла себе пошуметь миловидная и разнесчастная трепушка, исполнявшая в первом отделении номер **женщина-паук**, а во втором же – **говорящий бюст** швейцарской девушки Терезы, еще в грудном возрасте утратившей туловище по недосмотру родителей. Все они с благодарной кротостью понимали, каких усилий стоит главному обеспечить корм и кровлю для такой оравы, включая тварей бессловесных. Кстати, в числе последних, помимо положенных по штату лошадей и ученых собак, входила также проживавшая в продольном баке с керосиновым подогревом крупнейшая змея на свете под названием **пифон**, в жару и при сырой погоде, в силу теплового расширения достигавшая якобы целых двенадцати северо-американских футов. Смертельными кольцами обвивая укротительницу, она же **мадам**, и в такт походке поматывая головой на ее гигантском бюсте, тропическое чудовище проделывало всякие несвойственные ему эволюции – не только безгневно, но даже с юмором. Коронным аттракционом основателя фирмы был неповторимый, собственного изобретения номер *с медведем без каких-либо замысловатых фортелей дрессировки*. Пошатываясь, оба **подшофе**, на арену выбредали сам хозяин, бородатый старик в котелке, и об руку с таким же рослым зверем, который доступными ему средствами выражал удовольствие от сообщаемой ему на ухо интимной истории. По-приятельски, в обнимку они совершали круговую прогулку, причем непонятным оставалось, который из них главнее. Штопку, стирку и кормежку на всю ораву осуществляла хромоногая хозяйкина сестра, а билеты продавал в окошечке младший в труппе, десятилетний отпрыск, совмещавший касирскую должность с исполнением музыкальных антре на шарманке. Утвердить род **Бамбалски** на земле и выпало на долю того худосочного, с гнетущим взором из-под приспущенных век, рыжеватого мальчика Оськи, которого двадцать лет спустя, после таинственного брака с итальянской наследницей из тех же кругов, цирковые **шпрыхталмейстеры** почтительно объявляли на выходе как Джузеппе Паскуальевича.

К огорчению автора, сообщенный ему Никанором Шаминам наисекретнейший, казалось бы, материал о делах небесных значительно превышает земные, видно из четвертых рук ему доставшиеся сведения о возвышении **великого** Джузеппе. Из трех отцовских фургончиков с пропахшей аммиаком рухлядью и пяти – приданое жены, второй по счету, Бамбалски сделал несколько процветающих цирков по обе стороны Вислы и Дуная и мог бы завершить карьеру баронством в любой из стран своего летучего обитания, если бы европейскому признанию не предпочел почему-то личное почетное гражданство российской империи. К слову, никто из самых яростных завистников, вслух, по крайней мере, не смел приписывать блистательный успех конкурента лишь выгодной женитьбе, но в первую очередь его врожденному, **абсолютному** чувству циркового священнодействия, впрочем, наравне с беспощадной требовательностью к участникам своих представлений, нередко переходившей впрямую, бичом по сердцу, жестокость к самой толпе. Все становилось сенсацией под его рукой, вроде неожиданных голубей в цилиндре манипулятора, и молва отвергнутых шипела, будто в работу к нему нанимаются головорезы да потенциальные самоубийцы, соблазненные двойной оплатой. И правда, в западной прессе отмечалось с похвалой, что Джузеппе приблизил современный цирк к его мужественному прообразу *circenses*<sup>2</sup> варварской древности, где столь потребное для общественного здоровья щемящее содроганье ужаса служило обязательной приправой к удовольствию. У него на манеже вместо прежних низких наемников и обреченных рабов выступали точные в движениях добровольцы, с улыбкой и без трусливых **страховок** принимавшие риск гибели. Секрет его успеха, что разгадал от века таившуюся в человечестве потребность созерцания чужой, миновавшей его беды. Джузеппе видел расцвет этого искусства в том, чтобы под видом преодоления роковых пределов дразнить смерть и, безоружной рукой загнав в угол, куражиться над нею, пока зритель сам не запросит пощады своим нервам. Являясь признанным арбитром во всех отраслях цирка, он до глубокой старости не бросал дрессуру лошадей, сам руководил конным котильоном и кадрилию на неоседланной лошади – прообраз рейнского колеса, и когда, бывало, на уходе чуть ли не мановением бровей поднимал на прощальное *debout*<sup>3</sup> восьмерку орловских, в масть подобранных рысаков, берейторы и конюхи пальцами пощелкивали от удивленья.

Кроме богатства и почти библейского долголетия, Господь наградил этого, к себе и близким безжалостного человека, обильным, под стать песку морскому, таким же деятельным потомством, которое с расчетливым прицелом, еще при жизни, раскидал по белу свету, чтоб немедленно забыть о нем. Он, как равнинный дуб, не помнил всех своих желудей, кроме младшего, в кого вложил все свои династические надежды и кому по чрезмерной склонности к шипучему крымскому напитку суждена была кличка **старика Дюрсо**. Все моральные и вещественные накопления отца предназначались ему одному, утехе гаснущих очей, в том числе непоминаемые в завещаньях сокровища вечного ремесла в сочетании с тигровой хваткой. Полвека спустя ставшие фирменной маркой портреты сухощавого, без возраста, джентльмена с цилиндром на отлете и шамберьером в крохотном, с орешек, железном кулачке можно было встретить весьма во многих отраслевых предприятиях этого любимейшего из простонародных зрелищ, от дирекций заокеанских варьете, студий и мюзик-холлов вплоть до пуговиц и фирменных медальонов на брезенте бродячих цирков где-то в трущобах Центральной Азии.

Самое беглое сопоставление дат опровергает версию последыша в роду Бамбалски, будто родился в дедовском балагане во время представления на одной из провинциальных ярмарок бывшего Царства Польского. Все больше свыкаясь к старости с утешительным вымыслом, он любил в подходящей компании поделиться скитальческой романтикой бездомного детства, например, про иной сумеречный вечерок с уютным шумом дождя по протекавшей кровле, и

<sup>2</sup> Зрелища (лат.).

<sup>3</sup> Вверх (фр.).

даже однажды вспомнил с разбегу, как младенческий при появлении на свет крик его провиденциально слился с хрипом дедовской шарманки. Из почтения к фамилии никто не пытался уличить рассказчика во лжи, ибо знали, что случилось это чуть ли не во дворцовых условиях, при содействии заморского видного акушера. Все осталось позади. Не поверилось бы, что в ранней юности этот подержанный, брюхатый старик несколько раз выступал с группой пони на манеже у отца, несмотря на столь неправдоподобные подробности, как празднично-слепящая мгла арены, вступительные такты галопа в оркестре, тугая подстилка опилок под подошвой и, наконец, он сам на выходном поклоне – резвый и розовый мальчик в казакине и рейтузах небесного цвета. В первом же сезоне юный кумир уважаемой публики, как значилось в афишах, неудачно сорвался в вольтиже с малорослой киргизской лошади, – тою временной хромотой и прервалась плачевная карьера будущего Дюрсо. Только несчастье, и то – по настоянию горячо любящей матери позволило ему поступить в среднюю школу, где, видимо, для лучшего усвоения предметов, он просиживал по два года в каждом классе, пока нетерпеливый отец не вернул его из предпоследнего к себе в **дело**.

В те годы, стремясь возродить былое величие конного цирка, Джузеппе вводил громоздкие гала-представления на манер старинного **табло**. То было незабываемое зрелище, где, косясь на повелителя с длинным бичом, движутся две встречные карусели, а по барьеру в обратных направлениях мчится сплошное, голова в хвост, подрагивающее от ужаса кольцо четвероногих более мелкой породы. Уже во вторую зиму после возвращения на манеж начинающему берейтору, в обгон более достойных, была предоставлена честь участия в отцовском триумфе. Новое несчастье произошло накануне премьеры и в конце репетиции, когда молодой человек ставил а *genoux*<sup>4</sup> четверку взмокших лошадей. Крайняя, когда-то работавшая с пумой и еще не отвыкшая ждать на спину ее пружинистый когтистый прыжок, в ответ на прикосновение хлыста к подколенке извернулась и сквозь ботфорт прокусила все ту же ногу будущему Дюрсо, ближе к бедру на этот раз. Необходимость залечивать скорее психическое потрясение, чем непоправимое увечье, вдохновила обезумевшую мать, вырвав любимца из-под деспотической опеки мужа, сразу из больницы отправить его к родне за границу, где и провел он около одиннадцати лет, чем впоследствии затруднил себе прохождение через отделы кадров. Туманные анкетные сведения не совпадали с показаниями очевидцев. По-видимому, досуг от медицинских процедур он поровну делил между чтением странных книг и практическим ознакомлением с развлекательными заведениями, пока помышлявший о преемнике Джузеппе не поставил условием наследования немедленный переезд **мальчика** к себе на родину. Дней у него оставалось в обрез, а хотелось прижизненно в любой отрасли обеспечить будущему владельцу огромного дела престиж у циркачей, без чего считал невозможным дальнейшее процветание фирмы. После трехмесячных переговоров с матерью наступил долгожданный день свиданья, когда железный Джузеппе уже не по фотографиям, а поближе разглядел наследника. Включая неизлечимые недуги, ничто так не старит, как разбитая надежда. Погасшим взором созерцал отец стоявшего перед ним поношенного господина с франтовским котелком в руке, его сверхмодную, *en cloche*<sup>5</sup>, клетчатую жакетку, с каким-то мефистофельским извивом башмаки. Мальчику шел тогда тридцать четвертый год. Скрепя сердце, старик повел радость своих тускнеющих очей показать сюрприз – выписанную от Гагенбека к его прибытию вполне готовую группу молодых львов, почти котят, еще без гривы. Среди друзей однажды, разойдясь, Дюрсо не без юмора описал свои сложные переживания при знакомстве с беспечно игравшими хищниками – тоскливое ожидание повторной боли в истерзанной ноге и нестерпимую щекодку в затылке от иронического отцовского взора, направленного ему в преждевременную плешь. Позже, в одном неприятном разговоре, на вопрос о происхождении хромоты, как-то само собой

<sup>4</sup> На колени (*фр.*).

<sup>5</sup> Колоколом (*фр.*).

округлилось, будто на гастролях год спустя старший львенок ударом окрепшей лапы, так сказать, по третьему заходу, **раздел** ему до кости все ту же злосчастную ногу, тем самым знаменующая наступление мужской зрелости. Очень возможно, ради снискания жалости и послабления придуманная **байка** будущего Дюрсо, как и прочие в той вынужденной и, кстати, на целую неделю затянувшейся беседе, возымела бы решающий успех у его собеседника по ту сторону стола, кабы лежавший на нем наган не напоминал об исторической серьезности момента. По горькой иронии судьбы, вследствие судебной волокиты с разделом имущества покойного Джузеппе, младший из наследников вступил в права владения лишь летом семнадцатого года, в самый канун общеизвестных российских событий, значительно омрачавших ему фосфорический праздник жизни.

Завистливая сплетня утверждала, будто оставшиеся до революции месяцы, в предчувствии дальнейшего и в возмещение упущенного, хромоногий глава фирмы проезжал по набережным крымо-кавказских курортов в причудливых фаэтонах или кавалькадами в компании со смешливыми дамами, поминутно без особой надобности приподымая цветной котелок и провожаемый яростью сторонившихся солдатских вдов... Тем скучнее было однажды, пробудившись от толчка рано поутру на казенной койке, в небритом виде и натошак очутиться лицом к лицу с незнакомым товарищем в морском бушлате. Правда, несмотря на свою должность, поначалу он показался довольно симпатичным со своей подкупающе-курносой внешностью и простонародным почтением к искусству цирка, да его и звали чуть ли не **Иван Иванов**, хотя, несомненный самородок своего дела, и выпускал местами молодые ястребиные коготки.

Уже тот допрос, бывший едва ли не дебютом его следовательской деятельности, позволял предсказать ему блестящую будущность на избранном поприще. Так, посреди душевного разговора о превратностях цирковой карьеры и вслед за рассказом о возмужавшем львенке, чекист слегка усомнился в необходимости для такого богача самому работать на манеже.

– Видите ли, уважаемый гражданин, у нас несколько другое дело плюс к тому и нельзя иначе, – независимо и с заалевшими ушами указал чекисту сидевший перед ним в ночном неглиже небритый упитанный господин. – Как правило, все знаменитые цирковые предприниматели, отец в том числе, стихийно выходили из числа великих тружеников и циркачей. – И в обличение невежды перечислил ряд всемирно известных фирм.

– Очень, очень интересно... – с простодушной любознательностью внимал тот. – Но все же, все же каков был приблизительно, если не секрет, средний годовой доход у папаша, когда вас покусал тот противный лев?

Такой дружественный гуманизм прозвучал в голосе морячка, что будущий старик Дюрсо непроизвольно попался в расставленную сеть коварства.

– Право, не скажу, потому что не знаю, да если бы и знал – не помню.

– Значит, так глубоко прокусил, что и память начисто отшибло? – дивился тот, предоставляя жертве время попрочней запутаться во лжи.

– Не в этом дело... – волновался Дюрсо, – а просто меня не допускали до финансов. До самой его смерти я был всего лишь трудящимся в труппе отца!

В доказательство последовали убедительные даты: лев кусал в одиннадцатом, Джузеппе умер в тринадцатом. Незадачливый наследник завел длинную повесть о своей, в общем-то, незавидно сложившейся жизни, целую **одиссею**, щедро пересыпанную искорками грустного юмора, чтобы не скучал собеседник. Особенно удалась ему история забавных ухаживаний за одной итальянской красавицей-жонглеркой, вознагражденных вполне счастливой женитьбой, кабы рождение дочки не пришлось оплатить преждевременной утратой юной супруги. Чудесный матросик только причмокивал да головой качал на житейскую экзотику незнакомой среды.

На протяжении очередной неполной недели самородку, по привычке добывать ценности из богачей, как вытряхивают монеты из копилки, удалось единственно сменой интонаций, без применения средств классовой борьбы, вытряхнуть из подневольного человека целиком

и в трех тайничках размещенное достояние, считая по полторы штуки в три дня. Внезапное разорение и попутные переживания могли бы роковым образом сказаться на цветущем здоровье Дюрсо, если бы не чудом уцелевший четвертый – с некоторыми семейно-династическими реликвиями, да сердечное участие одной, в полусреднем возрасте, миловидной дамы, взятой в дом к осиротевшему ребенку, совсем туго пришлось бы вдовцу без женского пригрева и средств к существованию. К сожалению, кому-то не понравился подпольный, хотя бы и на хлеб насущный, сбыт помянутых фамильных безделушек на черном рынке, и около пяти лет Дюрсо подвергался холодной перековке в неблагоприятном климате, а по окончании срока не застал на пепелище ни девочки, переселившейся к могущественной заграничной родне, ни дамы сердца, вместе с порученным ей на сохранение фамильным, четвертым по счету, еле початым кладом. Бесправное положение лишенца плюс к тому атлетическое телосложение соперника, выступавшего в жанре **античный силовой акт**, удержали неудачника от напрасных телодвижений, нежелательных на краю пропасти. Конечно, пережитое тяжело сказалось на его психике, и влиятельные друзья правильно сделали, поместив на время в соответствующую лечебницу, пока не утихла очередная кампания по искоренению последышей проклятого капитализма. В ту пору один на всем свете милосердный самаритянин Давтян привечал раздавленного Дюрсо миской дарового борща, и тот не пренебрегал ею: репутация образцовой нищеты надежно хранила его от соседской зависти, корыстного приательства и классовой ненависти, бушевавшей во дворе. Но если прежние удары судьбы давали ему основания зачислять себе в предки Иова, Агасфера и деревянной пилой перепиленного пророка Елисея, то теперь, когда на случай обыска, все повычеркнули его из телефонных книжек, даже родная дочь с ее врожденной брезгливостью к бедности, в его родословную включились и Лир с гоголевским Поприщиным. Впрочем, Дюрсо и сам воздерживался от нескромных визитов: было бы крайним свинством притащиться на обед в приличное академическое семейство и вторично спятить, скажем, за пломбиром.

Зато бесстрашно бывал всюду, где не требуется приглашения – в общежитиях у молодежи поделиться преданьями баснословной старины, посидеть у больничной койки угасающей цирковой звезды, чтобы через неделю проводить ее к месту окончательного пребывания... Навестил раз одну неблагополучную квартиру со следами разгрома после ночного обыска. Риск сурового возмездия за подобную дерзость, если бы даже польстился кто-нибудь вышибить дух из беспомощного старика, вполне окупался приобретаемой репутацией неподкупной совести цирка и хранителя его традиций. В таком качестве он изредка допускался на собрания и выступал в кулуарах в защиту все более разрушаемой цирковой экзотики, которая заодно с балаганной мишурой и старомодным ритуалом доставляет **кураж** и творческую сытость циркачу, приятельский шлепок по плечу служил ему сладостным признанием все еще длящейся принадлежности к таинственному культу цирка. В свою очередь, отсюда проистекали подразумеваемые права, вроде доступа на свободные директорские места с причитающейся долей аплодисментов, когда коверные вовлекали его в свои потешные пантомимы... и стоявшая на выходе **униформа** отлично понимала, что за Дюрсо такой изображает возмущение в переднем ряду. Со временем, по мере отмирания прихотей и привязанностей, он так свыкся с последним своим прибежищем, что в цирк ежевечерне отправлялся как в должность, причем богемная кличка, освобождавшая старика от необходимости произносить на посмешище невежд свое титулом звучавшее династическое имя, сходила за экзотический псевдоним.

## Глава XVII

Из-за нахлынувших дел всю ближайшую неделю Дымков так и не собрался к Дуне, а потом как-то не подвертывалось повода вспомнить о ней... В следующий раз она увидела его в неожиданной компании на речном вокзале в Химках, случайно, если не знать коварных, естественных со стороны его антипода, предпринятых действий. Повторялось обычное в природе явление, когда отслоившаяся от материнского лона несмышленная особь пускается в самостоятельные миграции по свету на страх и риск независимого существования. Как и у художника, опустошенное ликование роженицы сменяется тоскою творческого одиночества, а дальше, по мере поступления слухов о головокружительной и неприличной для ангела карьере, тревожное родительское любопытство к судьбе своего детища последовательно проходило у Дуни все положенные стадии – от досады и обиды до боли и прямого раздражения. Был даже момент, когда из негодования, затмившего естественную жалость к его обвисшим крыльям, она усиленно и напрасно старалась вычеркнуть Дымкова из себя, как смахивают мел пройденного урока, вернее – испустить его как вздох, с чего и наступает всякое выздоровление.

К тому и сводились расчеты старика Дюрсо, чтобы захлестнуть добычу в водоворот событий. Невольно смущает легкость, с какой ему при его хворостях удалось приручить могучее и поначалу жизнеопасное существо таким старомодным доводом по нынешним временам, будто земные обязанности прибывающих ангелов состоят в навевании публике заведомо беспочвенных грез и миражей, да еще столь сомнительным способом, как цирковой аттракцион. Однако исключительный успех мероприятия вряд ли объясняется только оперативностью старшего компаньона или ребячьей падкостью младшего на дешевые приманки вроде лести, лакомств и подарочных зажигалок, которые, конечно, сам Дымков мог фабриковать быстрее и лучшего качества. Вообще подлежат особому уточнению причинные связи описываемых событий, которые, если сверху глядеть, концентрично располагаются вокруг таинственного первомайского свиданья, видимо, ради нейтральности состоявшегося на уединенной квартирке кладбищенского батюшки. Пристальному мыслителю сразу бросится в глаза наивная, в условиях тогдашнего политического сыска, почти детская конспирация важнейшего мероприятия, не соответствующая ни космическим целям последнего, ни могуществу представленных сторон... но здесь нельзя без пояснения. В то время как умственные науки склонны считать мир пытающим отголоском некоей универсально-запредельной вспышки чего-то, устарелое богословие видит в нем одновременно приз и арену предвечной битвы Добра со Злом. Что касается Никанора Шамина, то, занимая золотую середину, он помянутый старо-федосеевский эпизод примирительно толковал как чисто деловую, возможно, далеко не первую у них встречу тех же самых, первично-полярных, однако материально-сущих начал и колебался лишь насчет истинной цели: был то разведочный маневр – не затевает ли противник очередной каверзы, или чисто дипломатический зондаж на предмет, скажем, примиренья в отдаленном будущем. Во всяком случае, такая логика способна совместить в едином чертеже весь хаос наблюдаемых явлений, столь совершенных в математическом плане, сколь противоречивых и бессмысленных в моральном.

Если же центром старо-федосеевской эпопеи полагать ту кратковременную беседу у Дуни в мезонинчике, где участники сошлись под личиной случайных лоскутовских гостей, то, значит, ангелу Дымкову безразлично было, в каком качестве ему пребывать до назначенной даты: быстро образовалось довольно странное, при очевидной разности возрастов и характеров, чуть ли не через месяц уже на всю столицу прошумевшее сценическое содружество **палестрино**, – название было выбрано без всякой связи с музыкой, только по благородному звучанию. Слишком скоростное освоение даже и теперь малоизученной и весьма грозной силы, какой являлся ангел на том отрезке повествования, далось старику Дюрсо единственно сред-

ствами разумной дрессировочной тактики, состоявшей в постижении низшей психики приручаемой твари. Тогдашняя житейская практика показала, что нет надежней способа обеспечить себе прочное хозяйское старшинство над самой дикой и соответственно могуществу ленивой стихией, как поставив ее в постоянную от себя зависимость путем немедленного утоления едва возникающих у нее потребностей или капризов. Еще лучше держать ее в ярме неотложных заданий мнимой важности, во избежание бунта не оставляя ее ни на минуту наедине с раздумьями или воспоминаниями о прежних привязанностях. После ряда умело подавленных дымковских попыток вырваться на часок в Старо-Федосеево наиболее сдерживающим для него аргументом оказался периодически внушаемый страх выдать себя, вернее – свое сомнительное происхождение, любым своевольным поступком и косвенным образом поставить под удар старо-федосеевских друзей, участвовавших в его утайке от властей, Дуню прежде всего.

Из предосторожности, чтобы не оставлять без присмотра, старший компаньон с утра пораньше заехал за младшим в Охупово; накануне было условлено устроить маленькую пробу дымковских дарований для выяснения, как пошутил он, производственной мощности создаваемой фирмы. Из воспитательных соображений старик Дюрсо жестким условием своего окончательного согласия на руководство ставил благоприятный исход испытаний. «Нет-нет, не уговаривайте, Дымков, это слишком трепка нервов, чтобы в моем возрасте покупать кота в мешке!» Разумеется, сеанс можно было устроить и в домашней обстановке, однако на данной стадии лучше было прятать находку от свидетелей, прежде всего от завистливых соседей, из которых в первую очередь вербуются доносчики. Кстати, у Дюрсо имелся на примете укромный уголок в Подмоскowie, запавший в память после одного интимного пикника вдвоем, однако старика потянуло вдруг на лоно природы, в глушь и снег не запоздалое сожаление по поводу иссякших радостей бытия, ни даже возможное в его упадке суеверное побуждение совместить воспоминание о них со вступлением на возрождающий рубеж. Но последнее требовало кое-каких расходов на обзаведение, и вот представлялся удачный повод заодно, в сопровождение спутника, навестить опушку приятно-памятной дубравы, где неделю спустя после пейзажных утех молодой Дюрсо в пророческом предвиденье перемен закопал шестой, так сказать, страховочный, на случай мирового катаклизма, самый неприкосновенный тайничок.

Коляской до места было бы часа полтора, автобусом теперь оказалось совсем близко. С остановки самодельная карта двадцатилетней давности повела компаньонов по шоссе до перекрестка с проселком, откуда было рукой подать до нужного сворота в лесную глубинку. С утра потеплело, опознавательные ориентиры в виде мостков и церквушек с железнодорожным переездом посреди оставались без перемен, было вольготно и весело шагать в синюю даль по накатанному, остекленевшему насту. В очередном, на всю дорогу затянувшимся монологе старик Дюрсо сообщил, что за ночь он обдумал вчерне намеченное дело на ближайшее трехлетие, и если сегодня дымковская проба ему понравится, он охотно примет на свои плечи всю хворобу и бессонницу за них обоих; подразумевались неизбежные хлопоты с арендой помещения, включая свет и афиши, также всякие вазы с тритонами и другой, по ходу представления, научный инвентарь, плюс к тому подмазать где надо или поговорить в инстанциях, наконец, идеологическая подготовка зрителя, чтобы не получился опиум для народа.

– На данном участке фронта я ручаюсь за полный порядок, вам останется голая техника. Двадцать минут на манеже, после чего имеете на выбор спать или шалить, как молодой Бог, в пределах моей видимости, чтоб не склевала шустрая птичка... Что касается добрых дел – только в мелких купюрах, чтобы не производить подозрение как прохвост, заговорщик или идеалист, но пускай дополнительная реклама, что чудак и джентльмен. Я этого не касаюсь, но если правда, что вы ангел, то вам неудобно, словно стрекулист, делать в переносном смысле чечетку при крахмальном гарнитуре плюс цилиндр на отлете. Здесь, я предвижу, мне достанется нелегкая половина, и я согласен немножко больше... но не в этом дело. Не подумайте, что я рвусь иметь пай в большом аттракционе, а просто не могу позволить, чтобы в суете жизни

рассосалось такое дарование, как вы, если оно по молодости не имеет представления, с кем имеет дело в собственном лице. Берегите себя от всего на свете – от потных рук и пристального вниманья, грязной дружбы и лишней щедрости, но плюс к тому не оставляйте на виду: может нанюхать большая кошка, наступить ногой большой начальник. Это странный предмет: неведомый, он легко режет сталь и может развалиться от неосторожного прикосновения. Поверьте старику... тот, у кого никогда его не бывало, лучше других понимает, что такое **талант!**

– А что такое талант? – как эхо переспросил Дымков.

– Вот, на каждый вопрос умного собеседника можно ответить только как Пилат. Наука еще не знает, болезнь это, или дар, или ярмо... Я тоже, но постараюсь. Так называется частное производство ценностей, мимо плана и казны, причем в свою пользу... получается неравновесие. Выдайте всем одинаковый паек, черствая корка плюс кружка воды, и один жует свою тюремную мурцовку **по гроб жизни**, как любит сказать директор цирка, а другой немножко пощурится на те же засохлые дырки в тесте через лупу воображения, которое ему досталось без всяких затрат на оборудование, и вот немного спустя в книжных витринах появился какой-нибудь грот любви, то же самое пещера **Лейхтвейса**, наконец, ценное море Айвазовского, после чего на вторую корку намазывается дефицитное масло, а первую глотают всухую, просто так. Но если у меня орава двенадцать ртов плюс на днях приезжает из провинции дядя с тромбифлебитом, и, если хоть для проформы, не сытости ради, надо в каждый сунуть по куску, и за это погибать круглый день на дымном производстве... Если даже кто понимает, что перед ним талант, и сам имеет немножко на этом деле, но, эгоизм природы, каждому хочется больше... и даже не в этом дело! Если у фабриканта отбирают производственное средство на какой-то паршивый драп-велюр с бумажной основой или вообще, то какой резон оставлять в частных руках выпуск товаров, имеющих хождение наравне с иностранной валютой или переходом в чистейший динамит? Лучший выход прикрепить талант на золотую цепь, как тот знаменитый кот исполнял свои функции вокруг надежного дуба. Но нельзя наложить лапу нормальным декретом... тогда золотая курочка вовсе перестанет петть... и даже неизвестно – кто поведет страну вперед из той пещеры? Но где гарантия, что будет хорошо? И вообще: сколько тех и других зарыто на всяких перекопах, но та еще не успела сделать вздох облегчения, как снова странные фигуры мелькают там и здесь в бобровых шапках плюс к тому заседают для украшения президиума наравне с выдающимися героями стройки и промышленности. Но, мало того, что сыт один, уже отложено кое-что на будущую неутешную вдову с подрастающими малютками для поддержания на культурном уровне, откуда образуется прежняя накипь в жилах человечества, и завтра снова работа неизвестным солдатам выскребать каленым железом. И так небольшой семейный капитализм вокруг могилки ценного творца выстраивается... Это пока еще только талант, а что если вдруг перед нами гений? У нас такое слово можно только для древних покойников, чтобы не вызвать в тружениках опасное брожение от обиды. Скажите, вы возьметесь разъяснить на большом собрании, почему при одинаковом анатомическом устройстве, даже с меньшим запасом физической мощности, один кушает свежий номенклатурный судак, то другому сойдет тюлька прошлогоднего засола? Но я еще не сказал про нравственное раздражение в нижеоплачиваемых категориях населения, где уже разбужен аппетит к светлой жизни в разрезе жилплощади и многоразового калорийного питания. Чувствуете немножко в ногах, как шатается вся доктрина? Дайте сюда ухо, я вам скажу: гений, вот где проходит будущая трещина мира! Правда, природа иногда гримирует своих любимцев под заурядность, как все, но графа Толстого вы не сможете спрятать от масс в мужичий тулуп и валенки. И если недавно буржуа сравнительно с небольшой процентной ошибкой узнавали по толстому животу, как я, то сейчас у нас шикарно наострились узнавать врага по глазам... О, этот холодный, задумчивый огонек в зрачке. Чаше опускайте веки, товарищ Дымков: сегодня еще ничего, но послезавтра я вам не дам гарантии, что сразу сто тысяч рук потянутся туда погасить, восстановить поруганную справедливость распределения. Но не бойтесь, я буду при вас ангел-хранитель: не надо меня

благодарить... и баста! Кстати, мы уже пришли, – заключил Дюрсо и вдруг растерянно огляделся, – но почему-то здесь не та местность? Неужели мы заблудились?

Мускульное ощущение подсказывало близость цели – окружающие приметы, несмотря на зимний пейзаж, тоже совпадали с записанными ориентирами. Как и много лет назад, железная дорога проходила там параллельно магистрали: слева, сквозь изреженную полосу снегозащитных елей краснел кирпичный домик путевого обходчика и почти в створе за ним виднелась знаковая колокольня ближайшего селенья, только без креста и купола теперь. Справа деревенский поселок взбирался на шоссейную насыпь, откуда открывался вид на столь тщательно вырубленную пустыню, с пнями да неубранными отвалами хвороста, что трудно было найти подходящее укрытие для задуманного опыта. Хотя ни деревца не сохранилось от былых лесных угодий, внезапно из небесной полыни проглянувшее солнце осенило эту унылую сизую беспредельность воспоминаниями об одной чудесной, давней, при несхожих обстоятельствах состоявшейся прогулке. Дымков помог оскользнувшемуся старику сойти по обледенелому спуску.

Дальше не попадалось остерегающих признаков жилья. Вдобавок, за очередной грядкой высоко наметенного сугроба, в овражке объявилась нечаянная березовая рощица, видно, забившаяся сюда от разгульного топора; торчавшие поверху макушки издали казались лозняком. Полутраншейного вида тропка вела в глубь оазиса, ветерок сбоку сдувал в лицо колкую снежную пыль. Место вполне подходило для показа чудес умеренного профиля. Нашлась утоптанная площадка, служившая привалом для охотников, в глубоко протаянной лунке чернели головешки костра.

– Здесь довольно уютно плюс к тому же не ветрено, – еле переведя дыхание, заметил Дюрсо, устраиваясь на ближайшем пеньке, как на нашесте, и приглашая партнера приступить к делу.

– Чего бы вы хотели? – спросил тот с болезненной улыбкой, не предвещавшей добра.

– Неважно... начнем что-нибудь в камерном стиле. У нас уйма времени до обеда!

Было крайней неосторожностью с его стороны предоставлять выбор неопытному любителю, которому, видимо, не хотелось ударить в грязь лицом. Без предупреждения, хотя в сравнительно безопасном расстоянии Дымков буквально из-под ног у себя вызвал гигантский, кратковременный по счастью, факел ослепительного огня, урчавший наподобие адской форсунки. Слишком сильное впечатление, способное сразить профессионального солдата, попросту опрокинуло назад, пятками вверх, беззащитного старика, не подававшего признаков жизни. Как выяснилось позже, несмотря на погожий денек, исключительная по высоте и яркости вспышка была замечена из довольно отдаленных постов наружного наблюдения. Партнеры успели покинуть свой полигон до прибытия аварийно-пожарных команд и высших лиц специального назначения, причем в условиях крайней спешки и гололеда ввиду частых оттепелей старик Дюрсо проявил неожиданную резвость.

– Если вам не понравилось, могу что-нибудь другое... – на бегу заглядывая ему в лицо, виновато спрашивал Дымков.

Они перевели дух лишь на остановке загородного автобуса. Не без опаски старик Дюрсо проследил длинную вереницу служебных машин, промчавшихся мимо к месту происшествия: переполох легко объяснялся загадочным происхождением подмосковного протуберанца, приписанного к тогдашней политической обстановке, и сказал:

– Теперь я не спрашиваю, как вы делаете, будто перебиваю ваш секрет, но между нами, могут сверху официально спросить... Вы что, самородок? Это давно у вас?

– Всегда. Я же говорил вам, я ангел... – с подкупающей ясностью признался Дымков и в подтверждение нечто блеснуло во взоре, как вечерняя звезда.

– Я помню; если вы заметили, я немножко глухой после гриппа. Скажите мне на другое ухо, пожалуйста.

После повторения он сперва подавленно молчал, по-иному и уже в памяти созерцая колдовское пламя из оплавленной земляной горловины, которой, кстати, не осталось и в помине: налицо был гипноз открытия. Потом взглянул на Дымкова с мысленным вопросом, в каком именно разрезе следует понимать слово **ангел**. И тот немедля кивком подтвердил, что в том самом, единственном.

– Не бойтесь, почти никто не знает... Вам неприятно это?

– Напротив, я не привык осуждать, у каждого своя работа, – с холодком пожал плечами Дюрсо, к которому тем временем воротился благодетельный скепсис: – Когда надо, сам я широко смотрю на вещи! – и еще раз посоветовал забыть все лишнее на земле, чтобы не нарваться однажды на чье-нибудь служебное любопытство, например, откуда достал себе вполне готовое, оборудованное тело?

В целях дальнейших воспитательных предостережений, предложил заехать к себе в жилище одинокого мудреца, которое по скромности называл Диогеновой бочкой. Скоро прозаическая действительность вообще заслонила фантастические переживания утреннего приключения, и сказалось благотворное влияние удачи на стариковские настроения. При запоздалом в тот день, скромном завтраке у Дюрсо, гадливо отстраняясь от всего мясного, гость охотно, под предлогом ознакомления с бытом согласился на глоток разбавленного вина, и, судя по застенчивому румянцу грехопадения, ему понравилась искристая кислинка... Кстати, бочка старика оказалась уютной двухкомнатной квартирой со всеми удобствами. Там и был накидан вчерне план кое-каких предварительных действий, где Дюрсо обнаружил размах и предвидение прирожденного импресарио. Между прочим, послушное согласие Дымкова на любые варианты, нехорошо истолкованное Никанором как признак легкомыслия, неблагодарности к старым друзьям, почти умственной неполноценности, с равным правом может служить доказательством, правда, в самом зачатке, житейской сообразительности. В самом деле, феерически пестрая программа старика Дюрсо сулила командировочному ангелу возможность без скуки скоротать более чем трехмесячное ожидание той таинственной встречи, ради которой и прибыл в наши Палестины: легко представить круг печальных развлечений, какими располагало для него старо-федосеевское гостеприимство. Послушное молчание клиента плюс отсутствие сторонних наблюдателей и вдохновляли маэстро на самую необузданную импровизацию. В ней были представлены дух захватывающие картинки последовательного завоевания земного шара, которое выглядело как непрерывный триумфальный вояж по столицам мира, совершаемый исключительно в воздушных лайнерах первого класса, хотя имеется своя прелесть и в пародах каботажного плавания, с продолжительными стоянками в мелких портах, где жители также хотели бы лично прикоснуться к чуду. Ввиду того, что с заграничным признанием в кармане всегда легче бывало прославиться в России, особенно теперь, свое победное шествие они начнут, скажем, с Амстердама, где у старика Дюрсо имелись влиятельные родственные связи, и посрамив виднейшие светила современных тайных наук, по слухам притаившиеся там подобно жабам в земной расщелине, в ореоле сенсации смело двигаться на **Париж**, чтобы, неделю продержав местную балованную публику на сплошных, с несчастными случаями, кассовых аншлагах, безмолвно исчезнуть в Лиссабон. На кроткий дымковский вопрос, зачем ему в Лиссабон, было отвечено замогильным шепотом, что уж тогда-то проживающий инкогнито в пригороде величайший волшебник некто N, доводящийся шурином старику Дюрсо, председатель всемирного метапсихического конгресса, не откажется самолично навести на юного коллегу лоск высшей чернокнижной полировки, дальше чего, по адской иерархии и мастерству, если не считать Вельзевула, остается только он сам. Как всегда публика откуда-то узнает о состоявшемся посвящении знатного гостя в ранг вселенского мага экстра-категории, и начинается свистопляска всемирного признания. Корзинами поступают умоляющие телеграммы хоть на пару гастролей, его избирают туда-сюда, ему со скрипом зубов аплодируют смущенные позитивные науки, а корреспонденты добиваются для широких читателей интервью насчет смысла

жизни и кто его любимый композитор, но Дымков с загадочной улыбкой сфинкса отсылает их толпу к своему шефу пресс-бюро. Не исключено, что и апостолическое величество попытается в частной аудиенции выяснить у таинственного незнакомца кое-какие секретцы по небесной части... Но однажды героя на четверке лошадей провозят сквозь дворцовые ворота мимо стражи в меховых шапках, что в особенности ценно по теплему тамошнему климату, и вот вдовствующая супруга местного монарха венчает великого Палестрино за оказанные услуги почетной шпагой для ношения через плечо на самой красивой ленте, какую когда-либо производила шелкоткацкая промышленность. В апофеозе славы патриот устремляется к себе на родину, где уже оценили его самоотверженность, что не сбежал, не соблазнился на чужбине достигнутым уровнем жизни, также несмотря на другие обстоятельства. Его везут в пуленепробиваемой машине и на пути следования машут флажками, цветы и бумажки бросают с этажей, а газеты, даже фабричные многотиражки выходят с его портретами. И вот он едет рапортовать о своих достижениях в самый верх, где за беседой его угостит чаем, возможно, сам товарищ Скудное... а здесь гарантия, что его не арестуют в том же году. Как бывшего лишенца, старика Дюрсо туда, конечно, не пустят, если сам Дымков не вспомнит, кто выводил его на дорогу общественного служения.

– Почему же вы так дурно думаете обо мне? Я непременно возьму и вас с собою... – с мягким упреком сказал Дымков.

Все это время он с грустной улыбкой поглядывал поверх компаньона, словно проверял чем-то искренность смешных картинок высшей славы в представлении Дюрсо. И хотя ничего такого не было покамест, что могло бы насторожить ангела в отношении планов Дюрсо, последний счел необходимым тотчас оправдаться:

– Конечно, я не пророк предсказать будущее и не надо брать всерьез игру воображения, но мудрецы учат нас так, чтобы осталось воспоминание под конец, если не деньги. Одна старая полетчица сказала из собственного опыта, когда артист падает из купола на манеж, то он успевает за короткий момент повернуть в голове целую жизнь. Отсюда вытекает, надо накопить сперва, чтобы иметь, что провертывать, плюс к тому интересно и побольше, потому что, с одной стороны, вы понимаете, как-то не хочется спешить в такую минуту, но с другой – зачем портить себе последнее настроение? Если не будете мне мешать, я вам обеспечу запас богатых впечатлений на три таких сеанса... но не в этом дело! Насчет ангела тоже будем считать, что вы шутник-любитель, как я. Меня вообще не касается, чем вы работаете – гипноз, как у Оливадо, или просто манипуляция с ширмой, как все: через неделю, максимум две, вы у меня будете стоять на афише уже иллюзионист-оператор первого класса. Но если публика всегда хватает артиста за фалды, чтобы поймать, разоблачить, наступить ногой на чудо, чтобы не поверить в обман, то здесь у вас другая крайность; не выдать себя в обратную сторону, как я предупреждал. Лучше дайтесь им немножко, будто вы нормальный жулик, не хуже остальных. Нет, я не заставлю вас делать аттракцион с аппаратурой, ящики с зеркалами плюс лиловые букеты, после чего стыдно выходить на поклон. У нас при выступленьях будет торчать на сцене фальшивый ассистент, будто что-то помогает, но с этой целью нужен солидный, на постоянном окладе, непьющий человек. У моей Юлии завалился без дела отрез китайской полупарчи как раз на камзол плюс чалма размером с детский зонтик, будет очень хорошо, как бывают помощники у больших факиров...

– Но мне не нужно, не нужно никаких помощников! – неожиданно взбунтовался Дымков.

– Он никому не будет мешать, только стоять в своем халате с золоченой искоркой для отвода глаз, но плюс к тому по совместительству может работать на отдел справок... Не стану обнадеживать, но у меня есть на примете верный человек... И, что в особенности ценно, почти ничего не слышит. Здесь не надо смущаться: мне же не вредит моя хромота!...

– Я просто не хочу, понимаете? Не хочу... – уже почти кричал Дымков, с отчаяньем сопротивленья ударяя ладонью по столу, и надо дивиться его выдержке, что удержался от естественных в его положении, необдуманных поступков.

– Хорошо, договорились, я снимаю свое предложение, если вы ответственность берете на себя.

Стремясь приучить будущего партнера к дисциплине, Дюрсо все чаще, на пробу, заговаривал с ним в тоне хозяина, пока не допустил непростительный перегиб. По-видимому, с непривычки к затянувшейся, несколько односторонней беседе тому представилось, что отныне неутомимый Дюрсо уже вдвоем станет бубнить возле него что-то день и ночь. Однако случившаяся вспышка стала полезной как показатель пределов дымковской кротости, также и для выяснения наилучшего способа укрощения подобных бунтов в дальнейшем. Теперь разумнее всего было дать Дымкову отдых, и так как у Дюрсо после стольких треволнений тоже не хватало сил провожать его домой, он решился на риск отпустить его одного, подчеркнув на прощанье степень оказанного доверия.

Лишь в прихожей было замечено, – сам же Дымков и обнаружил на себе тот, незнакомый, откуда-то взявшийся головной убор. Видимо, прежнюю его потешную шляпенку унесло в зимние просторы шквалом давешнего пламени, а уже на обратном бегу, защищаясь от жестокой поземки в открытом поле, он усилием воли и сработал себе тот фантастический картуз по образцу той спортивной каскетки, какую они оба, как припомнил Бамбалски, видели на одном встречном лыжнике. Появление грошовой вещи из ничего повергло Дюрсо в неприятные, впрочем, в чисто житейские раздумья, ибо даже десятикратный, буквально на глазах, акт творения более ценных предметов не поколебал бы его устойчивого, скептического мировоззрения. Но данный случай произошел вопреки строжайшему запрету пользоваться своим опасным даром для личных надобностей, и в следующий раз мог машинально совершиться в присутствии секретных заинтересованных лиц, отчего старик испытывал тревожный холодок, как от груза взрывчатки за спиной. Но главная-то, неподозреваемая пока угроза заключалась в том, что ангел понемножку, пока без ущерба для своего могущества, начинал чувствовать власть тела над собою: он зябнул.

## Глава XVIII

Задуманное покоренье мира открылось пробным турне **группы Бамба** по Средней Азии, где у Дюрсо оставался, хоть и поредевший, круг друзей и знакомых. Компаньоны поэтому отбывали в дорогу без положенных путевок и налегке: весь инвентарь площадной магии вроде яиц, цветных букетов и живых кур неисправимый оптимист Дюрсо рассчитывал достать на месте. Кроме обиходных вещей, в чемоданах помещался запас контрабанда изготовленных, **левых** афиш, впрочем, так и не появившихся в расклейке из-за дважды поминавшегося там **чуда** в прямом его значении. Самое существенное Дюрсо вез в голове – стратегический план овладения туземным плацдармом для дальнейшего, с ходу, захвата попутных территорий; дальность расстояния обеспечивала разбег к генеральному штурму столицы.

Однако рекордный для великих антреприз успех в совхозных клубах и санаториях областного значения превзошел все ожидания старика Дюрсо. Удивительно то, что кое-где в глубинке потрясенная публика обходилась без положенных аплодисментов, а в одном месте на другой день после показа прорвавшаяся в административную каморку толпа местных молодкан убеждала испуганного иллюзиониста открыться народу в присущем его рангу небесном облике. Судя по намекам Дюрсо в его подробных, на болтливость рассчитанных письмах многочисленным друзьям, даже получалось, что, как не раз бывало в старину, непонятное слово **Бамба** едва не стало религиозным девизом новой политически опасной секты, угрожавшей официальному атеизму. С переездом в соседний район и чтобы пресечь нездоровый энтузиазм зрителей, старик Дюрсо ввел в репертуар старинный трюк, когда из мужской буржуазной шляпы под названием **цилиндр** извлекается нормальная яичница на троих с полдюжиной пива, а также раскладной ломберный столик, за которым оное и прикончили находящиеся в зале передовики рыболовецкой бригады под завистливое улюлюканье остальных тружеников моря. В анонимном тогда же доносе куда следует безобидный фокус был обрисован как беспримерная оргия с растратой профсоюзных средств, и дирекции не миновать бы прокуратуры, кабы не показания свидетелей, что угощение состоялось без нарушения социалистической законности, недосыта и даже стоя. В том же райкоме последовало как бы в шутку, но вполне всерьез, соблазнительное предложение артистам от персоны, глубокомысленно сосавшей карандаш, – не возьмутся ли тем же способом и по частному соглашению вытянуть из годового прорыва тамошний трубопрокатный завод? С одной стороны, патриотическое согласие Дюрсо, помимо премиальных, сулило ему почетную грамоту, снимавшую с него родимое пятно капитализма, зато в случае идеологического разоблачения обоих могли запросто переключить на дорожное строительство в необжитых районах за полярным кругом, что и заставило коллектив Бамба отказать искусителю. Перечисленные эпизоды дают представление о легенде, в образе которой докатились до Москвы южные аплодисменты.

Во всяком случае, здесь наглядно предстают преимущества Дюрсо как руководителя добрых дел сравнительно с о. Матвеем и его дочкой, не обладавшими ни его политическим чутьем, ни житейским опытом: в случае лоскутового варианта катастрофа наступила бы еще раньше. По характеру своему и темпераменту старо-федосеевский батюшка принадлежал к нетерпеливой породе русских, от века стремившихся полакомиться незрелым яблочком, чтобы по сто лет кривиться от оскомины. И если великие истины небесные, при выходе на простор проявляли порой столь разрушительные мощности, легко представить производительность вполне земной, осуществляемой обыкновенным чудом. Предвидя грозящую отсюда опасность, Дюрсо к концу гастрольной поездки, чувствуя упадок сил, все чаще напоминал ангелу об осторожности в его сиротской деятельности после своего ухода из жизни. Как ни странно, умный старик имел в виду скоростное преобразование планеты на высшую ступень благоденствия, что неминуемо повлекло бы непредсказуемые перекосы бытия.

Последний урок дан был Дымкову на другой день после инцидента в районном Доме рыбака, за неделю до отъезда в Москву и перед самым выходом на сцену.

– Оттого что, как педагог, я не терплю повторяться, – сухо и отрывисто говорил старик, набрасывая на Дымкова окончательные живописные штрихи, – то я лучше достану вам блокнот для записи черным карандашом, но плюс к тому я просто устал от вас как человек. Положа руку на сердце, зачем вам трогать незнакомые кнопки в машине, если запрещено высовываться на ходу движения из трамвайного окна?.. Или вам еще не понятно, чего мы коснулись через тот несчастный ломберный столик, решаясь пятью хлебами накормить зрительный зал? Хотя по независимым причинам я уже не могу вас познакомить кое с кем, которые вступали в разногласие с научным марксизмом... Но не в этом дело! Даже согласен допустить, у вас имеется серьезный аппарат самозащиты, но молния небесная тоже сердитая вещь... И плохо, когда мальчик с неполным техническим образованием загоняет ее в специальный медный завиток, чтобы крутила вытяжной вентилятор в пивной или еще похуже. Но идите же, любимец публики, второй звонок и опять запаздываем...

Ни битковые кассовые сборы, ни открывшаяся вкруг загадочного ансамбля корреспондентская суетня, ни телеграфная пристрелка прогорающих филармоний – ничто не смогло успокоить старика Дюрсо. Не рассеяло его тревожных предчувствий экстренное от дочери, дотоле не баловавшей письмами павшего отца, взволнованное сообщение о циркулирующих в артистической среде слухах насчет какого-то милостиво-угрожающего запроса из секретариата товарища Скуднова непосредственно вострепетавшему цирковому начальству, когда же наконец предполагается порадовать и столицу выступлениями виртуоза-волшебника, прозябающего ныне где-то на задворках среднеазиатских республик?..

Вследствие общедоступных билетных цен на любые зрелища блистательный успех почти двухмесячного триумфа выражался скорее в моральных достижениях, нежели финансовых, и еще – в частичном подавлении гадкого самочувствия социальной неполноценности. Натерпевшись от мелких властей, он все чаще теперь в жалком опьянении надежд, навешанных дымковским могуществом, и помимо воли рисовал себе картинки реванша, одна другой безумнее, к примеру – как за утренним кофе в своем апартаменте слушает он божественный храп у себя за ширмой, где на оттоманке, после ночного сабантуя отсыпается некто, самый ужасный всех эпох и народов... Но самое мучительное заключалось в догадке, что волею ангела, в котором уже не сомневался, в достигнутой стадии, это кошунственно-фамильярное пожелание становилось осуществимо.

Возвращение из турне партнеров никак не походило на их полуворовской, крадучись, отъезд. Всю дорогу поездные официанты вагона-ресторана с нетронутой пищей под салфеткой, не щадя профсоюзного достоинства, взад-вперед носились к ним в купе, откуда в придачу к кофейным и цитрусовым ароматам валились клубы сигарного смрада, который при врожденном отвращении старика к табаку служил показным фимиамом высшего процветания. Сколь преображает человека удача! Сидя против зеркала, Дюрсо с удовольствием поглядывал на сидевшего наискосок тучного и лысого, тоже интересовавшегося им надменного господина с отвислой губой, в золотых очках и слепительно-тугой сорочке; сбоку покачивался на вешалке добротный пиджак уже без маскировочной бахромки на обшлагах. Вызывающее поведение Дюрсо диктовалось трезвой, даже заниженной оценкой возглавляемого им теперь мирового аттракциона, что позволяло ему слегка выделяться среди трудящихся с правом на мелкие прихоти, безобидное вольнодумство, а там, глядишь, и обычный в антрепренерских кругах перстень на пальце для снискания почтения у подчиненных и клиентуры. Поистине судьба посылала ему на закате последний шанс оправдать свое существование в глазах современников, правительства, покойного Джузеппе, высокомерной дочери, его величества Цирка, но прежде всего – самого себя.

Сторонних наблюдателей несколько сбивал с толку ехавший с царственным стариком, ни в чем ему не пара, долговязый спутник в помятой одежде, с подзапущенным пушком на подбородке. Закинув назад затылок, далеким от коммерции взором плененной птицы следил за танцующими снаружи нитками проводов, то и дело убегающих за верхнюю кромку окна, чтобы снова и снова спуститься в неприятную вечернюю мглу. Дюрсо не любил таких выключений, когда Дымкову при малейшей внешней помехе ничего не стоило вырваться из-под его опеки, из действительности вообще – где нет телефона и вход посторонним воспрещен. Старик начинал сознать свою **лишность**.

Ввиду того, что честолюбивым замыслам Дюрсо грозило вероятное при нынешней славе на московском горизонте возникновение какой-нибудь вздорной, оборотистой красоты, оставшиеся до столичного перрона полчаса наставник потратил на описание классических несчастий любви. Коварные средства, применяемые девицами для уловления холостяков, Дюрсо подкрепил примерами из персональной практики. Проявленное ангелом неведение по дамской части в сочетании с покамест поверхностной любознательностью к предмету позволяет приблизительно датировать и смутные пока проблески влечения, приобретенные вместе со смертной оболочкой.

– Не буду вас пугать, мой мальчик, но вы обратили внимание, эти седые волосы у меня за ухом? Тогда спросите меня – откуда и почему?

– Но почему?

– Так устроено. Майское утро, и улица после поливки, и бежит такая звонкая штучка на высоких каблуках, и все мужчины задумчиво смотрят вслед, несмотря на сложное международное напряжение.

– Отчего?

– Я ждал этот вопрос. Природе нужно продолжение вида плюс к тому при виде подрастающего потомства получается моральное удовлетворение от многолетней родительской деятельности. Любое утешение, даже дети, хорошо под старость, чтоб не умереть одиноким.

– А зачем?

– У меня нет от вас секретов, но вы затронули наболевший вопрос. И если как философ заинтересовались на эту тему, то нас привозят сюда без спросу в черном мешке и в нем же увозят куда-то... плюс к тому, когда хорошенько натолкают в бока, как делал со мной мало-знакомый матрос в девятнадцатом году, плюс к тому болит сухожилие на ноге, то невольно тянет отдохнуть под каменное одеяло, то сверх того хочется еще чего-то немножко, чтобы случилось впереди.

Сквозь косые комковатые хлопья снега с вагоном наперегонки бежали в окне, подскакивая на пригорках, отставали в глубокой ложине и опять настигали босоногие березовые перелески: зима прочно держалась в Подмоскowie. Перед самым прибытием из-за тучи выглянула пролинованная лучами мартовская синева, и замелькали участвовавшие безлюдные полустанки в окружении неказистых даченок, потекла приземистая просыпавшаяся окраина, прогретая обманчивым зимним теплом. И вдруг поезд вступил в гулкие, паровозной гарью пропитанные сумерки вокзала, и почти тотчас на смену дорожной скуки и ожидания столичной новизны пришло чрезвычайное событие, которое вымело из дымковской памяти недавние предостереженья и несколько встревожило старика Дюрсо, поотвыкшего от родственного вниманья, пока не увидел в нем доброе предзнаменование.

На дебаркадере путешественников встречала в окружении большой свиты молодая нарядная дама, резко выделявшаяся из бежавшего по сторонам потока пассажиров дальнего следования. Весь ее внешний облик, начиная от пышной шубы редчайшего вздыбленного меха до меховой же шляпки, носил отпечаток несвойственной эпохе дороговизны, руками опытного модельера низведенный в элегантную скромность, и даже сама тень ее от случайной фары, скользнувшая по стене, была исполнена той же праздничной необычности. Толпа бес-

сознательно расступалась перед ее строгой нахмуренной красой, а один отшатнувшийся скитско-поморского обличья мужичок с лубяной котомкой на горбу, такая же архаическая здесь диковина, как прежняя лошадь или русский самовар, проводил ее перепуганным взором, тем самым отдавая дань породившему ее аду.

По дороге к выходу Дюрсо выяснил причину появления дочери в такую рань: до шедшего сзади с чемоданами Дымкова снова донеслась произнесенная фамилия ненавистного Преснякова. В подтверждение слухов за последнюю неделю чем-то панически обеспокоенный чиновник дважды справлялся у ней по телефону о сроках возвращения отца, что сулило последнему долгожданную возможность расплатиться с гонителем по заслугам. За истекшее время Юлия ни разу не взглянула на шагнувшего рядом с носильщиком Дымкова, она принимала его как низшее, не ее крута существо из служебного персонала в ансамбле. Когда уже на площади Дюрсо обернулся было представить дочери своего партнера, назвав его в полушутку чародеем наших дней, та не отозвалась, не простилась, спускаясь по ступенькам к ожидавшему ее такси.

– Это дочь моя, Юлия... помните, выступала на испанской елке? – смущенно бормотал Дюрсо своему спутнику, который улыбкой провожал отъезжавшую машину. – Она немножко не в духе, не обращайтесь внимание. Знаете, как трудно пробиться сегодня начинающему художнику?... Должна сниматься в большом фильме, и уже все на мази, но опять затяжка со сценарием. Сто инстанций, и везде требуется понравиться, кто хочет за счет автора оправдать свой паек. Это же комедия масок, когда везде фигурируют одни и те же лица. А вы знаете, как называется стандартная роба, чтобы годилась на всех? Ведь это и есть саван...

Из предосторожности, чтобы не перехватил ужасный Пресняков, три последующих дня старик держал Дымкова у себя на квартире, откуда велись телефонные хлопоты и происходили таинственные свиданья. Сквозь щель в портьере избранные посетители допускались взглянуть украдкой на сенсацию века, как она там, полулежа на тахте и донельзя причудливо переплетаясь в коленках, в прежнем увлеченье чиркает и чиркает безотлучной игрушкой, причем посторонние шорохи и шевеленья занимали Дымкова не больше мышьиной возни. Однако, когда желтоватый отсвет вспышки заливал ему лицо, в нем читалось мучительное недоумение. Привыкшему в большой вселенной к довольно громоздким механизмам для добывания огня, умещавшийся в ладони никелированный пустячок представлялся ему поистине мистической загадкой. Стремясь удержать при себе подозрительно молчаливого и в чем-то ненадежного партнера, Дюрсо придумал трудовое нотариальное соглашение, причем Дымков с почтительной приглядкой косился на лиловую печать, утверждавшую его зависимость от старшего компаньона.

Пробное, вроде пристрелки перед штурмом столичных площадок, выступление иллюзиониста Бамба состоялось сверх программы на заключительном концерте районной самодеятельности в местном, из древней церквушки переделанном, Дворце санитарного просвещения. Свисавшие из купола кумачовые полотнища с призывами к **изживанию** всех видов чесотки и коросты, религиозных в особенности, стоявший в рядах карболовый запах и наконец завершившая антракт свалка в пивной очереди у буфетной стойки как нельзя лучше оттеняли реалистичность показанного затем номера.

В строгом согласии с замыслом руководителя Дымков вышел в черносатиновой, символами Зодиака расшитой мантии, из-под которой виднелись недостававшие до ботинок штаны и носки варварской расцветки. Позднее Дюрсо удалил из аттракциона псевдомагическую мишуру, оставив ему постоянный рисунок обыкновенности, придав исполнителю сохранявшуюся уже до самого конца комическую маску провинциала, озадаченного своим талантом чудотворения.

Первое успешное выступление дебютантов Бамба состоялось в подмосковном совхозном Доме культуры с предварительной рассылкой экзотично-безграмотных, щербатым шрифтом отпечатанных приглашений падким на вольнодумные пряности и наиболее разговорчивым

гуманитарным деятелям, в конечном итоге создающим общественное мнение столицы. Заранее подпущенный слушок о феноменальных способностях иллюзиониста, урезаемых наблюдательными органами, вызвал наплыв безбилетной публики, что при ограниченной вместимости зала вызвало желательную, с милицейским вмешательством давку при входе, а помятые бока подтвердили общественный интерес к зрелищу. Умелая тактика Дюрсо сказалась и в подборе самой программы, наглядно составленной из затрепанных трюков базарного чародейства вроде голубей, вылетающих из ведра, откуда только что текла нормальная вода, или обнаруженного в рукаве голосистого петуха (который недели две спустя однажды по озорству Дымкова и недосмотру руководителя имел неосторожность превратиться в небольшого страуса). Вопиющая банальность номеров вызвала в публике многозначительную переглядку, сменившуюся во втором отделении овацией сочувствия к артисту, поставленному в рамки социалистического реализма. О возрастающей популярности Бамба можно судить по тому, что на повторное, через два дня, представление неожиданно из своей находящейся поблизости загородной резиденции прибыл с семейством и секретарем полупредседатель чего-то труднопроизносимого и, так сказать, правая рука видного товарища, выполняющего кураторские обязанности по одной почти первостепенной отрасли и в данном качестве обладающего правом внеочередного доклада помощнику секретаря личной канцелярии теневого сотрудника из ближайшего окружения подразумеваемого верховного лица, первейшего не только в нашем полушарии, но и в отношении всех прочих веков, меридианов и континентов. За отсутствием правительственной ложи и для лучшего обозрения почетным посетителям, благо инкогнито, были поставлены стулья прямо на эстраде, чуть сбоку, так что гости оказались на положении невольных арбитров, причем все, особенно малолетние внуки, дружно смеялись на порхающих по залу голубей и хлопали не только младшему Бамба, но и главному, выступающему с научным предисловием, чтобы чуть сгладить впечатление мистики. К ужасу администрации, вдохновленный успехом Дымков показал девочкам кое-какие штучки в своем любимом пиротехническом жанре; по счастью, языки огня сразу по достижении деревянных стропил превращались в барашков маловероятной породы, бездымно растворявшихся в воздухе. Несмотря на свою суровость, глава семьи в общем и целом одобрил программу, однако отечески предостерег как от опасных формалистических увлечений, ослабляющих просветительно-воспитательную сторону искусства, также и от не менее чреватых последствиями нарушений правил пожарной охраны. Видимо, в тот же вечер и состоялся его взволнованный по телефону доклад шефу о своих впечатлениях, потому что уже через пару дней на внеочередной сеанс **Психотехнических опытов Бамба**, как значились теперь их выступления на по-прежнему скромных, но уже типографских афишах, без всякого оповещения прикатил тот самый теневой кандидат в соратники т. Скуднов.

Все представление с начала до конца он посмотрел из-за кулис, однако охранительное оцепление запасных выходов было своевременно замечено в зале, только традиционная скромность высокого гостя, его чисто народная приветливость смягчили возникшее было напряжение, даже ободрили струхнувший было служебный персонал и артистов, чье патриотическое воодушевление незамедлительно пролилось на зрителей...

Кстати, сам Скуднов оказался горячим поклонником искусства, а для Дюрсо с уязвимой биографией было бесполезно заручиться его покровительством, на случай возможных все от того же подонка Преснякова клеветнических обвинений в мистике. С этой целью, после сеанса и сквозь охрану прорвавшись к влиятельному гостю, старик предпринял попытку с помощью научных иностранных слов обосновать коренное преимущество **нашей** социалистической магии: если в капиталистическом лагере возникновение кур и голубей производится предварительным помещением их в скрытом контейнере, то есть прямым обманом трудящихся, то артисты Бамба обходятся лишь приемами иллюзионного мастерства или посредством **манипуляции ничем**, что достигается проще и дешевле. Неподкупный соратник не

торопился высказать свои суждения раньше срока и по окончании вечера за дружественным чайком в директорском кабинете никаких ожидаемых наставлений не давал, напротив, сам осторожно расспрашивал кое о чем, в частности, интересовался домашним бытом факиров, на что получил исчерпывающие ответы. Тронутый расположением влиятельного современника, старик Дюрсо с ходу подарил Скуднову оригинальную мысль об учреждении ежегодных, по образцу европейских, карнавалов атеизма с заключительным в конце сожжением обрядной утвари, не только иконостасов или церковных книг, но и картонных, с пиротехнической начинкой, фигур и масок людского суеверия вроде домовых, леших, оборотней, русалок, Мефистофелей, золотых тельцов и прочей нечистой силы всех мастей.

– Но шествие должны возглавлять живые, желательно настоящие, специально мобилизуемые на этот день, истинные приспешники ниспровергнутого мракобесия – всякие там архимандриты, ксендзы, шаманы, аббаты, иеромонахи, наши местные иереи, митрополиты, проповедники... – в режиссерском запале захлебнулся он.

Товарищ Скудное сдержанно похвалил богатую идею, хотя и сомневался в ее осуществимости.

Газетные перестраховщики, обученные молчанию горьким опытом позади, до самого конца так и не поместили на своих страницах ни строчки о бурно начавшейся сенсации. Покамest аттракцион Бамба все еще кочевал по эстрадам московских клубов, распределение билетов велось через отделы кадров с заполнением специальных анкет и чуть ли не взятием подписки о неразглашении. Всякая клевета носит причинное клеймо своего происхождения. Однако сущая правда, что дипломатический корпус в конце месяца получал билетные лимиты через Министерство иностранных дел.

Стремительному дымковскому восхождению в зенит, кроме его неоспоримых достоинств и общественной потребности в какой-то встряске, помогло и всегдашнее пристрастие толпы к новым талантам, точнее – полубессознательная страсть к чрезмерным рукоплесканиям поощрять их на свержение маститых вчерашних фаворитов. Громоздкое падение кумиров, всегда служившее ей лакомейшим противоядием от житейской скуки, примиряло ее с собственным ничтожеством. С самого начала угадывалось вдобавок, только трепаться избегали вслух, что тот чудной, чуть ли не в опорках выступающий парень при желании мог бы доставить житейскую неприятность кое-кому рангом покрупнее. С первого раза, когда весть о нем в сотню восторженных глоток распространилась по столице, и началось смутное, очагами пока, движение сокровенных дум, грозившее при дальнейшем попустительстве властей и философского сыска перерасти в повальную эпидемию опасной беспредметной надежды с переходом в национальное безумие, с каких всегда зарождались стихийные религиозные бури.

Каждый вечер у неказистого барачного строения, где помещался клуб, выстраивались, помимо отечественных марок, заграничные машины с посольскими флажками, а наряды конной милиции теснили прочь напивавших, уже не только местных паломников, быстро превращавшихся в низкую чернь.

Тогда-то на одном авторитетном совещании где-то и было оглашено ворчливое недоумение в адрес бывшего директора цирка, ныне уже заправляющего республиканским искусством Преснякова. Кто персонально или по чьему-то злостному наущению вынуждает артистов популярного жанра скитаться по столичным задворкам? Тотчас озабоченный Пресняков спустил команду по инстанциям, и надлежащие механизмы пришли в движение.

Артистическая среда с замиранием сердца следила за всплесками на поверхности от совершаемых в глубине мощных соударений хвостами. В силу святости, наложенной на ансамбль посещением Скуднова, старик Дюрсо брал единственно измором. Сославшись на отсутствие штатов для канцелярской переписки и даже за недосугом, он оставлял без ответа вызовы прибыть для личных переговоров и одновременно переключился на бесплатное обслу-

живание инвалидов домов и сиротских интернатов. Не помогла и подсылка к Дымкову красноречиво-юридического змия, который не был допущен на порог.

Директивный гром над повинными головами грянул в виде гневного телефонного звонка: доколе будет длиться почти двухнедельный саботаж распоряжения о переводе подразумеваемого волшебника оригинального жанра в стационарный режим? Когда же посрамленный начальник сам отправился в свою Каноссу к скандальному старику, то, как рассказывала кулуарная сплетня, торжествующий Дюрсо, несмотря на полуденный час, принял гостя в халате и будто потребовал от посетителя удостоверяющего документа.

– Ладно, сдаюсь, не ломайся, победитель! – с кинжалом в сердце маялся тот, действительно поутративший сходство с самим собой от душевного перекося.

– Помнится, тот потолок был, – пояснил хозяин и, что совсем маловероятно, по внезапному нездоровью удалился в подсобное помещение, предоставив посетителю слушать музыку низвергающейся воды. Не исключено, что чересчур резкое издевательство разгневанного импресарио над номенклатурным чиновником обошлось без последствий потому лишь, что престижные шансы ангела успели не без участия самого Дюрсо возрасти в надлежащей инстанции, где уже вызревали кое-какие соображения об использовании заведомого чуда в эпохальных целях.

Вознесенный из пучины прямо на верхнюю палубу, Дюрсо почти растерялся от нахлынувших на него приглашений и приятных обязанностей: почетных президиумов и не частых, но умных зрительских посланий с благодарностью за надежды, навеянные внесенной свистопляской подпольных догадок вокруг парольного слова **Бамба**, ставшего в значении желанного чуда. Отсюда появившийся белый халат Дюрсо, его вступительная минут на восемь брехня перед сеансом, состоявшая из иностранных слов в сочетании с затрудненным синтаксисом, которые придавали мнимо философскую маскировку аттракциону с его откровенно убогой начинкой.

Документальное повествование требует хотя бы частичного воспроизведения нашумевшей лекции, походившей на собрание типографских погрешностей. Первая половина ее, достаточная для знакомства с научными воззрениями лектора, приводится в сокращенном и синтаксически подправленном виде:

– Граждане и дамы, ученые коллеги плюс к тому гости издалека! Коллектив Бамба благодарит вас, что нашли время посетить эвентуальную сенсацию века. Она находится в пограничной области позитивной реальности, хотя и не всегда, но вы не потеряете на этом деле. Интересующиеся зрители могут полистать энциклопедию на букву М, под названием магнетизм, а также мои личные заметки из практики дореволюционного периода, коли посчастливится найти у букинистов. Иногда несколько строк, но дело не в длине. Многих с глубокого детства волновала проблема передвигать предметы без прикосновения пальцев. В наши дни достигнутого образования это большая редкость, если не считать бывшего директора цирка, сумевшего в короткий срок незримо переместить часть казенной мебели, два персидских ковра, также четыре грузовика строительных досок себе на дачу, но не будем отнимать хлеб у прокурора, к сожалению, не все открыто в мире, как хотелось бы, несмотря на то, что передовики ума научно стараются вырвать ключи у природы, не покладая рук. Некоторые всю жизнь топчут чудо у себя под ногами, чтоб открыть напоследок дней. Так или иначе после долгих поисков удалось отыскать выдающийся психотрон, который будет минуту-другую спустя. Плюс к тому я выступаю здесь скорее как медицинский друг артиста, немножко аматер-переводчик.

Трудно поверить с одного раза, примириться с действительностью, что увидите перед собою, однако придется, – продолжал Дюрсо, обращаясь в обе стороны, – потому что, если посмотреть всерьез, здесь действует господин факт, то есть обыкновенный материализм, который много раз случался в истории позади, но мы вынимаем из сундука, перешиваем и носим с другими пуговицами. Еще индийские йоги замечали, если усиленно глядеть на протянутую руку, то со временем получается кожно-гальваническое раздражение, багровый пузырь

с отеком. Можно проверить на себе, но не слишком, чтоб не получился хронический дерматоз, и напротив, столбик градусника остается без движения, тоже самое вольтметр. Объясняется совсем просто, что действуют тут не устаревшие инфракрасные лучи, а какие-то динамические, верней всего, митогенетические, настолько малоизученные, что не ухватишь невооруженной рукой. В конце концов мы действуем исключительно на ганглионарную систему, не затрагивая психику. Если взять под микроскопом вибрации психо железистых клеток независимо умственного или пищеварительного профиля, то получается ясность всего механизма. Как вы уже догадались, тут все дело глубже, чем кажется, но потребуются еще доказать обратную связь. Если подходить без марксизма, но кто подкован заранее, тому понятно, – все зависит от молекулярного натяжения в телах. Главное, что здесь нет ничего мистического, а напротив, каждый может иметь свой феномен в домашних условиях, конечно, не сразу, если есть время и желание. Я не настаиваю сказать, что каждый сможет то же самое, как вы увидите сейчас, но почему не попробовать если не в научной обстановке, то для гостей, где имеется достаточный потолок для летания. Великий наш предшественник открыл, что душа не более как временный импульс молекулярного химического происхождения. Хотя, безусловно, имеется вещь внутри нас, которая всегда тревожила умы насчет того, что еще может находиться там, где уже нет ничего. Недаром некоторые изобретают разные чудеса в личных интересах, с чем мы должны бороться, пока не кончится. Но не надо забывать, что все на свете копится для перехода в иное качество, когда осмысливается полная чаша. Вообразите поверхность конуса и по спирали вверх бегущего человека, то что получится, когда, как в анекдоте том, чтобы прыгнуть, не может быть и речи, потому что некуда? Без преувеличения сказать, надо иметь стальные нервы выдержать такое переживание. Невольно можно оказаться в тупике, и только у кого передовое воззрение – это не грозит. Заметьте, что к магнитному полю Земли это не имеет никакого касания, но прибавьте сюда принцип неопределенности, и вы сразу уловите, в чем таится подвох. По полученным сведениям, японский профессор Мирулава с острова Тудор в настоящее время вычисляет амплитуду мозгового генератора, чтобы получить лечебно-промышленный эффект. Пожелаем ему успеха от лица собравшихся, но, повторяю, имея голову на собственных плечах, каждый может выполнить по той же программе у себя на дому при условии полного напряжения сознательно-волевого комплекса. Здесь неплохо слегка помечтать про завтрашний день, но не слишком далеко, чтобы не разочароваться. Даже ребенок может подсчитать, сколько получится пользы, если объединенные народы научатся излучать свой избыток на коллективную турбину, чтобы иметь в неограниченном количестве пищу, дешевый ток и всякий ширпотреб. Тогда мы взойдем на сияющую вершину, куда глядели великие классики утопизма. Еще немало можно сказать в пользу прогресса, чтоб не оставалось недоумения, но я согласен – есть опасность, что тем временем перестанет ходить трамвай. Итак, прошу тишины, чтоб всем было видно происходящее перед вами, – заключил лектор, водворяя порядок на вдруг зашумевшей от нетерпения галерке.

Коронный номер под названием **урок плавания** занимал все второе отделение и состоял из веселой пантомимы с привлечением двух подставных лиц. Прежде чем спохватился заохавший владелец, сложенное им было на барьере демисезонное пальто вскочило и резво выбежало на середину манежа, откуда уморительно обоими рукавами поманило к себе другое, тоже из-за духоты брошенное на поручень кресла пальтишко **мальчикового** размера, как значилось в либретто авторского сценария. Сделав бросок вперед и с полуминутной оглядкой, старшее плавно, крупными саженками поднималось по кругу, младшее следовало за ним беспорядочным собачьим броском, стараясь по-детски повторять показанные ему фигуры высшего пилотажа. Время от времени оба резко проваливались в воздухе, тогда у публики замирало сердце по отсутствию у них спасательных приспособлений. Наподобие крылатых скатов морских, пронесшись над еле пригнувшимся оркестром, наставник со своим учеником достигали купола, где отдыхали на трапециях, причем первый, в предвидении шалостей, второго предусмотритель-

тельно обнимал за плечо. Номер поражал художественной обработкой подробностей, и когда на крутом нырке из бокового кармана у главного выпадало яблоко, также сыпалась денежная мелочь, он настолько осмысленно, выгребая одной левой, хлопывал себя справа для выяснения, цело ли остальное, что невольно напрашивалась параллель с человеческим телом, тоже совершающим иногда разумные действия при отсутствии головы.

Примечательно, что вся эта непотребная клоунада, начиная с комического конференса старика Дюрсо, проходила при благоговейном молчании зрителей.

Нарочито простонародный сценарий аттракциона под названием «Бамба-2», шарлатанская вступительная лекция, где сам старик Дюрсо ловко дискутировал о чем-то, в сущности ни о чем, со светилами несуществующих наук, и наконец трудность с получением пропусков на закрытые сеансы лишь умножали скандальный успех крупнейшей зрелищной сенсации того полугодия, потому и лакомой для столичной публики, что правильно понимала неизбежность балаганной упаковки как надежного прикрытия чуда от цензурного запрета, пока судьба не погасила его в самом расцвете подпольной славы.

Бесплатное приложение к аттракциону состояло в полдюжине старомодных расхожих балаганных фокусов и трюков, хотя и осуществляемых не ловкостью рук, а той неведомой силой, на которой строится все второе отделение. Несомненно, можно было придумать сюжет тоньше и лучше, чем получилось, но объяснялось это не отсутствием режиссерского вкуса, а сознательным стремлением Дюрсо снизить эстетическую сторону спектакля, свести номер на уровень ловкого фокуса и тем самым ограничить возможности Дымкова, который из благодарности за энтузиазм восхищенному зрителю допускал иногда **на бис** идеологически криминальные дерзости. Однажды, например, при показе обязательных голубей как бы нечаянно выскользнула из рук бывалая фаянсовая ваза, где их помещалась целая стая, и маэстро виноватым мановением руки к неудовольствию штатных блюстителей здравомыслия, неизменно присутствовавших в зале с целью философской правоверности и чьей обязанностью было следить за буквальным выполнением магических процедур по сценарию с визой Главного репертуарного комитета, срстил воедино разлетевшиеся осколки, чтобы через мгновение вылить оттуда же полведра оставшейся там воды. Напрасно администрация категорически запрещала приносить с собою фотоаппараты будто бы из опасения, что снимок выявит иллюзионную подоплеку сенсации. Распускаемая очевидцами молва о такого рода досадных случайностях создавала спекуляцию контрамарками у входа и повышала престиж аттракциона. Кстати, чрезвычайной отмены спектакля не случалось ни разу, потому что детское изумление наблюдателей, превозмогавшее служебное рвение, заставляло их всегда досмотреть чудо до конца. Не исключено, однако, что поведение расшалившегося артиста объяснялось не только его щедростью к аплодирующему залу, но повторным присутствием в первых рядах молодой, выделявшейся своей вызывающей скромной нарядностью, с биноклем в руке, несмотря на близость подмостков, странной дамы, которая тем именно, что единственная в толпе не проявляла восторга, и вдохновляла его на скандальные вольности сверх программы.

В ту пору мир и сам Дымков еще не знали, что это и есть восходящая звезда экрана Казаринова, для которой, судя по уверениям восторженного хроникера, уже готовился выдающийся сценарий фильма, какому суждено стать поворотным этапом в истории мирового кинематографа. К слову, вторично Дымков увидел ее на том представлении, когда разбитая ваза предстала в своей прежней аляповатой целостности.

Еще в машине по дороге домой старик не преминул сделать столь суровый очередной разнос компаньону за недопустимое и чреватое последствиями поведение на сцене в отношении грошового реквизита.

– Я не виноват. Когда все захлопали и закричали, черепки стали сами слипаться на полу, я им не велел, – с опущенным взором, потому что впервые в жизни, сам не зная зачем, стал оправдываться растерявшийся Дымков. – Там в третьем ряду была дама, встречавшая нас на

вокзале. Она так пристально все время глядела на меня в бинокль, и когда все поднялись, провожая нас, она одна осталась сидеть... вы не заметили?

– Еще бы... – кисло усмехнулся старик и замолк.

Он оттого лишь и опознал Юлию, что она единственная в зале не сделала ни хлопка, и, возможно, только она одна во всей Москве почему-то не просила у отца контрамарки на его сенсацию.

Следовало ждать совсем скорого теперь ее визита, но лишь дня три спустя у дочери отыскался приличный повод сломить гордыню и прежде всего побороть суеверное опасение отцовских несчастий. Будто мимоходом Юлия занесла ему ту индийскую, еще мамину, парчу, которой он перед отъездом в Азию интересовался по телефону.

– Если, конечно, не миновала необходимость... – вместо приветствия улыбнулась она.

– Спасибо, брось куда-нибудь сверток, раздевайся и входи.

Была одна существенная причина, почему в разговорах с дочерью он обходился без малейшего повреждения синтаксиса.

– Боялась дома не застать. Представляю, сколько у тебя хлопот, если билет на твоего фокусника надо заказывать через министра. Не пугайся, я ненадолго: у меня своих не меньше.

Скинув кое-как на подзеркальник свой громадный, черный, бесценный мех, она красила губы и заодно через зеркало знакомилась с помещением.

– Начались, наконец, долгожданные съемки? – иронически спросил отец.

– Не хочу портить тебе настроенье, Бамбалски... но если снова не подведут, со дня на день должны приступить к пробам. – Ее раздражение объяснялось все более в ней самой крепнущим убеждением, что эти проклятые съемки не начнутся никогда. – Ну, я очень рада, что после стольких невзгод ты совсем мило устроился. О, и даже садик под окном!

– Я живу здесь четвертый год, дочка.

– Вполне уместное напоминание, но что делать, Бамбалски: эта нескончаемая текучка всяких страхов и бесполезной беготни. – Что-то заставило ее обернуться. – У тебя кислое лицо, папа, словно я притащилась за своей долей наследства.

– Видишь ли, я знаю, зачем ты пришла.

– Такая проницательность?

– Просто неудачники с одного взгляда понимают друг друга. Ты всегда боялась боли, нищеты, даже жалости к кому-нибудь... но все равно ждал, потому что я больше не заразный. Ты пришла за игрушкой, но... остерегись, Юлия!

– Не беспокойся, не уведу... он не моего романа и у меня достаточно своих **сопровождающих обезьян**.

– Не в том дело! Но тут чего-то не надо трогать, чтоб не получилась лавина... Словом, это опасный малый, хотя не в том смысле, что однажды тебя придется собирать по кускам со всего города.

Она поморщилась.

– Фу, говорили, что мама тоже жаловалась на твой тяжеловатый юмор. Думаю, ничего не случится, если я немножко поглажу твое чудовище, даже кусочек отщипну на пробу. Что он у тебя там делает... ест, спит? – кивнула она на соседнюю комнату.

– Вообще-то он живет за городом... – заколебался Дюрсо в решительный момент, – но сейчас он действительно у меня. Такой спрос отовсюду, в том числе иностранцев... ему примеряют фрак на тот случай – если пригласят в посольство. Хорошо, я покажу его тебе.

Теперь понятны стали шорохи за полупритворенной дверью, отрывистая речь вполголоса и в одном месте как бы шелест рассыпанных по полу булавок. Почти тотчас на смену Дюрсо, побжевавшему проводить портного, вихляво и размахисто появился сам Дымков.

Он был какой-то серый и мятый, словно провалился без дела все утро, совсем обыденный в огромном неуклюжем свитере, и значит, к тому времени уже поосвободился от своего

дара предвиденья, тягостного в земной обстановке, потому что, помимо испуганного изумления в лице, сделал непроизвольное, лишь голым свойственным движенье, диктуемое чувством наготы.

– А я уже видел вас... – словно для лучшей приглядки клоня голову набок, кивнул Дымков.

– Как и я вас, целых два раза.

– А я вас три! – похвалился он.

– Верно во сне? – в ожидании поэтической тривиальности нахмурилась Юлия.

Тот по-детски потряс головой:

– Нет, очень давно. Так близко сидели, а с биноклем... У вас плохое зрение?

– Напротив, хорошее, но я не терплю никаких тайн... вообще всякой психологии. К сожалению, мне так и не удалось понять... как это вы делаете.

– Я вам охотно объясню потом, но... вам понравилось?

– Правду сказать, не очень.

– Ни капельки? – огорчился он. – Почему?

Юлия огляделась в поисках отца, но, судя по запахам и звукам с кухни, тот готовил угощение для гостей.

– Вас, кажется... Дымков? Это хорошо, потому что коротко и легко сходит с языка. Так вот... о вас столько сегодня и, главное, из-под полы, треплются по Москве, что... хотя у меня наступает хлопотливая пора, я решила потратить вечер на утоление женского любопытства. И не то что разочарована, Дымков, но все у вас там несколько пресновато, стабильно, **не для белого человека**, как сказал кто-то из моей свиты... не помню про что. Настоящий цирк не существует без стремительной динамики, без какого-то ножевого смертельного риска, иррационального потрясения... даже не знаю без чего! И это вульгарное пальто... узнаю почерк папаши...

– Поверьте, мне самому очень жаль, что вам не понравилось, – безнадежно сказал Дымков, имея в виду, словно от него требовали нечто, недостижимое даже при его возможностях.

Тогда Юлия поспешила смягчить приговор покровительственной поддержкой.

– Но вы не падайте духом, Дымков: не так плохо и вполне терпимо. – И вот уже заметно было, как благотельно воздействует на всякого неудачника властное и дружественное, свое временно пролитое тепло. – Вот я познакомлю вас с моим приятелем... он вообще универсальный талант, сочиняет все и вся на свете – цирковые репризы, резолюции для собраний, баптистские гимны, хохмы эстрадным светилам, даже однажды любовное письмо. Советую сходить в детский театр на его композицию из быта русских богатырей... можно обсмеяться, если знать подоплеку дела. Правда, он отошел от мелочи, теперь видный кинорежиссер, но я подскажу ему, он вам поможет. – Она решительно поднялась. – Словом, при следующей встрече вы посвятите меня во все ваши штучки...

Кажется, ему не хотелось отпускать ее:

– Можно и сейчас, если хотите!

– Нет, я и без того опаздываю в одно место, и, кроме того, может замерзнуть внизу бедный многосемейный таксист.

Дверь с кухни открылась, и комната наполнилась горячим благоуханием кофе.

– Ты уже уходишь? – расставляя на столе чашки, вдогонку дочери удивился Дюрсо.

Несколько пустячных, ни о чем брошенных в прихожей фраз Юлии показывали, что она почти забыла об истинной цели своего прихода, и только мерцающий, из-под шляпы скользящий по Дымкову взор выдавал ее досаду маленького разочарования первого знакомства.

– Вы непременно мне объясните механизм ваших проделок... – Она удалилась так же шумно, с ветерком, как входила, и, когда за дверью затихли поэтажные стуки лифта, Дымков

испытал еще незнакомое ему чувство – будто чего-то убавилось внутри, хотя ничего не унесла с собою.

Таким образом, постепенно умножался спектр его житейских ощущений: в придачу к легчайшему пока чувству голода или потребности в чужом восхищении, чем единственно возмещается артистическая трата себя, возникало смутное предчувствие каких-то хлопотливых и неизвестно чем вознаграждаемых обязанностей впереди, и даже сопровождалось сновиденьями, впрочем, вполне благопристойными – вроде ловли мотыльков на покато ромашковом лугу, причем – с частыми замираньями сердца от догадки, что кто-то прячется в смежном овражке. Вместе с прежними наблюдениями все это приводит к выводу, что вращение ангела Дымкова в отпущенное ему тело происходило вполне планомерно, со свойственными всему живому превращениями из невинных малюток в гнусных старцев – в силу вытеснения земною сущностью прежнего небесного естества. Немудрено, что, когда тело переполняется ею до краев, вытесняемая душа подобно пузырьку воздуха отрывается и улетает, предоставляя противнику торжествовать свою победу.

## Глава XIX

Ввиду крайне скудных сведений о краях потусторонних можно лишь гадать насчет дымковской принадлежности к тому или иному ведомству неба. Столько раз проявленное им непростительное легкомыслие начисто исключает причастность его не только, скажем, к управлению космическими стихиями, но и куда менее сложным занятием придворных льстецов, где, если и обходятся без ума, требуется известная изобретательность в разнообразии приемов. Местонахождение Дымкова на колонне, а также характер размещенных внутри ее, то и дело меняющихся пейзажей, дают основание предположить что-то вроде маячной службы на бескрайнем океане времени, в чьей поверхности, как выяснилось позже, одинаково, подобно плывучим облакам, отражаются прошлое и будущее. И, наконец, самое наличие таинственной двери да еще связка ключей в руке позволяют приписать ему заведование запасным выходом к нам **оттуда** и наоборот. Оставление доверенного поста без присмотра, как и допуск туда посторонних в лице Дуни, показывает, что и у них **там**, со скуки, что ли, случаются акты преступного пренебрежения своими охранительными обязанностями... Менее всего Дымков был бы пригоден для дипломатии.

Однако ряд неуволнимых подробностей указывает на особую, довольно высокую, хотя и не выясненную цель его прибытия на землю, вряд ли только разведывательную, так как происхождения своего он и не скрывал: чаще всего ему просто не верили. Тогда как можно было посылать с ответственной миссией настолько неискушенное существо, что сразу оступился в сети, расставленные ему с явным умыслом поймать, извлекать во всяком непотребстве и, тем самым отрезав ему обратный путь к отступлению, применить невозвращенца впоследствии для своих коварных надобностей? Еще трудней задним числом установить характер возложенного на Дымкова, заведомо непосильного ему поручения, почему и надо искать поблизости дополнительное, тщательно законспирированное лицо, осуществлявшее как наблюдение за ходом командировочных дел, так и повседневную связь с небесной метрополией. Однако и собственная его роль в **той** большой игре, наравне с прочими, старо-федосеевскими ее участниками, настолько темна и временами бессмысленна, что невольно все они представляются порой живыми зубцами гигантских сопрягающихся шестерен какого-то жесточайшего и, в свою очередь, далеко еще не главного оборжавевшего механизма, провиденциальные очертания которого растворяются в сумраке нашего неведения.

Надо забраться повыше, чтобы с птичьего, вернее, даже ангельского полета постичь назначение и логику помянутой машины, чем всегда, без особого успеха, и занималась человеческая мысль; некоторые, попроще, полагают нашу боль естественной вследствие истирания ее на износ работающих частей. Как бы то ни было, после аблаевской гибели и временного затишья местные маховики и колеса снова со ржавым скрежетом пришли в движение, осуществляя, по объяснению Никанора, энтропический перелом чего-то в ту первичную пыль, с которой якобы все и началось. Так подступила новая полоса лоскутовских несчастий, в свою очередь, открывшаяся внезапным ухудшением погоды.

Еще утром того дня, оторвавшись от каторжного верстака, выбегал о. Матвей наружу дыхнуть **однова** и никак насладиться не мог зрелищем пробуждающейся природы. Галдели на новосельях еще до Благовещенья прилетевшие грачи, а березы при каждом ветерке со скрипом потягивались после зимней спячки, и, хотя из глубин кладбища еще тянуло мертвым ознобом, по всей поляне за палисадниками сверкали озерца натаявшего снега и дымилась на припеках старая раскормленная кладбищенская земля. Уж продрог, просырал весь, а все стоял на крыльце, прикрывая ладонью заслезившиеся на солнце глаза, позабыв про лежавшее на нем задание почти государственной ответственности. То был заказ участкового милиционера, который не то чтобы оказывал преступное покровительство старо-федосеевским лишенцам, а

вот уже третий год как по перегрузке делами не проявлял на них служебного рвения. Самое обращение такого человека, как Иван Герасимович, к кустарю-одиночке, да еще при наличии спецснабжения, представлялось о. Матвею проявлением желанного тепла, участия и доверия, почти окошком из темницы в мир, поэтому не хватило совести назначить за работу истинную цену. Меж тем, вчерне готовое изделие, из сырья заказчика сшитые сапоги даже в полуотделке выглядели вершиной обувного мастерства, достичь которой батюшке помогло нередкое среди верующих состояние чисто религиозной благодарности могущественному начальнику за оказанное благодеяние, состоящее единственно в непричинении горя. Егор обещался по возвращении из школы навести на них последний глянec, но и теперь они могли бы служить украшением любого жилища среднего достатка, кабы приступившая к предпраздничной уборке Прасковья Андреевна не потребовала от мужа расчистки его рабочего, всякой подсобной снастью загроможденного угла.

После обеда батюшка и отправился в обход заказчиков, хотя обычно это поручалось Егору, которого в тот день вызвали в школу на субботник по сбору металлолома. В силу обострившихся гонений о. Матвей последнее время избегал без острой нужды показываться на людях, хотя самая кратковременная, в пробежку, вылазка доставляла ему больше сведений о нынешнем мире, нежели прочтение газет. Для таких походов старо-федосеевский батюшка облачался в особо неприглядную кацавейку и повышенной емкости шапку с целью сокрытия длинных волос, чтобы видом своим не наводить подростков, особенно при подружках, на грех поношения, слишком соблазнительный по причине его ненаказуемости... Сразу по выходе на крыльцо обнаружилось, что недавнего внешнего умиления не осталось и в помине.

Колючая снежная крупка порывами стегала притихшую природу, попрятавшую куда пришлось и воробьиные забавы, и водяные зеркальца, и совсем было набухшие древесные почки. Поеживаясь от пронизывающей поземки, бежали, как и в будни, всевозможные труженики и их иждивенцы всяк себе на уме и, казалось бы, в разные стороны, но все одной семьи по какой-то сиротливой помраченности во взорах. Лишь по миновании мигавшего огоньками Мирчудеса и не доходя районной сберкассы, попалось о. Матвею благоприятное исключение. На приступках торговой точки с вывеской **зоомагазин** продавалась разная мелкая и бесполезная живность, и в окне соответственно была выставлена снасть для ее ловли, домашнего содержания и ухода. По оживлению у входа кто-то даже высказал вслух догадку, что ввиду усиленных международных расходов выкинули к празднику какое-то импортное баловство. Решаясь и на себя потратить копеечку времени, о. Матвей поднялся туда вместе с другими во утоление любопытства.

Немолчный птичий галдеж переполнял душное помещение, и, хотя ничего соблазнительного не виднелось на прилавках, почему-то все там годилось для плодотворных размышлений: райские рыбки резвились в волшебном зеленом плену, свидетельствуя о выгодах отсутствия разума, и, по соседству с ними, озябшие ужи свисали на обглоданных сучках, внушая людям законную гордость по поводу конструктивного преимущества. Все теснились почему-то в правом дальнем углу с абсолютно голыми полками и при почти трамвайной уплотненности не бранились, не пропихивались вперед, а стояли смирно, слегка в испарине от спертой духоты, поглощенные какой-то происходившей там чрезвычайностью. И едва о. Матвей легонько втиснулся в толпу, его сразу, несмотря что поп, да еще с таким горбом, вряд ли из почтения к одной седине пропустили к самому прилавку.

— Чего нонче дают-то? — по-свойски осведомился о. Матвей, и никто ему не ответил. Поначалу да сослепу взору его представилось как бы копошенье солнечных бликов на песочке, просеянных сквозь июльские ветви, — они оказались цыплятами, когда достал очки. На листе фанеры толклись, дремали, покачивались живые желтые шарики, и одни пытались склонуть что-то, только что приснившееся в скорлупке, другие же раздражающим писком вопрошали кого-то о том же самом, о чем и люди иногда по достижении известного возраста. Чернявая

девчонка в халате продавца машинально и красными, с облезлым маникюром, пальцами сгояла на середку подобранных на край пропасти.

Никто не приценялся, не спрашивал о породе или как обходиться с ними для получения исправных петухов и наседок, – все зачарованно молчали. Какая-то древняя тяга удерживала этих людей, заставляла забыть про должностное поручение, про дефицитный продукт, который тем временем могли расхватать. Наряду с бравыми и хорошо одетыми жителями виднелись победнее, даже совсем погнувшиеся от жизни, но и помоложе кое-кто, и так как никто не думал о себе, все они выглядели, как изваяла их судьба посредством своих железных инструментов. То была коллекция классических, словно из медицинского атласа выхваченных масок – душевных пороков и неизлечимых недугов, непроявившихся страстей, которые однажды, титаническим смерчем вырвавшись наружу, еще раз сожгли бы мир, если бы не самообуглились раньше, в самих себе, по отсутствию удачи, питания и социальных витаминов. Казалось бы, совсем чужих и ни в чем не схожих, сейчас этих людей роднила одинаково у всех светившаяся во взорах угрюмая нежность, трепетный отсвет в наклоненных лицах, как бывало от пасхальных свечей, и прежде всего смущенное, недоверчивое прозрение самих себя, где в потаенной глубине, вопреки всему на свете, еще жила искра святости и бродила среди пепла несбывшихся надежд.

Вдруг открылось о. Матвею, что и его тоже, как прочих, ужасно тянет в руку взять, согреть дыханием и заодно самому погреться об этот комочек неповинной ровно ничего не стоящей жизни. Судя по произвольному шевелению пальцев, больше всех не терпелось стоявшему рядом пожилому вроде подполковнику в бывалой шинели и, конечно, из внимания к приближавшейся тогда большой войне, заикнись он только, его уважили бы в обход циркулярного запрещения тискать товар без надобности, но ясно было, что из благородных побуждений тот ни в коем случае не воспользуется своим преимуществом, ибо о том же мечтали и прочие, а меж ними один отрок с такими кроткими очами, когда в народе говорят – не жилец на белом свете. Но продавщица сама, по личной симпатии протянула военному поддержать наиболее боевого, шумливого сорванца с темным хохолком на темени, так неожиданно и сердечно протянула, что при очевидной армейской закалке избранник не устоял перед соблазном и в ущерб своему воинскому званию даже краской залился. Никто кругом не осудил военного за согласие, не позавидовал счастливцу, обреченный отрок в том числе. И так тепло стало на душе старо-федосеевского батюшки при виде преображающей улыбки, которая подобно круговой чарке обошла уста всех, что невольно нарисовалось в воображении, как сбившиеся в кучку силы небесные, один через плечо другого, любуются сверху на происходящее в зоомагазине преображение граждан.

До вечера, пока не ударило бедой, о. Матвей ходил вяло, говорил тихо, расплескать боялся праздничное настроение. «Ведь не обилию курятины радовались, тогда чему же?» – размышлял он, приходя к выводу, что не в хваленой красоте дело либо телесной сытости, а все лучшие людские порывы, религии и утопии впоены именно из этого дивного родника: тайность обожествленной материи. И коли все непосильней становится править жизнью даже христианству, где парением духа бессмертного малость облегчается груз существования, то как же придется маяться бедному коммунизму по отсечении крыльев веры! Сочувствие его объяснялось нередким в те годы среди церковников поиском какого-нибудь примиренья с современностью. Впрочем, о. Матвей и сам понимал, что любой ее агитатор легко рассеет его потешные тревоги указанием на общеизвестные успехи воздухоплавания, преодолевающего тягу земную на основе моторостроения все возрастающей подъемной мощности. Пока обходил заказчиков, погода вовсе потускнела, и в силу возраста старики радость поразветрилась, так что на обратном пути, поближе к сумеркам, от всего праздника только и оставалось благостное утомление, как в прежние годы бывало после вербной всенощной. Тем временем подступил и вечер – не самый страшный, пожалуй, зато и самый долгий в домике со ставнями.

В такие минуты, естественно, возникает потребность к душевной беседе: отогреть замерзшую птичку, проявить милость к падшему, если без особого расхода или чрезмерного напряжения сил, а тут и случай подоспел. Сразу по вступлении в ворота обители о. Матвей усмотрел в глубине рощи пробиравшуюся меж ветвей искру, крайне его насторожившую, хоть пожаров на кладбищах и не бывает; следом пропорхнула другая, пошустрей. Даже глаза себе усиленно протер для верности, когда же потаяли цветные круги в поле зрения, то дополнительно к прежним уликам уже не без гнева, батюшка учуял носом распространявшуюся гарь, и как бы сгущение воздуха чуть затмило сквозившую меж деревьями зорьку. Исхождение дыма из суховеровской усыпальницы указывало на затянувшееся там пребывание странника Афинагора, впервые и то косвенно напомнимшего о себе за всю зиму. Еще утром подобное открытие повлекло бы немедленно его изгнание, так как отныне, по миновании снегов, столичные сыщики, повсюду рыскающие за врагами коммунизма, запросто могли застукать сокрывающееся здесь без прописки подозрительное лицо – с болезненными для старо-федосеевцев последствиями. «Уж и весна на дворе, а он все тут!» Однако извинительное для хозяина и родителя негодование сразу погасло: старец представился о. Матвею лежащим на обледенелом, без подстилки, гранитном ложе, в немоцах возраста и бедственного одиночества.

Неслышно пробравшись на кухню, чтобы матушку не пугать, а пуще – не беречь одну незажившую материнскую рану, батюшка наскреб отовсюду всякой всячинки съестной пригорюшки три, где среди третьевешной еды попадалось и совсем свежее, а бродяжке все впору!.. Скорой рукой, пока матушка с погреба не вернулась, поклат в порожнюю консервную банку, годную и котелком послужить в дальнейших странствиях, сверху же квашеной капусткой прикрыл и, увенчав сооружение горбушкой хлеба, вынес под полкой... Жаль еще, леденцов в бумажке не прихватил – подсластить злосчастному старику созревшее в нем в дороге отказ-приказанье, чтобы враз по выздоровлении исчезал бы отселе с глаз долой. «Христа ради, покинь нас сирых: без тебя трижды на дню с жизнью прощаемся. Зимку дотерпишь кое-как, вон звери-то не помирают, а летом везде тебе шалашик. Конец, конец нашей милости!» И вдруг разум опалило догадкой, что совсем близко теперь – развееся и лоскутовское гнездо по ветру русской смуты, и кабы не тянули постылые начальники со сносом Старо-Федосеева, поторопились бы, вот бы и попутчик о. Матвею в предстоящих странствиях по родной земле.

С оглядкой сообщничества о. Матвей протиснулся в решетчатую калитку, нажал плечом пристывшую к наледи дверь и в нерешительности замер на пороге: ничего было не слышать, кроме бульканья. Однако блаженное, хоть и с придухом перегретого железа, почти банное тепло вместо ожидаемого чада, равно как и обшитые фанерой стены, заставляли забыть недавнее назначение каменного каземата. Глухая при входе занавеска преграждала путь, образуя род прихожей – повернуться разок, но в просвет справа, где-то вдалеке, виднелась ископаемого образца печурка с докрасна накалившимся выводным коленом, и такой же пропащий чайник весело клокотал на ней, бренчал крышкой, чуть не приплясывал, что в особенности не понравилось о. Матвею. Окликнувший его голос – кто там без спросу ломится? – показался знакомым, однако легкомысленный склад речи как-то оскорбительно не вязался с обликом замерзающего старца.

– О-о, никак сам игумен пожаловал... салют, салют! – приветствовал тот же голос заглянувшего сбоку о. Матвея. – Заходи, чайком побалуемся... только прихлопни там потуже, застудишь ты мой вигвам!

Правда, на первый взгляд складывалось впечатление уютной, но крайней скудости. «Вот как надоть жить, – невольно подумал о. Матвей, – не тратя души на приобретение обременительной ветоши, чтоб не жалко было покидать, в известном смысле, съезжая с квартиры». Дивясь хитрости нищих, о. Матвей ревнивым взором обежал помещение, при очевидной тесноте обладавшее всеми удобствами пещерной цивилизации: странно, что столько умещалось там, в пространстве чуть поболее ладони. На продолговатом, под клеенчатой скатеркой, опрят-

ном столике, ничем не напоминавшем чем он был раньше, красовалась постная, по христианскому сезону, однако в достаточном ассортименте всяческая еда, даже лакомые груздочки в плошке, что для бродяги было, пожалуй, и не по чину. И вообще далеко не вся там утварь с мебелью была свалочного происхождения. Так у стенки, например, с необъяснимой точкой предчувствия батюшка обнаружил словно дразнивший своим сходством красный диванчик, выглядевший родным братом лоскутовскому **канapé**; еще прижизненное подношение одного безвременно погибшего благодетеля, оно много лет служило украшением домика со ставнями, пока под плюшевой обивкой Прасковья Андреевна к ужасу своему не обнаружила затаившихся там клопов. А несколько в сторонке... Все это время, во избежание какого-то сомнительного открытия о. Матвей избегал глядеть на постояльца, маячившего в поле зрения, но тут укорительно взглянул в упор. В левом углу, оказалось, устроена была низкая постель, надо полагать, на бросовом же войлоке с подбивкой из палого древесного листа, но прикрытая вполне добротным одеяльцем... и на ней в позе **неглиже**, с книжкой в откинутой руке, возлежал сам отшельник под сенью хорошо известной о. Матвею керосиновой лампы, каким-то способом изъятый из его собственного чулана, в добротной, самому Матвею впору меховой безрукавке, придававшей ему вид скорее вольнодумца, нежели бегствующего иерея из разоренной русской фиваиды. Но в особенности смущало Лоскутова свисавшее у того с носа, на черном шнурочке и как-то неуместное в склепе адвокатское пенсне, то и дело повергавшее батюшку в сомнение насчет реальности происходившего. Тем не менее то был несомненный Афинагор, помолодевший от бездельного оседлого житья, а землистый оттенок на округлившихся щеках можно было принять и за санаторный загар. Однако если возмутительная, на голове, шерстью расшитая магометанская тюбетейка, прямой вызов приютившей его православной обители, хотя бы предохраняла от головной боли, то чем, чем мог прельстить духовное лицо заграничный сочинитель Франсоис Виллон, чью фамилию осведомленный в латинских литерях о. Матвей изловчился прочесть на корешке книги?

Занятно, что некоторые несообразности таинственно устранялись по ходу Матвеева недоумения, – так, едва подметил отсутствие в Афинагоровом хозяйстве бадейки с водой, последняя тотчас обнаружилась в темном углу с добавлением ковшика. Единственное, способное в дебри завести, объяснение заключалось в том, что застигнутый врасплох Афинагор по небрежности или рассеянности накинул на себя первопопавшуюся личину, нимало не соображаясь со своей прежней внешностью. Покамест вступление выглядело до щекотки неправдоподобно, но так как в предшествующие годы о. Матвей по привычке и не к таким приключениям, а до ночи особых занятий не предвиделось, тут ему до жути интересно стало – что из всего этого получится?

– Уж я тебя, братец, оттаивать собирался, в живых застать не чаял... – все еще с руками за спиной заговорил он, – ты видать славно прижился у меня... эку благодать вокруг себя развел, чесаный да гладкий лежишь, ровно конь после купания.

В ответ, как бы принимая тональность беседы, тот сравнил себя скорее с полевым увядшим цветком, который расправляет лепестки, будучи поставлен в воду, и теперь о. Матвей уже не воспринял шутку как неуместную вольность речи.

– Что ж, милость божия, дрова казенные... А ты полагал, я тут салатом из саранчи питаюсь? – посмеялся Афинагор. – Садись, низковаты потолки в твоих каютах, не зашибиться бы, а я тебе чайку с ромцем плесну. Не стесняйся, присунь в сторонку банку свою собачью, завтра пташек за твоё здоровье пораду.

– Что ж, торопиться вроде некуда... – протянул о. Матвей, смущенный благоденствием бродяги.

Стало неловко не присесть на подвернувшийся за спиной чурбачок – просто из признательности, что избавил от стыда за досадное и жалкое приношение. И неизвестно, как тот обернуться успел, а уже протягивал обещанную, до краев налитую кружку:

– Бери-ка, игумен, погрейся со стужи.

И опять не было повода отказываться от дарового угощения.

– Ну, воздай тебе Господь. – Приняв в обе ладони, он схлебнул на пробу обжигающий глоток, и собеседник, словно в зеркале, сделал то же самое с тем же плебейским всхлипом. – Ничего, с ромом-то, духовито, получается по погодке напиток.

– Пускай руки сперва потешатся. Верно, от ремесла чего-то затекают, стынуть стали да и в груди, опасаясь, не завелось ли: теснит по утрам. Чужие каблуки сказываются... – И поспешно поправился во избежание иного толкования: – нет, не в **том** смысле! С прижатием-то их обрезать сподручнее.

– А может, от переживания? – подсказал мнимый Афинагор. – С Россией-то что творится...

Тут и поговорить бы, не было темы чувствительней у о. Матвея, даже в горле запершило, но свежи были частые наставления Прасковьи Андреевны во имя уцелевших деток не вдаваться в доверчивость с неизвестными людьми.

– Не, не слыхал, до нас мало чего доходит. Эва, раку из-под коряги много ли видать? Иной раз рука глазастая близ норки под пиво тебя пошарит, а то случается, мертвое тело, чужое да ислеканное мимо проплывет. Уж старый стал, потерянный: когда и ткнут, мне не больно... абы копеечку на прожитие зашибить. – Все же, как ни вилял, ни осторожничал, а потребность в новостях с воли оказалась сильнее благоразумия. – А чего с ней деется-то?

В ответ Афинагор лишь подмигнул разок сквозь непотребные свои очки:

– Уж будто и не слыхал, притворщик? Великое огнище полыхает, вот что. Который годок самоистребляется помаленьку. Видать, не терпится ей обратиться в пепелок... с целью поставленного ей предназначения.

– Да что же за цель безумная, вред себе такой причинять? – все тянул о. Матвей в полном убеждении, что его ловят на шальное словцо.

– С точки зрения горящего полена костер представляется величайшим безумием, а ты выше гляди.

– Ну, и выше... кто же он, согревающийся у нашего костра?

Кажется, начинал сердиться о. Матвеев собеседник:

– Полно ломаться, поп... видать, и впрямь за сыщика меня принимаешь. А тебя и словить – велик ли с тебя навар? Ты без философии лучше оглянись: в мире-то!

– А чего, чего в мире? – искусно и вполне уместно загорячился о. Матвей. – Сладкая чума бушует в мире, вот что. Под молитву чуть не раздевшись пляшут, на алтарях норуют сблудовать да еще при детишках, чтоб погрешнее. Грязи и в доме накопилось, **некуда** стало людям жить. А ее, нонешнюю, никаким мылом не возьмешь: ни язвой моровой, ни увещеванием Господним, ни огненным гоморским дождичком: токмо правдою... Вот Россия и кажет на собственном примере – как оно осуществляется.

– Это верно, правда до костей моет, и погребать не останется, – согласился Афинагор. – Вот я тебе про это дело знатную байку расскажу. Давай-ка, я тебе еще кружечку начежу...

Матушкин запрет **не трепаться** с кем попало вовсе не возбранял слушание чужого **трепа**. Однако построенная в стиле древнего сказания с современной словесной инкрустацией Афинагорова байка сразу заставила о. Матвея насторожиться, в пору бежать – кабы не интерес, чем окончится. Повесть свою рассказчик приписывал одной прозорливой нищенке, ветхая да сохлая была, комар с налету повалит, возраст ее, возможно, исчислялся веками в обе стороны, иначе как могла она провидеть подобные вещи задолго до начатия больших казней в России.

– ...Будто бы, едва занялось над миром черное зарево, – приступил Афинагор, – поинтересовался Господь, что за шум происходит на земле. Оказалось, что люди, уповая на долготерпение его, напирают снизу, державу за глотку берут, с кистенями на него замахиваются, помышляют о вторжении в сокровенные его сущности, для которых пока не имеют даже сло-

весного обозначения. Тут же Господь выразил пожелание повидаться с начальством, ведающим тишиной земною и благоденствием. Срочно доставили к нему на небеса, какие под руку подвернулись, мыслителей по указанной отрасли: как на подбор бритые и бравые, в габардиновых пальто до пят, в одинаковых с непрямым донцем шляпах набекрень или в нахлобучку по самые брови.

«Кто же вы такие, какое ваше занятие? – вопрошает Господь. – Что-то у вас, ребяташки, с прогрессом шибко не ладится».

«А мы те самые безумцы, которые... – хором отвечают все шестеро, хрипатые, – потому и навеваем человечеству сон золотой».

«Так уж достаточно навеяно, не пора ли перестать?..»

«Да вот люди толпятся, – объясняют предстоящие, – кровь из носа, требуют правду из темницы на волю выпустить. А мы ее не в темнице и содержим, а в храме подземном».

«Интересно, кого же вы, голубчики, и от кого охраняете? Людей от правды или самое правду от людей?»

«Толпа уже не люди, так что охраняем от взаимного прикосновения во избежание обиды».

Задумался Господь, головой покачал.

«Ах-ах, чего восхотели, по правде соскучились. Ей, чистюле, и в огне-то из-за дыма и копоты не любо, а в смертном ихнем теле какое ей житово! – со вздохом потужил Господь. – Вот и раскопают себе, сердешные, свехубойную заумность, хворь зубастую – на нее управы нет! У русских частенько хорошие мысли приходят опосля. Однако что с ими поделаешь, раз не терпится. Да она и сама, поди, по людям соскучилась, болезная: все впотьмах да взаперти!.. Сымайте с нее сбрую, пускай во взаимности натешатся досыта!» – рукой махнул Господь и отвернулся, чтоб не видеть.

Сутки утекло, пока тысячу замков да засовов отомкнули. На двенадцати цепях выводят узницу из подземелья в железных обручах для защиты от самой себя, чтобы, глядишь, не поранилась в порыве самокритики. Святая, нагая, бесстыжая, прекрасная, глаз не оторвать, без кровинушки в лице, она дрожмя дрожит, бьется от нетерпения, пламенеющим оком зыркает по рядам в поисках добычи полакомей, где чуть лжинкой пахнет...

И хотя ничего пока не случилось, а уж кущи лесные маненько пожухли, осыпались, а пташки райские, какие помельче, уголочками наземь пали, ангелята со страхом попрятались за трон Господний.

Люди, как заприметили долгожданную краю, в ладоши плещут, головные уборы вверх кидают, которые порезвее в дагестанской лезгинке прошлись на радостях.

А правда глазами рыщет – «которые там с пятнышком». Тотчас подшагнула к ним желанная-то, и не успели ближайшие картузов надеть, с голодухи, видать, вмиг целую шеренгу передовых марксистов слизнула дочиста. Как начала она их лущить, по сей день лютует: даже кого огненно куснет разок, тот, глядишь, затлел на всю жизнь, по земле в корчах катается, обугливается, самостоятельно дозревая до стерильного состояния. Втайне у каждого на уме – лжицы бы глоток хлебнуть для лучшего притворства, чтобы не сразу удалось прочесть происходящее у него в середине: артисты стали! И чуть сумленьем повеет, враз в кружок становятся и, в заливки взаимно вцепившись, начинают друг дружку убеждать, чтоб на полусчастье не оставливаться, а добиваться полной победы не покладая рук. А до чего так докатится, про то ни одному пророку знать не дадено!

Темный румянец почти припадочного вдохновения злой Афинагоровой сказки разлился по слегка запухшим щекам о. Матвея, тем самым выдавая его криминальное и безусловное авторство, потому что давно узнал в услышанном свои собственные интонации. Все последние годы он, как вся страна, вперемежку со страхами ждал апофеоза древней мечты о правде, чей приход всякий раз тормозился жуткими вспышками ее ненасытной памяти, презрением

к телесной немощи людской породы, неспособной обеспечить подвиг во имя великой цели, все разрастающейся, вплоть до вселенского масштаба. Отсюда возникали о. Матвеевы не совсем христианские опасения – можно ли (в смысле прочности) строить общественную инженерию на основе утопической догмы о братстве без учета биологического неравенства особей, большой кровью подписывая исторические документы грядущего человеческого блага?

Ни с кем из домашних, даже с матушкой в иную тоскливую ночь бессонную, не делился он горьким сказаньицем своим, так откуда же досталась она бродяге? Вспомнилось, что при первом знакомстве забредший на кладбище бродяжка духовного происхождения сообщал отцу Матвею вещи давно тому известные. Сумма смутительных сведений становилась чистейшим наваждением, забавой над бедным, запуганным попом в развязной позе лежавшего перед ним двойника.

– На погосте дрова дармовые, ишь печку-то как распалил! – хозяйственно попрекнул, ледяными пальцами охлаждая расплавленные щеки. – Развезло меня с твоего зелья. Жаркое у тебя и дорогое, видать, винишко... Отколе раздобылся таким?

– Да, вишь, милостивец влиятельный завелся у меня невзначай. Прислал бедному отшельнику душу отвести на новоселье. В одну пламенную российскую непогоду на Вятчине встренулись мы с ним, да вот и породнились на всю жизнь.

– Откуда же он нынешний адресок-то твой в таком захолустье проведаль? – встревожился о. Матвей, помышляя о неизбежной каре за непрописанного жильца.

– Беспокоишься, что без прописки у тебя поселился, милый Матвей, ибо тут, как бы выразиться половчей... действует нормальное, неподвластное милиции чудо, – легко читая опасения батюшки, насмешливо успокоил тот.

– При каких же таких злосчастных обстоятельствах довелось вам взаимно ознакомиться? – уже настороженно добивался у подозрительного пришельца приютивший его хозяин, пытаясь дознаться истины. – Значит, прочно у вас склеилось, что доселе помнит, балует поменьку?

– Что тебе сказать? Познакомились мы с ним в глухих, родных дебрях, на славной речке Кожме при весьма занимательных обстоятельствах... – И дальше потекла плавная речь уже без малейшего церковнославянского акцента.

## Глава XX

Рассказ Афинагора странным образом и поэпизодно совпадал с нижекоженскими событиями, очевидцем которых и до некоторой степени участником оказался служивший в том районе приходским священником сам Лоскутов Матвей. Получалось, что оба присутствовали при разрушении одного старинного храма, публично взорванного с целью выяснить готовность русского крестьянства к ожидающим его дальнейшим преобразованиям. Мероприятие решено было провести без лишней огласки, где поглуше, в престольный праздник, одновременно с открытием годичной ярмарки, куда отовсюду, стар и млад, стекалось окрестное население. На сей раз привычные в ярмарочном обиходе слепцы с церковным распевом, от которых скоро вовсе ничего не останется потомкам, кроме песни ветра глухонемой в печной трубе, затаенные балаганы, блины и пьяная бражка сменились полезными агитпавильонами, промтоварными ларьками и шанежками казенного производства.

Накануне, ввиду исключительной важности пробного мероприятия, местные авторы дружно говорили об исторической вредности христианства как духовного опиума, не сводя глаз с председателя делегации, который вдумчиво следил за точностью партийных формулировок.

Согласно описаниям прежних губернских краеведов наравне со знаменитой медовухой, староверческим укладом жизни и двухъярусной, крепостной прочности избяной архитектуры местных деревень славился там уединенный, на высоком берегу, нижекожемский монастырек, откуда открывался вид на серебрищиеся до горизонта речные петли и бескрайнюю северную даль, в ту пору еще не разбуженную говором топоров, гулом ворвавшейся железной дороги.

Мельком упомянутый в летописи скромный основатель обители, преуспевший в аскетическом подвиге и заступничестве зырянской бедноты от приказных ярыжек, почивал в нарядной гробнице здешнего собора и, гласила народная молва – до самой нынешней беды ни разу не покидал своей духовной паствы. Еще в начале прошлого века из тех же краев происходивший тезка святителя, видный петербургский иерарх, по случаю какой-то династической даты исключотал у государя своему земляку внушительный колокол, чей басистый рокот в пасхальную ночь катился бывало по пустынным увалам вплоть до самого ледовитого моря. Озорной литейного дела искусник изобразил на кайме под звенящим ребром пышную цареву охоту. Вослед за ускользящим единорогом мчались всадники в стрелецких колпаках и чалмах басурманских, остромордые псы, вспугнутые пташки и вихрем погони сорванный лист древесный над ними, а вдогонку во всю мощь дули щекастые аквилоны архаической метеорологии... Казалось, истории непосильно было придумать более звонкой и мирской карусели.

Незадолго до памятных событий, когда повсеместно на Руси корчевали медные языки православия, скользнувшая громада пробила свод и по дороге отшибла карниз обвалившейся затем звонницы, останки которой пошли на починку износившегося в разруху тракта. Но и немые, силуэтно возникавшие на небе обительские стены с островерхими башенками на углах и уцелевший собор за ними продолжали радовать взоры по суше и воде проезжавших мимо, а здешние старожилы в тихий вечерок слышали, как в развороченной казенной гортани полещет ветер, скулит по утраченной игрушке.

По хитрой ли инженерной механике воздушных потоков или по тайной воле святителя встречный, с присвистом и в любую погоду врывающийся через черный башенный проход сквозняк наотмашь сбивал головные уборы посетителей, не обнажавших башки при вступлении на территорию обители, будь то модная шляпка на барыньке, с красным околышком дворянская фуражка, местного богатея на высокой тулье картуз, и с подскоком катил их по скату до самой реки. Вошедшему во двор через приземистые, даже в летний зной прохладные и грузовиками обшмыганные ворота открывалась картина крайнего обительского запустения.

Кельи, проржавевшая кровля, усердием подвига построенный каменный святой колодец в глубине, трапезная с пробоиной в стене с правой стороны, где впоследствии искали монастырскую казну. Внешним поводом к сносу обители как раз и был помянутый раскоп, где по ночам якобы собирались ветхие старушки и, сомкнувшись в кружок для укрытия горящих восковых свечей, шепотом пели криминальные кафизмы в честь царя небесного, ибо усердием сельских активистов церковь к тому времени была приведена в категорическую непригодность для богослужения. Вообще все в обители, покинутое Богом и тронутое разрухой, само просилось назад в материнскую почву, откуда поднято было неистовым вдохновением веры. Лучше остального сохранился стоявший на подъеме в гору из ворот осужденный потомками главный собор.

Поутру, пока не развеяло, тучки застлали небо, в предвесье положенной июльской грозы с грохотом по облачным колдобинам проехал на своей колеснице пророк Илья, и пробный обильный дождичек смочил иссохшую почву. Снова проглянувшее солнышко как бы выхватило приговоренного из окружающей пасмури, благодаря чему зданье приобрело выгодный аспект для прощального с ним обозрения, чем жалостнее краса, тем милее она сердцу. То был четырехстолпный, на высоком подклете, со щелеватыми окнами-бойницами под узорчатыми кокошниками, допетровского строения храм в честь Спаса Всемилоственного. Белокаменный и даже перед гибелью блистающий суровой красотой русской древности, он как бы в похоронном до пят посконном балахоне до щемления в сердце напоминал ратного, былинной славы и бессрочной службы богатыря, а теперь базарного слепца, зияющего мраками разбитых глазниц, присужденного к плахе за чрезмерное долгожитие... На его синем со звездами исполинском куполе еще сиял позолоченный крест, когда-то ответным лучиком встречавший утреннюю зорьку, чтобы вечером проводить солнышко за горизонт, а теперь, после неудачной попытки сбить его оттуда, набекрень покосившийся, словно во хмелю от ритуальной перед казнью чарки водки, он придавал видимость трагической обреченности почтенному старцу, который послушно отдавался на волю кровных своих, сменяющих веру внучат.

С утра парило к грозе и пряной торфяной гарью припахивало издалика. Народ съезжался со всей округи, как на прежнюю ярмарку. Всем было щекотно посмотреть показательное единорство новой власти со Всевышним. Оставив подводы и стреноженных коней на лугу под горою, мужики семьями усеяли земляной вал вокруг. И оттого, что новизна застала Россию врасплох, и любая затея обходилась пока без ощутимых последствий, все, тогда предпринимавшее на глазок, казалось проще и прочнее, дешевле и доступнее. Тем не менее была учтена и здесь необходимость предохранительных мер, так что шпуры под взрывчатку в опорных узлах собора бурились изнутри здания, чтобы энергия взрыва не вырвалась наружу, поэтому многочисленные зрители со своими пестрыми узелками разместились и на утоптанной монастырской земле, равным образом на кровле прилегающих строений и могли в сравнительной близости и без опаски наблюдать историческое событие. А глазастая ребятня, как ей и положено, целыми гроздьями набилась в кроны вековых осокорей. В отличие от старорежимных гульбищ не слышать было ни бубенца поддужного либо пьяной частухи под гармошку, ни ржанья лошадей: стояла исполненная обычного в таких случаях шепотливого безмолвия народная тишина.

Мужики уже толпились вокруг временного помоста, где должно было разместиться изобильное множество приглашенных деятелей, в том числе прибывшая из столицы наблюдательная комиссия во главе с румяным руководителем всероссийского практического атеизма.

– Вот и старшие припожаловали дедушку в путь-дорожку снарядить, – вслух и со вздохом обмолвилась молодуха, шаря себе собеседника пронзительно голубыми глазами, – эк чего придумали, экзамент Богу учиняют, выманить хотят на посмеих в свое кружало! Так и дался он им, баловникам!

Отсюда, из-за жидковатого, на рогульках веревочного ограждения, виднее всего была обращенная к зрителям стена собора с полусохранившимся изображением библейского про-

рока в огненной колеснице, отбывающего на небеса. Ниже картина сменялась причудливым хаосом свежих полукружий, зигзагов и пунктирных брызг явно не дождевого происхождения. Загадку красноречиво поясняла зеленоватая непросыхающая лужица, выползавшая из-за ближней алтарной апсиды. В укромной нише за нею наспех, по неотложной надобности задерживались всякие ремонтники, кооператоры и другие посетители административных служб, размещенных в строениях упраздненной обители. Которые помоложе, по обычаю мух всюду оставлять памятку пребывания, утверждали здесь свою личность, соревнуясь с предшественниками в художестве росчерка. Никто из властей не догадался тачкой-двумя песку скрасить вопиющую мерзость осквернения. При отбытии на прощание инкогнито возглавлявший операцию товарищ из центра даже пожурил местное начальство за недосмотр и за скандальное в связи с ним происшествие, едва не воспламенившее пороховое смирение темной крестьянской среды.

Дело затянулось из-за длинных речей, где в унисон и беспощадно осуждалось православие как тысячелетний пережиток прошлого, затемняющий пробудившееся сознание трудящихся.

Меж тем, пора было начинать, чтобы управиться до грозы. На кумачовой трибуне под жгучим солнышком давно плечом к плечу томила собравшаяся общественность, шефы, ветераны, школьники в красных галстуках. В толпе, жаждающей чуда, вплотную прижатой к дощатому борту, находился свободно и, кстати – не в рясе, настоятель соседнего прихода М. Лоскутов, так что подрывная машинка оказалась на уровне его головы и в ногах у крупного тогдашнего райисполкомовского работника, коему была доверена честь с помощью оной привести экзекуцию в исполнение.

В нередких потом раздумьях о судьбе нынешней цивилизации отец Матвей датировал ее той предысходной фазой старости, когда отчаянье конца, по его догадкам, уступает место литургическому прозрению с отказом от вчерашних святынь ради некой безгреховной радости.

Все началось с того, что в предвестии обычной на Ильин день большой грозы, отдаленный, на сей раз в особенности гулкий раскат грома отвлек внимание присутствующих, никому в точности не запомнилось, откуда взялась и как оказалась за чертой оцепления под запоганенной фреской та худощавая, степенного облика и в спелых годах женщина с котомкой и бабьими за спиной башмаками, по всему пришедшая издалека поклониться обреченной святыньке, однако не из странниц или бродяжка беспамятная, которых к тому времени вывели на Руси. Бесстрашно опустившись в самую, еще не просохшую под травкой мокрядь, с приклоненной головой стояла она на коленях, словно на себя одну принимала великий грех сограждан, безучастно следящих за ходом событий, она не плакала, не молилась, лишь прощалась со своим добрым старым Богом, с буднями и праздниками отжитой истории. В сущности, единственная ее вина была в том, что она делала это без учета самой сути порохового момента – слишком медленно, истово и до жути значительно. Вдруг наступила оглушительная тишина, как призыв к бунту, с которого могло начаться стихийное и страшное пробуждение нации.

Две статные своевременно подоспевшие аккуратные бабоньки в беретиках и одинаковых гимнастерках дружно поставили женщину на ноги и, приговаривая: «Пойдем, болезная, пойдем, отдохни с дороги, голубушка, пойдем, накормим, напоим тебя, отмолишь ты свое успеешь, Он всегда на своем месте, Он Господь Бог. Сегодня в баньке попаришься, а завтра, глядишь, в поезд посадим и покатишь тихохонько к своим старичкам-наставничкам Зосиме и Савватию под крыло», – бережно повели вниз к воротам неизвестную. Она покорно шла и приветливо, кивками налево и направо прощалась с людьми и как бы даже улыбалась тому, что с ней будет. По пятнам на юбке видно было, что она промокла до колен. Некоторые вставали на стенки, чтобы лучше видеть. Все было недвижно, кроме одной фигуры на помосте с немой морзянкой жестов. Мимолетная вслед за тем, уже без свидетелей, однако не меньшей значимости повторная заминка несколько поотсрочила успешное выполнение программы.

Из окрестных жителей, собравшихся не без тайной надежды полюбоваться Божьей расправой над участниками святотатства, по разгону предыдущего эпизода, больше всех волновался Лоскутов Матвей. Приближавшаяся гроза подсказывала ему совсем другой вариант концовки, нежели знаменитое библейское сказание о свирепом, нестерпевшем глумления Елисее. Небесное вмешательство мнилось батюшке подобием внезапной молнийной вспышки, смирившей ярость гонителя, в данном случае, в лице вышеупомянутого представителя власти. Прообразом для ожидаемого в нем душевного переворота послужил один, еще на семинарской скамье пленивший юношу, евангельский эпизод. Душная беззвездная сирийская ночь, бешеная скачка по пути в Дамаск, и впереди отряда в струящемся от ветра плаще римский центурион, некто Савл, пылающий вдохновением к убийству неверных, торопится завершить задание по истреблению собравшихся там презренных назареев, пока на всем скаку не вразумил его кроткий, из облака, вопрос гонимого Иисуса. Чем чернее грех, тем плодоноснее покаяние.

Именно этот эпизод заставлял священника вглядываться в стоявшего на возвышении над ним чиновника – в ожидание, что вот-вот в решающую минуту из руки его выпадет наземь звенящий нож и произойдет обращение нового Савла с точно такой же мученической концовкой, как у его великого предшественника. Обычно душевный перелом у большинства образцовых, канонизированных впоследствии отступников, как правило, наступал после какого-то титанического грехопадения, когда со дна пучины видней становятся светила небесные, сокрытые от нас на дневном свету, и для данной цели как нельзя лучше подходил свирепый удар, наносимый жемчужине северного зодчества. Однако что-то заставило намеченного о. Матвеем избранника в праведники медлить с исполнением приговора, и, читая на его лице душевное смятение, поп мысленно и страстно торопил его совершить теперь уже казалось неизбежный шаг преображения провинциального исполкомщика в светоча церковного возрождения.

То был русский и рослый детина, чистокровной северной породы, в комиссарской кожаной куртке и в надежных, по тамошнему бездорожью, дегтем пахнущих сапогах, опаленный огнем Гражданской войны и уже намеченный возглавить местный облисполком. По ремеслу он был отважным сплавщиком леса, обладавшим даром проводить по бурной, ранней воде от истоков Камы до Астрахани гигантские плоты **беляны**, нигде на поворотах не вымахнув их на пойму, не мазанув боковиной по яру, не пустив на молевую россыпь сплоченную древесину. Именно такие качества требовались от лиц, бравшихся вести Россию к своей исторической цели – вдобавок к репутации **всенародного** человека, доступного в беде с обладанием масштабно-хозяйственной сметкой. Словом, все здесь, кроме упущенного из виду кондового староверческого происхождения, служило **румяному** достаточной рекомендацией для выдвижения избранника на высшую административную орбиту, причем предстоящий акт был кадровой проверкой на послушность, означавшую пригодность кандидата для еще более серьезных свершений впереди. Считалось, что недостающие новичку государственную мудрость и опыт он наверстает в рабочем порядке классовым чутьем.

Неожиданно за счет новоприбывших напиравшая сзади толпа лавинно двинулась вперед, так что о. Матвей оказался в непосредственной близости, рукой дотянуться, от намеченного им в герои комиссара. И когда последний уже наклонился к стоявшему у него в ногах ящику с аппаратурой, то священник, с целью поддержать в неофите недостающее мужество при шествии его на подвиг и заодно воздать поклонение завтрашнему апостолу всея Руси, и совершил тот нелепый, вполне патологический поступок.

Ухватясь за его правую руку, уже лежавшую на рычаге адского механизма, о. Матвей смешно тащил ее к своим навстречу вытянутым губам, и тайной осталось, по какой сверхсверхкровенной логике, судя по Гефсиманской тоске во взоре, несостоявшийся страдалец правильно разгадал намерение попа, продиктованное не вылазкой классового врага – пресечь злодейство или хотя бы укусить руку святотатца, а направить его волю на стезю иную. А тот не давался, противился, силился стряхнуть его окостеневшие пальцы. И значит, в ходе начавшейся крат-

кой борьбы, по счастью, никем в толпе не замеченной, исполкомщику удалось рвануть на себя зловредную рукоятку – тотчас на другом конце провода сработали подрывные заряды.

Слегка дрогнула местность, глубинный гул прокатился в земле, и обильно изовсюду взлетели воробы. Правда, все обошлось аккуратно, управились до грозы, и ни один камешек наружу не вывалился, только известковые облачка вырвались из оконных бойниц и поплыли в небеса. Явное разочарование зрителей показывало воспитательную пользу эксперимента. Однако из-за лишней предосторожности не была достигнута и практическая цель мероприятия. По задумке властей предполагалось уронить здание покучнее, внутрь себя, на деле же, в силу скипевшейся за пять веков извести и по трещинам послойно кое-где соскользнувшей кладки храм лишь покривился слегка и замертво завалился как бы на одно колено, а просевшая кровля повисла на уцелевших столбах, свесив главу на бочок, как и положено казненным. Призрачная известковая дымка сорвалась с его поверхности и неторопливо поплыла над луговым пространством куда-то за синий лесок на горизонте. «Дух испустил...» – внятно сказал в толпе длиннотылый старик в старинном, с высокой тульей картузе и, обнажив лысину, покрестился за упокой новопреставленного. В потемневшем небе громыхнуло разок-другой, заглушая прощальную музыку, и стало накрапывать слегка. Мужики молча расходились по домам и подводам без оглядки на содеянное, не удивляясь больше ничему и, может быть, в предвиденье дальнейшего.

Близ полночи несостоявшийся неопит, успевший выяснить личность и местожительство священника, постучался к нему в одинокое на селе освещенное окошко. Их знакомство произошло при весьма забавных совпадениях, словно по чьему-то и без их участия составленному сценарию. Будто в ожидании гостя, дверь была чуть приоткрыта и неслучайно оказавшаяся в сенях попадья безопросно впустила незнакомца в избу. Еще с порога, держась за притолоку, посетитель взглянул на хозяина с особой пристальностью; переглядка, из глаз в глаза, послужила паролем для предстоящего общения. В деревянных мисках на столе красовалась употребляемая на закуску домашняя снедь и бутылка первача, без чего для разбега не обходились на Руси генеральные встречи такого рода с рассуждением о самом главном – родине в том числе. Беседа велась молча, без единого криминального вздоха. Пили поровну и при достаточной градусности напитка не хмелели, созерцая нечто громадное за пределами века, что лишь немногими угадывалось впереди. Но, значит, кому-то довелось в ту ночь мимоходом заглянуть на преступное их пиршество поверх оконной занавески, потому что через добрых семнадцать лет по доносному свидетельству расшифровался смысл того подпольного и единственного свиданья, чтобы потом получить мировую огласку.

Разошлись на рассвете без сговора и даже без рукопожатья, но как раз те, не затухавшие в памяти обоих и вслух не произнесенные слова вдохновляли каждого из них на неукоснительное исполнение своих обязанностей, в конечном итоге работавших на раскрытие таинственной миссии России в ее отдаленном апофеозе. И может быть, именно железной рукой творившие волю **вождя** его соратники ускоряли ее всемирное вызревание.

В общем, избранник оправдал надежды краснощекоего начальника. И если даже не существовало должности советника при непогрешимом властелине, то следовало учредить ее, хотя бы затем, чтобы смягчить пришлый, чужой акцент мышления, осознать недозволенные ошибки, оживить схоластическую лексику доктрины. Подобный человек – неиссякаемый кладезь фольклорных присловий и ходовых побасок – нужен был ему и для проникновения в тайники туземного характера при проведении столь рискованных операций на человеческой душе под надежной анестезией агитпропа и цепящего страха.

По своему происхождению из низов оба они, священник и комиссар, одинаково ощущали роднившую их, саднящую боль, порожденную исторической трещиной на национальном монолите с отменой древнего племенного родства, подобно матице в избе, крепившего русскую государственность.

Следователь, который впоследствии занимался этим дельцем, усмотрел в их ночной встрече, страшно сказать, как бы благословляющий постриг – идти в мир для совершения одинаково величественной двухвариантной русской судьбы. Раскрывшаяся в дальнейшем их преступная связь состояла в тайных периодических присылках пары-другой бутылок безгрешного, применительно к сану церковного винца кагора с приложением одной градусами покрепче на случай простудного недуга от поднявшегося ввысь комиссара совратившему его попу. По характеру первого же подношения без сопроводительной записки, прибывшего к нему на новоселье, о. Матвей сразу опознал личность анонимного дарителя, за служебным продвижением которого следил по газетам с ревнивым чувством дальнего родственника. Так постепенно разъяснилось, что неправдоподобный в церковной практике перевод захолустного священника в столицу, поначалу приписанный ходатайству старенького архиерея, заночевавшего под гостеприимным лоскутовским кровом при объезде своей епархии, в действительности явился следствием совсем иного покровительства и доказательством неправомерно возросшего влияния гражданской власти на дела духовные.

– Какая же ему фамилия, благодетелю твоему, разыскивавшему тебя в нашей яме? – отвергая так и просившееся на язык одно мучительное подозрение, с опущенным взглядом спросил батюшка.

– Ладно, хитри у меня... уж будто не расчихал! – в открытую усмехнулся оборотень. – Тот же самый и есть, что у тебя... Скуднов Тимофей... А что?

Еще и раньше поражало батюшку чрезмерное сближение подробностей, вроде того, например, что там и здесь румяный столичный руководитель увозил с собою в чемоданчике вынутые из-под спуда кости преподобного для научного обследования с последующим помещением в музейной витрине для верующих, а наступившая потом разборка руин на мощение износившегося местного тракта длилась три года, несмотря на энтузиазм школьников и активистов. Когда же выяснилось вдобавок и сходство фамилий благодетелей, то есть зеркальное совпадение лично им испытанной яви с приключением сомнительного собеседника, то о. Матвею стало вовсе не по себе: а не сидит ли он в пустом склепе, разговаривая сам с собою?

– А помнишь, как вкрадчиво в бывалошное время звучали у нас там вечерние колокола? – врасстяжку, чуть не вплотную прикинув к лицу отца Матвея, спросил помолодевший старец, словно длинную мучительную иглу вставил под самое сердце.

– Знаешь, браток, что-то жарко мне, засиделся у тебя, пора домой. Ну я побегу, пожалуй!.. Тебе хорошо тут бездельничать, а меня на всю ночь работа ждет, – в смятении заторопился он восвояси, осененный подтвердившейся догадкой, что в Афинагоре скрывается некто совсем не тот, кем прикидывался.

Суховеровскую гробницу о. Матвей покидал с трезвым пониманием неизбежности подобных наваждений, ибо по тем временам, учитывая феерическую логику прошлого, разумнее было для здоровья мириться с настоящим в предвидении еще более причудливых диких вещей в будущем. Теперь же батюшка не удивился ни своеобразному пещерному уюту Афинагорова убежища, ни напугавшей его прозорливости.

## Глава XXI

Лишь переступив порог наружу, ощутил о. Матвей непривычную дотоле тяжесть в теле и, видать, по причине положенного старикам весеннего расслабления, шаткость походки, а пока сидел у Афинагора, мокрый ветер поднялся и сеял из-за борта, глыбами воздуха швырялся над рощей, и та отзывалась натужным скрипом снастей. Похоже, сам просился в море мрака истомившийся у причала старо-федосеевский корабль...

К сумеркам поутихло, но ничего не осталось от давешнего, с цыплятами, пасхального озаренья, и такая вдруг открылась неодолимая, призывающая **тяга** туда, в безграничный черный простор впереди, что в пору хоть сейчас в дорогу, однако подступившая действительность, в частности – бегущая навстречу фигурка, пересекая длинный туманный луч из освещенного окна, напомнила ему о земных делах и обязанностях.

В самой близости от дома впотьмах окликнул отца запыхавшийся Егор. Оказалось, двое городских с полчаса дожидаются батюшку на скамейке под сиренью.

– Панихиду просят отслужить. Прогнать неловко, да и деньги не валяются, – деловито шепнул Егор, которому помесечные, из собственного заработка, взносы на общий стол давали право на артельное товарищество с родителями. – Обыскались тебя по всему кладбищу, с ног сбились.

– Суровый ты стал у меня, сынок, никакой поблажки старику не даешь, – отшутился о. Матвей и пожурил несмысленного, что на крыльцо от непогоды не пригласил, не отложил их просьбу до утра.

– Что за срочность у них такая на ночь глядя?

– Знать, покойнички тревожат, со временем не считаются, – со знанием дела усмехнулся мальчик.

– И то правда твоя, сынок, – подтвердил отец, имея в виду, по рассказам прихожан, достоверные случаи, когда мертвые в печальных сновидениях стучатся в сердца живых за милостыней и молитвой.

– Гражданин притащился с женой, совсем молоденькая и плачет, нервная, вроде Дуни нашей. Шибко с ними не задерживайся... у матери самовар на столе, а мы с Дуней еще в **Мир-чудес** на последний сеанс наладились, может, и Никанор присоединится, если успеет. Пока поговори с ними, а я за **прибором** слетаю... – К постоянному неудовольствию отца так именовал он парусиновый, в духе времени, маскировочный портфельчик, где у батюшки хранился походный инвентарь в случае вызова прихожан к себе на дом.

Егор потому боялся в кино опоздать, что мастер на все руки, он при малых трудах прислуживал отцу не хуже пребывавшего в длительных загулах Финогеича. Меж тем, слышав голоса, просители сами поспешили навстречу приближавшемуся священнику, – тут стороны и ознакомились в косом свете, падавшем из окна. Мужчину выше средних лет в стеганой ватной куртке и в козловых, не по сезону, сапогах сопровождала совсем юная и, насколько удалось рассмотреть под приспущенным на лоб старушечьим платком, даже миловидная, тем не менее сутулившаяся от неведомого душевного стеснения, впрочем, нередкого в ту пору и у молодежи, скорее дочка по возрасту, нежели жена, что вскоре и подтвердилось. Успевшие продрогнуть от пронизывающей сырости, они вперебой, мятыми и неточными словами изложили батюшке свою неотложную надобность.

– Ай для вас дня нету? – тронутый настоятельностью их безо времени необычной просьбой. – На ночь глядя о мертвых вспомнили...

– Извините, батюшка, так уж обстоятельства нашей жизни повернулись вдруг, – надорванной скороговоркой попыталась молоденькая объяснить свое родство с кем-то, лежащим здесь под могильной плитой, но сбилась, оборвалась на полуслове, по-детски безутешно

зажавши рот ладошкой, и так как в намеке девушки сквозила какая-то запретная чрезвычайность, жест отчаяния показался о. Матвею убедительным оправданием спешки, хотя от усталости и подумал, что по неограниченному запасу вечности усопшие могли бы и подождать.

– Понимаю, не спрашиваю ни о чем, поелику молитва о мертвых не возбраняется ни в какое время суток, – согласился священник исполнить просьбу как исключение отнюдь не из корысти и ввиду уединенного места без боязни нарушить обязательное запрещение властей совершать богослужение на открытом воздухе. – И вы, милая девушка, не убивайтесь понапрасну по невозвратному, уповайте на нечто светлое впереди, еще неосуществившееся, – сказал о. Матвей и с утешной лаской коснулся ее вздрагивающего плечика, даже нашел уместным извиниться перед клиентами, что заставил ждать на непогоде.

– Уж это скорей климат виноват, что осень у нас долгая, а время трудное, и еще не пришлось бы карточки на продовольствие вводить, – примирительно оживился мужчина, готовя нечто в кармане, предполагаемую трешницу.

– Не ропщите до поры, – для поддержания приветливых отношений возразил о. Матвей. – Не знаменательно ли, на ваш взгляд, любезный, что именно переживаемое ухудшение с пищевыми продуктами научает нас, беспечных граждан, почаще вспоминать про нужды земледелия...

– Давайте покороче, папаша, а то у нас билеты пропадут! – шепотом сбоку взмолился возвратившийся Егор, причем все у него, весь припас оказался на ходу, вплоть до кадила, раздутого, видимо, на самоварных угольках.

И в самом деле, после короткого знакомства пора было приступать к исполнению обряда.

– Ладно, ведите, где он там, ваш покойник? – поторопил Егор, мимоходом скользнув взором по циферблату под рукавом.

Панихиду требовалось заказчикам отслужить на самой могиле, находившейся где-то поблизости. Все вчетвером по щебневой тропинке они двинулись в указанном направлении до немощеного поворота, где местами идти приходилось уже гуськом. Шествие замыкал о. Матвей, на ходу облачившись в епитрахиль, а сбоку для лучшего обслуживания клиентов, чтоб не порваться о железный прут изгороди, оперативно подсвечивал дорогу электрическим фонариком мальчик Егор. После недолгих поисков шедшая впереди девушка молча, трагическим жестом указала на старинный под сиренником чугунного литья крест могильный. И не успел Егор в два-три маха разместить палый лист, как девчушка с прорвавшимся стоном рухнула на обнажившуюся и мохом заплывшую плиту. И особенно умилила священника душевность порыва, с каким она, вся трепеща, к явному неудовольствию родителя, обняла безличный камень, подобно голубице, накрывающей своих птенцов воскрыльями материнских объятий. Судя по двум скрещенным пушкам с артиллерийским ядром, следовало предположить захоронение забытого вояки не позже Севастопольской страды, возможно, прадеда чувствительной юницы. Так убедительно шло до поры, что не раз тянуло о. Матвея склониться к бедняжке с увещанием, чтоб не убивалась по давно усопшем, познавшем радость умиротворенья...

Когда же на предпоследней строфе зауспокойного гимна порыв ветра подхватил и в загробную даль понес взводистый, как оно по ритуалу положено, дребезжащий возглас священника, ко всему в придачу мерно зазвучали капли ночного дождя. Сразу выяснилось, что вымокнуть в честь возлюбленного предка не входило в намерение заказчиков, причем девушка поспешно распустила невесть откуда взявшийся зонтик, а проявивший нервное беспокойство родитель ее вмешался в ход затянувшегося обряда:

– Ну, здесь мы, пожалуй, прервем немножко наше занятие, батюшка, с расчетом перебраться куда-нибудь под кровлю, – пояснил он, прикосновеньем к плечу возвращая попа к жгучей действительности. – Извините, что ввиду наблюдавшихся уклонений от уплаты недоимок вынужден был прибегнуть к не совсем привлекательному приему для выяснения платежных

обстоятельств вашей деятельности. Очень приятно было познакомиться, я – ваш налоговый инспектор Гаврилов, а это в данном случае моя ассистентка, дочка Катя.

– Не ожидал, не ожидал... очень приятно... – невпопад, с дрожью замешательства отвечал о. Матвей, наугад передавая сыну еще чадившую кадилницу, и на повторный вопрос чиновника, найдется ли укромный уголок поблизости, где он смог бы разложить служебные бумаги, пригласил отправиться к себе на квартиру по отсутствию иного закрытого помещения, кроме неосвященного храма. – Пожалуйста за мною... кстати, тут у нас тропочка покороче имеется!

Лишь теперь преодолев ошеломление обмана, осознал о. Матвей размер постигшей его катастрофы. Налоговое обложение духовенства служило тогда наиболее частым и действенным, хотя и далеко не главным средством борьбы с Церковью, а незадолго перед тем был объявлен решительный месячник всеобщего похода против злостных недоимщиков.

Возвращались молча, уже в обратном порядке, и снова Егор из фирменной учтивости в отношении клиентов сбоку подсвечивал им дорогу. Налетевшая было шквальная буря, разродившаяся мелкой изморосью, оборвалась еще раньше, чем выбралась сквозь сиреневую заросль к себе на открытую поляну, и каждый порыв ветра стряхивал на идущих обильную капель с намокших ветвей... Плачевные соображения о последствиях случившейся беды мешали о. Матвею своевременно вникнуть в происходивший у него за спиной диалог ночных гостей. Ластясь к отцу и, видимо, желая сломить долгое родительское сопротивление, любимая дочка шепотом добивалась у него ответа – отпустит ли он ее **теперь**, после столь удачно сыгранного этюда наживки, в драмстудию при знаменитом театре во исполнение девичьей мечты, как она выразилась, вдохновлять пробуждающихся сверстников на подвиг жизни? Здесь, прервав будущую актрису кивком на священника впереди и в очередном намерении смягчить ситуацию, Гаврилов попытался посвятить свою жертву в собственные переживания.

– Лишь на склоне лет, после похорон отца, – сказал он, – по-новому раскрылось ему мистическое очарование заупокойной службы, где мелодия погребального напева органично сочетается с надеждой на потустороннее возрождение. «Видите ли, я тоже немножко верующий... с оговорками, разумеется!» Своим криминальным, по тем временам, признанием Гаврилов как бы вверял себя благородству священника в расчете на сочувственное понимание допущенной им непривлекательной процедуры. О. Матвей лишь сокрушенно покачал головой в ответ и, хотя до дому оставалось всего пол минутки ходу, тут же послал Егора предупредить мать о ночных гостях.

Таким образом, попадья успела смириться с судьбой, которую втайне предвидела, и еще на пороге с поклоном готовности встретила входящую беду, сразу опознанную по разбухшему у незнакомца казенному портфелю, на обратном пути подобранному им у крыльца. Все четверо молча вошли в столовую и стояли где кому пришлось в ожидании чьего-то хода начавшейся игры.

При виде накрытого к ужину стола чиновник извинился за нарушенную трапезу, однако на тот случай, если вдруг потребует быстрый уход, раздеться отказался наотрез и даже, отвергая нередкую в те годы попытку подкупа, заранее предупредил хозяев насчет полной напрасности надежд на малейшую поблажку. В свою очередь, матушка краем свисавшей клеенки прикрыла сдвинутую посуду, высвобождая **фину** уголок для служебной писанины. Некоторое время гость рассеянно шурился на торчавшую из-под клеенчатой скатерти рукоять большого хлебного ножа, как бы колеблясь – стоит ли ему перед столь щекотливой операцией чересчур раскрываться завтрашнему врагу, но, значит, искушение чуточку обелиться в глазах разоряемого семейства пересилило здравый смысл.

Одновременно Гаврилов профессиональным взором примеривался к имуществу хозяев. Взятая **чохом** здешняя ветошь не имела нужной аукционной стоимости, хотя в глазах нынешних уже полувладельцев даже вчерашние нехватки представлялись верхом благоденствия.

Почти не тронутый молью ковер на стене, юбилейное подношение прихожан, удивительно гармонировал гаммой красок с висевшей наискосок, старинными шерстями вышитой ценной картиной на религиозный сюжет известного **Рембрандта**. Самого батюшку несколько смущала обнажившаяся теперь буржуазная роскошь его жилья, вроде позолоченного диванчика, выше упомянутого канапе, что надменно красовалось между парных, с пружинным вздохом мягких кресел, в которые, если обновить обивку под гипюрными подголовниками, было бы не зазорно самого Скуднова усадить, кабы снизошел к ним по старой памяти, или бесстыдно разросшейся пальмы, хотя бы и выращенной из вполне дозволенной финиковой косточки, и наконец – зажженная в углу субботняя лампада, свидетельствующая о нетрудовой социальной принадлежности жильцов... Перечисленные излишества имели своим источником преступную деятельность нигде не зарегистрированной артели.

По совокупности упомянутых социальных улик фининспектору никак не грозила опасность чрезмерного перегиба, напротив – всякое превышение налоговой ставки в конкретном варианте послужило бы для начальства свидетельством его преданности святому делу и непримиримого классового чутья. К тому как раз и стремился Гаврилов, которому вязала руки беспомощная кротость недоимщиков.

По давеча снятой с ворот и уже в портфеле уличающей табличке легко было установить членский состав подпольной артели **Лоскутов и К°**, предметно выяснить персональную специальность каждого из них. Судя по запаху, за ситцевой занавеской в углу при входе обретались заказы сапожного характера, а стоило руку протянуть – и под дырявой простыней объявились сразу две кофты модной вязки, – верхнюю, только что законченную, кстати, Дуне предстояло утром отвезти к одной видной московской барыне.

– Все понятно, – с облегчением догадался он, взглянув на виновато опущенные руки хозяйки. – Это, по-видимому, уже ваше производство?

– Когда и доведется невзначай связать жакеточку, то исключительно каждый раз из сырья заказчика... – невпопад пыталась оправдаться Прасковья Андреевна.

На ее уловку фининспектор только плечами пожал:

– Ясно, не из своего же, поскольку на кладбищах стада не пасутся. Тут уже дело следователя выяснить происхождение сырья. Наш интерес не простирается дальше себестоимости, розничной цены и количества выпускаемых штук по плану. – Щадя старуху, он не помянул про обязательную в таких случаях надбавку на предприимчивость кустаря, который, работая без перекуров, непременно урвет кусочек времени у сна и домашнего досуга для умножения подлежащих учету прибылей.

Несколько иначе обстояло дело у младшего в артели оперативного отпрыска, мрачно молчавшего поодаль, мастера на все руки по части фото-радио-паяльно-часового производства и других настолько не поддающихся учету специальностей, что разумнее было исчислять обложение на глазок по совокупности валового дохода всей фирмы в целом.

Самое начало разразившейся бури Дуня мирно продремала у себя в светелке, как она любила, **начерно** перед ужином, и характерно, что негромкие, время от времени, голоса внизу, а как раз зловещая тишина пробудила ее. В отвлекающих условиях момента Дуня спустилась никем не замеченная и пристроилась за пальмой у окна.

Теперь, после беглого ознакомления с обстановкой, можно было приступить к предварительной, в облегчение совести, беседе начистоту.

Такую, не показанную в служебном разговоре, исповедь Гаврилова надо рассматривать как вполне искренний непроизвольный крик чувствительной души, в котором застрявший на нижней ступеньке служебной лестницы полуверующий чиновник выкладывался до срамной наготы. От священника, обязанного по должности своей вникнуть в его житейские обстоятельства, надеялся он получить моральную поддержку подвернувшихся лишенцев в смысле соглашения примириться с ожидающей их участью. Гаврилову было выгодно услышать от кого-нибудь

из них словцо против Советской власти, что позволяло его заветной мечте разыграться во всю ширь воображения, естественно, отсутствие ответной признательности повергало фининспектора в озлобление, снимавшее укоры совести.

Не гонясь за точностью юридических формул и вникая лишь в самую суть, чиновник попутно подчеркнул, что начавшаяся рационализация всемирной жизни является, с бухгалтерской точки зрения, дееспасительным мероприятием по размещению все возрастающих людских контингентов на прежней жилплощади с более плотной утряской за счет габаритов отдельной особи в наличные возможности цивилизации. Причем инстинкт биологического антагонизма будет гнать разъяренные массы против ненавистой элиты, даже когда та убавится до единицы, и было бы разумно, чтобы в этой схватке, когда промедление и милосердие становятся преступлением, меньшинство заблаговременно и бескровно покинуло свое место на планете во исполнение исторического процесса.

– Не примите сказанное за осуждение, но как представитель налоговой инспекции с удовлетворением отмечаю в мысленном блокноте очевидные приметы вашего преизбытка, каким не грешно было бы и поделиться с государством, – с дрожью волнения в голосе приступил Гаврилов, обводя взором лоскутовские апартаменты, чуть задержавшись на самодельной клетке с сутулой птичкой близ окна.

– Ой, никак вы на канарейку нашу намекаете? – улыбнулась матушка, почуяв в шутке просвет на облегчение. – Пичужка-то вся в наперсток, такой нахлебник и нищего не разорит!

– К тому же, в старинных казематах, в биографиях описывается, иные узники паучков себе заводили, чтобы скоротать время заключения, – тихо и значительно обмолвился мальчик Егор с опущенными глазами.

По тону и направленности своей замечание крайне не понравилось фининспектору, но он простил отроку двусмысленный намек в присутствии должностного лица, чтобы в случае повторения проучить по совокупности.

– Вы живете в полной природе, как на затерянном волшебном острове: ни тебе грохот текущей жизни, ни гарь бензиновая, – наставительно сказал Гаврилов. – Имеется большая разница, молодой человек, и не желаю вам лично испытать на собственной практике. В темнице дело не сопряжено с материальными затратами, там зверь заводится сам по себе и на подножном корму. Суть вопроса не в сравнительной дешевизне прокормления канарейки, а в самовольной прихоти ее содержателя, отсутствующей у трудового населения и, как правило, возникающей не раньше удовлетворения нужд насущных. Вот верный показатель достаточной спелости нивы для прихода жнецов! Я давно имею обыкновение, прежде чем к недоимщику постучаться, в освещенное окно к нему заглянуть, из ночи и снаружи все главное и стократ сокрытое становится виднее. Спящая в клетке канарейка служит юридическим показателем нравственного благополучия: нищему не до птичек. Если всего всем поровну, то и спрятанное в карманах души на стол выкладывай, ибо отныне каждый входит в означенный мир за своей законной долей счастья, обеспеченного всем достоянием накопленного в веках гуманизма. Сегодня новорожденный товарищ в загробный кредит не поверит. Уже с пеленок и чистоганом ему вынь да положь причитающийся паек, за которым ежедневно протягиваются мильёны рук... не пустых, заметьте! Зрячему благоразумнее добровольно уравниваться с полужрячим, за отсутствием другого способа – выгоднее глаза лишиться, нежели всего агрегата в целом, где он помещается. Видите, куда привела нас желтая пичужка. Сие только пометки на полях, главное впереди... – И глазами победительно обвел подневольную аудиторию, покорно внимавшую ему.

– Тогда я хотел бы получить официальную справку, – нетвердо и с пылающими ушами заявил Егор, – скажите, школьники также подлежат обложению налогом?

Хотя враждебность волчонка послышалась в вопросе, но в намерение фининспектора не входило причинять клиентам лишнюю боль сверх положенного.

– В наших инструкциях возраст налогоплательщика не имеет существенного значения... – терпеливо пояснил Гаврилов и вдруг с чувством приятного утомления открыл, какое счастье диктовать чрезвычайные законы на благо послушной современности. – Все решается фактом и размером постороннего приработка. Исходя из общей вашей принадлежности к одной производственной группе, можно сомневаться лишь – взыскивать ли налог отдельно с каждого из вас, для чего, естественно, потребуется доказать по отдельности, что, проживая под одной кровлей и невзирая на узы родства, вы не пользуетесь общим столом, что опровергается, так сказать, наличием находящихся перед нами продуктов совместного питания... – и он строго посмотрел на вместительную плошку с овощным, сообразно месяцу, постным крошевом, – или же...

– Простите, что именно скрывается под союзом **или**? – чуть подался вперед батюшка с надеждой на что-то.

– Ну, в последнем варианте сумма прогрессирующего обложения значительно возрастает и общая платежная ответственность ложится на директора артели! – уклончиво, с жестом непричастности объяснял он и вдруг захлебнулся словами, до жестокости обозленный настойчивым ожиданием от него чрезвычайных милостей, которые сам рассчитывал приобрести неукоснительным исполнением службы. – Мы с вами взрослые люди и понимаем, о чем речь. В большом плане и нищета не должна надеяться на снисхождение. На вашем месте, с вашим расчетом на посмертное воздаяние... да будь у меня мильён за пазухой, я бы весь, до последней копейки раздал. Приятно быть нищим в царстве небесном, на полном иждивении у всевышнего. Извините за откровенность, но в погоне за счастьем земным без помощи локтей из толпы не вырвешься.

– Ничего, ничего, – успокоительно кивал Матвей, – один брандмайор тоже на исповеди у меня так выразился, что, мол, на пожар мчавшись, как иную букашку не задавить.

Примечательно, что мирная интонация батюшки смягчила фининспекторову вспышку.

– Кстати, желательно выяснить, затаившаяся в своем уголке юная скромница и, видимо, наследница тоже возглавляет какую-нибудь самостоятельную отрасль в фирме вашей? – и пытливым глазком приласкал он и без того обмиравшую со страху Дуняшку.

– Она у нас на счетовода учится, отличница... – прискорбным голосом пояснила попадья.

Но здесь поучающий Гаврилов машинально оглянулся на давно не подававшую признаков собственную дочку и заметно с лица осунулся, едва сообразил творившееся у него за спиной. Нисколько не таясь от хозяев, завтрашняя артистка с таким откровенным вождением вертела в руках, на себя прикидывала злосчастный шедевр матушкина вязанья, словно намекала хозяевам на благоприятный для обеих сторон исход дела. С досадным запозданием сконфуженный ее манерами родитель таким бессловесным взором образумил любимицу, что едва на ставшая уликой служебного преступления соблазнительная кофта сама собой вернулась на прежнее место из ее дрогнувших рук. Вообще было крайне опрометчиво со стороны Гаврилова, вместо того чтобы отпустить домой помощницу после впервые на публике сыгранной роли, пускаться в программное изъяснение своих социально-безграничных прав на ближнего – сверх приданных ему государством на взыскание недоимок, еще неприличней при ее несомненном, потому что **доказанном** артистическом чутье. Тут же, невзирая на глухое место и поздний час, отец незамедлительно выпроводил дочку домой, после чего началась бунтовская и до последней срамоты откровенная исповедь пресловутого мелкого винтика, по его собственному определению.

– Не об одном лишь социальном неравенстве идет речь, гражданин священник! Ежели ваша Церковь с распятием во главе да и позднейшие адвокаты голытьбы в многосторонней деятельности своей воевали во имя мое, всякий раз не доводя дело до конца, то позвольте и мне в этом последнем бою высказаться о главной цели, поставленной в повестку дня. Знаменитые библиотеки, умнейшие храмы воздвигнуты во имя великого братства людского,

но вот нам надоела лирическая бормотня всяких пылающих сердец о несбыточном братстве двуногих. Мы разгадали вкрадчивые симфонии на евангельских гуслях, отступное – на усыпление бедняков и оправдание богачей. Битва продолжается уже не за сравнительную калорийность пищи или прочие классовые привилегии, а против подлейшего из всех видов превосходства одних над другими. Первый заход завершен: после двадцативековой неудачной попытки накормить пятью хлебами обездоленную паству она сама кровью добыла себе право на жизнь и хлеб вровень с самыми зубатыми и большелобыми, чтобы с разбегу двинуться дальше. Древняя заповедь сбылась – алчущие насытились, плачущие утешились, кроткие вышли из подвалов и трущоб, чтобы никогда не возвращаться. Мы еще пожмуриваемся с непривычки, но нам нравится солнечный свет, благоприятный дождик и глядеть, как шаловливый ветерок играет кудряшками берез, облаков и красавиц. Мне так и не выдан пока положенный по реестру социалистический паек, и я прошу поторопиться потому, что время мое на исходе. Признаться, столько всякого довольства рисуется впереди, что, когда полностью перекантуюсь на новоселье, непременно попрошусь у коменданта пожить еще недельку в старой моей дыре. Вчерашнего раба тянет повесить над кроватью обтрепанную об его спину плетть, созерцание коей множит ему радость освобождения. Однако Гаврилову мало одного лишь барахла и шоколадно-механических утех, которыми они собираются оплатить мечту несчастных. Не обольщайтесь ложным толкованием в свою пользу, гражданин священник: не веруя ни во что, я желаю получить причитающийся мне эквивалент в самой земной валюте... Кстати, в жизни или на экране не попадался ли вам кинорежиссер такой, Евгений Сорокин?

– Да ведь в кино ходить нам не положено, – вспугнутая вопросом, засуетилась Прасковья Андреевна, – совсем отбились от текущей жизни... Кто таков?

После такого разбега распахнувшемуся фининспектору, значит, не щекотно было раздеваться на людях, которых наполовину уже как бы и нет.

– Довелось мне с ним ознакомиться в бытность мою бухгалтером в ихних кинопалестинах, как раз на гонорарных ведомостях, сидел при самом, так сказать, выходном окошечке из рога изобилия. Деятель этот уже тогда пролетариат воспевал с поминутным упоминанием кого следует, имея за сие годовой доход приблизительно в мой двадцатилетний прожиточный да еще кое-что из сумм, ускользающих от финансового обложения. И чего греха таить, будучи помоложе, то и вздумалось мне в осатанелую минуту поинтересоваться внутренним укладом счастливица. Это теперь, на выходе в классики, он себе машину завел, не утонишься, а в ту пору, пешком-то, полторы недели из личного отпуска я на ознакомление потратил, следом в след за ним ходил. Верите ли, зимние ночи на каменных лестницах караулил впрогон – лишь узнать: чем он там на **хазе** вдохновляется для своих прогрессивных шедевров... Много темной всячинки усмотрел в глубинах артистической души! И заметьте, откуда бы домой ни возвращался, чуть не каждый раз нечто привлекательное с собой приносит: картину старорежимного мастера, отрез на пальто, арбуз, исторический подсвечник. Я же неизменно тащу к ребятишкам кожаную, с цифровой писаниной казенную требуху, которую супруга дальше порога не допускает во избежание заразы. И вот одним снятся недостижимые красавицы либо вид на заграничные горы, также другие лирические мечтания, мне же, чуть глаза смежата, начинается все тот же униженный сюжет, будто стою за дефицитным ширпотребом: детские ботики или что-нибудь жене в подарок и вообще сюрпризного товарца, которого нет-нет да и, как говорится, выкинут нашему брату в продажу, и так до изнеможения. Но не роптал, и даже нравились мне мои душевные лохмотья: сегодня чем пугало рванее, космы по ветру, тем неприступнее оно для эпохальных подозрений, и даже привычка скверная завелась – при выдаче монет иному артисту так подмигнешь, дескать, дожирай свои ананасы с рябчиками, милорд советский, что тот побледнеет от догадки, о чем речь. Пылая от злого геростратного сознания, что не мои, мысленно брожу в дворцах и храмах, музеях и обсерваториях, и вдруг на нетопырьих крыльях взлетаю из трущобы и начинаю крушить тысячелетние клады чужого вдохновения,

пока со скрежетом отчаяния не открыл, что поздно, и на излете жизнь, и на упомянутом пугале пестрые птички гнезда не выют, и старшая дочка подросла, в отца тоже бездарная, и нечего зубами из нержавеющей стали на соседей лязгать. И вот я устаю бунтовать, да и надоело мне вписывать свою фамилию в куполах знаменитых развалин и на крутых горных скалах, чтобы мир мимоходом устрасился героизму Гаврилова, свисавшего с ведерком краски над бездной бытия. Не в излишнем барахле, как у лобастых, нуждаюсь я, не в посмертных почестях, воздаваемых неизвестному солдату, а желаю получить сполна свое, принадлежащее мне, с процентами за весь период пользования биркой моей, и не в перечислении загробного аккредитива на небесах, а сейчас, здесь, немедленно, при публичной коронации под гром артиллерийского салюта и фанфарной музыки, на людной площади, где все они, увенчанные лаврами и в университетских мантиях, прославленные человеколюбцы провозгласят в веках честь и поклонение неизвестному Гаврилову, скорее на бесталанности, чем обездоленности которого зарабатывали хорошо отоваренный куш и бронзовые мемориалы на перекрестках с оживленным транспортным движением. Так что не интронизация Гаврилову требуется, а предметное возмещение его тысячелетних несбывшихся чаяний, хотя уже и вряд ли найдется в мире сомнительная возможность полностью возместить упущенное. Меж тем, я тоже хотел бы принять личное участие в руководстве прогрессом, писать симфонии, лечить рак, добывать умственный огонь людям... Дело, очевидно, в моей ущербной конструкции. Вы мне скажете в ответ, что сгорать надо, так ведь и я не прочь, пускай ворон клюет у меня печенку, когда заблагорассудится, но он мою не хочет, брезгует, тварь помоечная, ему Прометееву подавай. Однако я в претензии не к Советской власти или к начальству и к ближнему, а лишь на совсем иной, коренной источник моих бедствий. Нет, не юродивый и не припадочный я, а просто вопиющий в пустыне, истец к истории, у которого отняли никогда мне и не принадлежавшее. И пока покровительство закона на моей стороне, я вправе провернуть грешные делишки в укор тому, кому обязан своим ничтожеством.

Видимо, в качестве канонического представителя той самой евангельской духовной нищеты неудачник Гаврилов из осторожности безлично замахивался лишь на судьбу, до такой степени обделившую его благами дарований и ума, что ярость становилась источником вдохновения. По существу же, во избежание опасного кощунства в доме священника, жаловался даже не на халатность небесной канцелярии, а кому-то на кого-то повыше. И может быть, именно это обстоятельство надоумило его избрать мишенью Лоскутова как доверенное лицо Всевышнего на земле.

– В вашем присутствии вопрошаю у небес – является ли Гаврилов действительно венцом творения или в качестве второстепенной детали общественного организма – **пятки** — ему до конца дней положено пребывать в кромешных потемках сапога?.. Но, как видите, нет мне ответа.

Напуганный его скороговоркой, о. Матвей все же нашел в себе мужество указать чиновнику основной пункт его заблуждений – не слишком тактично в замешательстве.

– Не будучи осведомлен о деятельности означенного Сорокина, тем не менее хотел бы подчеркнуть общеизвестное преимущество яблони перед горькой осинкой. Вполне равноправные под солнцем, они в обиходе людском почитаются в зависимости от приносимой ими пользы.

– Не кажется ли вам, что своим социально-возмутительным сравнением покушаетесь на самую священную у нас из провозглашаемых истин?

– Напротив, образом яблони стремился только подчеркнуть присущую иным и отсутствующую у прочих способность плодоношения, в просторечии именуемую **талантом**.

Казалось, Гаврилов только и ждал этой искры, чтобы взорваться.

– Пардон, недослышал... кажется, вы упомянули про талант, святой отец? – так и подался он в исступлении к обидчику, что заставило старо-федосеевцев приготовиться к худшему. – Скажите, а вы сами не испытывали потребность вникнуть в морально-юридическое содержание

сего хитрейшего, потому что неотъемлемого, из всех источников собственности, этой неиссякаемой чековой книжки, золотой россыпи единоличного владельца... тем самым разоблачить неравенство в самом оскорбительном для большинства, изначальном его проявлении? Нехорошо выглядят проповедники смирения в стане нищих, за которых обычно вступаются глубокомысленные экономисты в надежде поправить дело в революционной дележке с раздачей по пайкам накопленных знаний и сокровищ. Потому что самые ограбленные природой как раз **нищие духом**, и хотя в утешение им ваши евангелия сулят царство небесное, постараемся растянуть подольше на земле этот спуск в могилу. Если талант есть боль полета над бездной, то, может быть, Гаврилову вчетверо больней, ввиду отсутствия бездны под ногами. Вдобавок, помимо тоски о несодеянных подвигах, Гаврилова гложут бытовые клопы, тараканы и крысы, но он-то и есть та живая, соединительная ткань, по которой вышиваются узоры и розы прогресса. Когда-нибудь ради высшей справедливости и возникает бунт против обожествленного Прометея – расковать его, снять со скалы, отменить, настрого запретив ему дальнейшее страдание, возвысившее его над коленопреклоненной толпой!

К великому устрашению лоскутовского семейства, жаркая толчея смутных, угрозой и желчью приправленных обвинений против явного теперь адресата вылилась в ультимативную программу абсолютного равенства, вплоть до того, что раз зубная боль, то пусть заодно корчатся и другие. Были предъявлены законные права на те высшие, не внятные ему и, возможно, даже неутраченные порывы феноменальных натур, полагающих счастье иной раз в мучительном розыске заведомо бесполезных сокровищ. Похоже, что в разгоне чувств и по невозможности подравнять всех на высший образец Гаврилов требовал от духовной элиты, чтобы во имя собственной сохранности она сама, прилагая все силы для подавления в себе запросов и потребностей, не помышляемых и не доступных для верховного большинства, благоразумно стремилась не только к спасительному эталону посредственности, но и добровольно отрекалась от авторства своих, безымянных отныне, открытий, поскольку производимые ею ценности не могут принадлежать лишь физическому их создателю, но всякому коллективу, питающему их соками своей среды, в чем и должно состоять творческое единство человечества. Ибо личный труд особи уже оплачивается сознанием, что ей предоставляется радость прочесть очередную тайну мироздания, ее руке поручено придать окончательную вещность шедевра, давно и незримо созревавшему в сердце народном... И пусть еще благодарит, сукин сын, за дозволенные ему взлеты ума, сопряженные со смертельным риском срыва, обусловленным высотой падения. Неспроста революции так подозрительны к любимцам муз и мыслей. И так как всякая победа добывается бесчисленными пробами и промахами популяции, то полученный выигрыш становится общим приобретением вида в целом...

Монолог неожиданно завершился провозглашением здравицы передовой науке, разогнавшей мистический туман избранничества над человеком, вернув сынов Божьих на положенный им намест.

Перечисленные идеи были выражены несколько проще, зато хлестче – на том митинговом фальцете, который порою кристаллизуется в программном тезисе. Если Гаврилова так дразнило слово **талант**, то следовало ожидать – при упоминании **гениальности** он захлебнется словами невпопад, вместо того оратор вытер губы несвежим платком и, выдержав паузу, чинно продолжил декларацию.

– Словом, – перешел Гаврилов на доступную для понимания речь, – до предстоящей нам болезненной бухгалтерской процедуры хотелось бы мне, батюшка, обсудить ситуацию начистоту – не для единодушного согласия или там сотрудничества, а чтобы не осталось у вас от меня горького осадка. Лично против вас ничего не имею и, даже напротив, выросши в религиозной семье, рассчитываю на ответную симпатию... Вникнуть в нравственные мотивы моего поведения вам попросту повелевает христианская мораль, если только она не профессиональное пустословие. Евангельские заветы давно вступили в острую борьбу с учением соци-

ализма, который берется воплотить мечту тружеников о зажиточной жизни здесь, на земле, без обязательного переселения в мир иной, где, как вы удачно выразились давеча в молитве, нет ни печали, ни вздыханий, ни потребности вообще. Давайте мужественно взглянем в лицо правде, которая, с одной стороны, сулит полное избавление от житейских, материальных в том числе, невзгод, с другой же – за дальнейшей ненадобностью обрекает на отмирание религию, порожденную людским отчаянием. Кстати, как вы заметили, вторая половина генерального плана по обращению вчерашнего наследия в утиль выполняется успешнее, нежели основная – вследствие кое-каких технических неполадок, отсюда получается досадный временами пере-кос жизни, хотя сие не избавляет духовное сословие от исполнения заповеди Христовой всегда и во всем, если только не в ущерб себе, жертвовать собой во благо ближнего. В таком аспекте возникает каверзный вопрос: имеет ли христианин нравственное право воспротивиться, если сей **ближний** его, тоже семейный гражданин, извлечет из его беды некоторую толику пользы, чтобы не пропадало, как говорится, кошке под хвост? Не наша с вами вина, что во все эпохи двери истины и счастья отпирались разными ключами, не так ли? Однако если под влиянием жизни я стал нынче по-евангельски кроткий человек, то и не надо думать, что и мозгов у него полторы чайной ложки, сколько необходимо твари для полной благонадежности. И раз с загробным царством покончено, то принимайте меня на полное пайковое довольствие с правом на исторический подсвечник и прочие к нему причиндалы, включая умственный аплодисмент за муки сердца, в котором таится ничем не исцеляемая обида – потому что я тоже живу и хочу. Иначе мало ли что может от руки моей свершиться в ближайший выходной вечерок... вроде, например, нагадить в телефонной будке с попутным обращением аппарата в технически-необратимую негодность. Нет, не злоба привела сюда нас с дочкой, а стремление примирить вас с неизбежностью. Сколько соображаю скорбным умишком, глубокоуважаемый поп, нынче в мире творится всемирный экзамен вселенской мечты о золотом веке, и коли осраимся, провалимся, то что останется ему, райскими виденьями отравленному, от мечты раздетому человеку, который станет хуже всякого зверя из бездны, если вовремя той евригенической операции не пресечь? Ему плохо станет, преподобный отец, несдобровать и умам ведущим, которые века гнали его на штурм вершин небесных.

– Все зависит, кого в поводыри выбирать... – вдруг решил возразить о. Матвей, как ни дергала его матушка за рукав, чтоб пуще не сердил разорителя своего, – земными-то средствами экие высоты рази одолеешь? Люди-то не во звере, а во Христе родня...

– Тут особого ума не потребуется понять обступившую нас безысходность, поскольку в сложившейся классовой борьбе уповать вам на пощаду не приходится... и, значит, вам, приговоренным, теперь должно быть все равно, лишь бы скорее! Причем я охотно разделяю ваше горе, но войдите и в мое положение. Вот, глядите, до пенсии еще далеко, а ранний снежок на висках, и астма, и никакой перспективы догнать сослуживцев, вымахнувших в большую служебную знать, да тут уже старшая дочка на выданье, а в **коммуналке** где я их положу? Мог ли я отказаться от редкой удачи выявить целое промышленное предприятие, по небрежности моего предшественника столько лет ускользавшее от налогообложения? Вы в самом деле думаете, что мне, отцу многосемейному, безнравственно в студеную зимнюю ночь мимоходом погреться со своими малютками у ваших затухающих головешек? Повторяю, не надейтесь на поправки, ибо за потачку лишенцам с нашего брата взыскивают порой даже по высшей мерке, а лучше обратитесь в главную инстанцию с жалобой, причем можете не щадить меня, ваш истощный крик только повысит мое классовое рвение в глазах начальства...

– Однако же, **пардон-пардон...** – коснеющим языком и вятским прононсом, машинально оглаживая шею, осведомился о. Матвей, – следует ли нам понимать речь вашу как местную анестезию перед **отрублением** или уже как дружественное напутствие непосредственно перед плахой?

— А ведь уже поздно, милые граждане, пора и совесть знать... — зловеще мирным тоном, на самом кротком регистре ярости возгласил чиновник, — я вам трапезу нарушил, и самого с ужином ждут... Зато уж **деловой** частью не задержу!.. Ввиду истечения сроков для подачи декларации о годичном заработке поторопитесь с внесением платежного аванса, как положено по закону — в размере не меньше трети от предполагаемой, не малой в данном случае, суммы обложения. Так что, согласно инструкции, обязан предупредить, придется мне при исчислении налога исходить не только из совокупности наличных трех **доказанных** источников дохода, то есть чохом со всей семьи как единой артели, с процентной накидкой за счет обычно скрывааемых, хотя по духу закона с целью стимуляции производства полагалось бы взимать даже и с неполученных прибылей, не реализованных от своего ремесла единственно по нерадивости налогоплательщика. Надо примириться, граждане, что классовая борьба начинается с беспорядочного утоления социальной нетерпеливости, невзирая на любые посторонние последствия...

Он, поочередно поглядывая то в потолок, то на окружающие предметы, прикидывал быстрым карандашиком начерно, семь пишем — два в уме, на бумажке всякие коэффициенты и приводящие обстоятельства, и получилось в итоге, что при взносе надо исходить из общего обложения в пределах ста семнадцати тысяч. Любопытно, что названные деньги, по тем временам и для Сорокина весьма немалые, а для Лоскутовых — громадностью своею способные разрыв сердца причинить, теперь в памяти Дуниной, как бы звуковым начертанием цифр, породили одну выюжную ночь в начале зимы, симпатичный синий автомобильчик знаменитого кинодеятеля и ту поистине волшебную поездку с ним через весь город в Старо-Федосеево, когда он, подчиняясь чьей-то подсказке, предложил незнакомой спутнице, втемную, не глядя, купить у нее дымковскую тайну, и таким образом странное совпадение двух сумм становилось для Дуни наставлением к действию. «Продать, продать...» — закричала душа, лишь бы отделаться от гадких гавриловских прикосновений, когда же ее сознание вернулось к действительности, худший вариант концовки уже произошел. Дуня услышала глухой заключительный удар с дребезжанием падающей железки и сразу затем раздирающую тишину.

Так случилось, что все сидели — где кого застигнул разыгравшийся скандал, кроме самого оратора да еще Егора, весь разговор простоявшего в каталептической неподвижности, с опущенной головой и руками вдоль тела. На старенькой, пронесившейся клеенке в поле его зрения оказалась початая буханка черного хлеба и тяжелый кухонный нож, которым глава семьи после краткой трапезной молитвы самолично, по крестьянскому обряду, разрезал ломтями, каждому вручая как причастие. Вряд ли мальчишка видел то, на что глядел, и назначение предмета осознал лишь в последний момент. Он не мог больше выдержать тягучую, вполне негодяйскую декларацию. На прощанье фининспектор предостерег своих клиентов **не мухлевать**, Боже сохрани, не прятать что-либо из имущества, в скором времени подлежащего недоимочной описи. Как только с пожеланием покойной ночи остающимся Гаврилов двинулся к выходу, тут и последовал недостававший ему для решимости волевой толчок — тем в особенности удачный, что без повреждения организма. Все случилось так внезапно, что домашние поняли роковую необратимость происшествия, лишь когда просвистевший мимо гавриловского затылка нож со стонущим дребезгом закачался в дверной филенке. Заслуживало удивленья, как мальчишка, пусть даже в невменяемом состоянии, мог промазать с расстояния восьми — десяти шагов по вполне достаточной, казалось бы, мишени. Не менее примечательно выглядела и выдержка героического теперь фининспектора, как он, весь зеленовато побледневший, невозмутимо коснувшись щеки, обожженной холодком полета, посмотрел себе на пальцы в напрасной надежде обнаружить на них кровь, как медленно затем, высвободив из дерева застрявшее в ней злодейское железо, прятал его, отныне драгоценный талисман его волшебных превращений, в свой, приставленный к ножке **канаве** рыжий портфелишко, причем не сводил улыбчивого взгляда с помертвевшего террориста, как бы приглашая его отнимать убийственную улику, что по меньшей степени вдвое возвысило бы смертельность его служебного подвига в рапорте по началь-

ству... и все качал головой, как бы не веря в свою, по дешевке доставшуюся ему удачу. Не гнев или торжество читались в его осунувшемся лице, а скорее благородная прокурорская печаль об участи обреченных за их преступное родство с юным врагом народа. Самым успокоительным доводом для совести служило неоспоримое обстоятельство, что состоявшееся покушение на жизнь безоружного чиновника при исполнении служебных обязанностей являлось типичной, наиболее караемой в те годы **классовой вылазкой**, таким образом, попадало под юрисдикцию закона о вооруженных актах сопротивления, что было на руку Гаврилову, потому что радикально избавляло его от свидетелей, в минуту душевного упадка допущенных им к себе в **середку**, ибо уже на данном этапе, помимо общественной заботы с санаторным лечением от нравственной травмы, помимо прикрепления к высшему распределителю номенклатурных благ в поощрение проявленного энтузиазма, самый авторитет его подлежал государственной охране от посягательств подполья. В свою очередь, чисто обывательская жалость к поверженным, не оценившим его чистосердечного порыва, уступила место соображениям всемирного блага. Он уже видел себя завтрашнего, усилиями газетных льстецов возведенного в светочи гражданских добродетелей, из коих главная – неподкупность в сочетании с неусыпным искоренением зла в подданных. Если бы сейчас, содрогаясь от спазматических рыданий, покаявшийся отрок, скажем, припал к его коленям, то он, Гаврилов, не отринул его, а наклонившись, разъяснил ребенку, что не имеет к нему претензий в качестве **приватного** лица, но, как представитель власти, не сможет простить ему опрометчивый поступок, способный вызвать подражание среди неустойчивой молодежи. Мог бы хлопнуть дверью и сразу уйти, однако великодушно медлил с уходом, заодно давая срок и родителям осознать серьезность происшествия. Но те взамен должного на их месте внушения своему щенку, желательно с телесным воздаянием, причем и сам Гаврилов посильно помог бы им, тянули, молчали, словно не узнавали сейчас Егора, хотя и меньше других детей любимого в семье за его постоянную замкнутость, послушного и неслышного, без друзей среди сверстников, от которых в школе немало поношений хлебнул за свое происхождение, зато коротал досуг в своем уголке над всякими гаечками да катушками, извлекая из них детскую копейку в подмогу отцу. И оттого, что не бывает всходов без посева, родители охотней приписали бы родовой Ненилиной болезни этот не в меру ранний бунт с безумным броском грудью на подставленное острие.

Но пора было кончать и без того затянувшийся рабочий день. Собираясь в обратный путь без ложного стыда за свой обношенный вид, лучшее доказательство добродетелей при восхождении на общественный небосклон, Гаврилов поочередно приветливо-скорбной усмешкой одарил остающихся хозяев, повергая в содрогание каждого по отдельности.

– Нет-нет, не затрудняйтесь напрасными хлопотами, не пытайтесь меня прослезить... – сказал он завтрашним голосом. И впервые применил наконец-то где-то прочтенное изречение, чей-то программный манифест при вступлении на цезарское место. – Сердце политика глухо к частному горю людскому, его заботит лишь конечное, **итоговое** благо... Кроме того, имейте в виду, что подача жалобы на должностное лицо не приостанавливает уплаты аванса!

Некоторое время по его уходе Лоскутовы находились в полной прострации, как бывает после оглашения приговора. Наступившее в домике со ставнями безмолвие странным образом распространилось на всю прилежащую окрестность – во всяком случае всем навечно запомнился просочившийся к ним в закрытое помещение с окружной железной дороги паровозный вскрик, зловещее напоминание о скором теперь изгнание из Старо-Федосеева. Такая прощальная тоска прозвучала в нем, что все вдруг и невесть зачем ринулись наружу за человеком, уносившим в портфеле их судьбу – матушка на больных ногах резвее прочих.

К ночи ветер стихнул, тучи порассеялись, новорожденный месяц зябко сиял в облачной люльке, знаменуя перемену погоды. В прояснившейся мгле никто не виднелся на тропинке впереди, но еще слышен был с крыльца скрежет гальки под шагами Гаврилова. Такая стылая и чуткая, словно перед заморозком, установилась тишина, что и шепот, несмотря на расстояние,

должен был достигнуть ушей Бога. И тут Прасковья Андреевна на исходе сил прокричала уходящему вдогонку, причем лишь последняя фраза запомнилась Дуне, чтобы через ее дружка достичь моей записной тетрадки:

– Пей, пей захлебку наше горе, не поперхнися! Не попустит, не попустит Господь разбоя твоего на своих сироток... Торопись, уж при пороге твоём стоит!.. – и тут родня подхватила под руки обезумевшую хозяйку.

Вконец утратившие всякую волю к сопротивлению, они не сразу вернулись домой, когда холод погнал их в просыревшие комнаты из-за настежь распахнутых дверей...

Дуня побежала к себе в светелку и бросилась на постель, стремясь сжаться в ничто, в недостижимую для попадания мишень.

По счастью, на скандале не присутствовал Никанор, иначе при его атлетических возможностях могло произойти нечто, осложнившее судьбу Лоскутовых и личную будущность гостипендиата.

## Глава XXII

Не смея высказать вслух свое мнение о произошедшем, Никанор праздно топтался в потемках сеней позади. Не тогда ли и зародилась несколько позже высказанная им мысль, что в преддверии величайших перемен, усыпленные обольщениями цивилизации и слишком оторвавшиеся от природы люди по присущей им беззаботности даже не пытались заблаговременно приучать себя к бездомной непогоде, которая уже готовилась ворваться в их обжитые стены! По праву ближайшего друга семьи Никанор Шамин присутствовал и на семейном совете, состоявшемся в ту же ночь. К сожалению, невзирая на острую нехватку времени, собрание прошло не совсем в деловой обстановке. Никто не вспомнил про ужин, спать разошлись только на рассвете по принятии некоторых срочных решений.

Словно перед чьим-то дальним отъездом, по русскому обычаю, все сидели в бездельном молчанье поодаль от стола и поглядывали украдкой на совсем поникшего главу семьи, как он неверными пальцами оглаживает попеременно то крест нагрудный, то бороду, временами же потерянным взором обводил комнату, похоже в поисках местечка прилечь.

– Чего же мы расселись, молчим ровно при покойнике! – пошевелилась наконец Прасковья Андреевна. – Что делать-то станем?.. Поговори с нами, поп.

Прощальную речь о. Матвей начал горьким фальцетным смешком над чем-то, что разбитое вдребезги валялось теперь под ногами:

– Так-то, милые, кровные мои, докатилось и до нас, видать, приспели и наши сроки. Однажды просыпается душа на стук ночной, опрометью в сени кидается, там стоит безликий гонец, ничего в нем не прочесть, неизвестно чего и брать, а уж пора с ним отправляться. И вдруг рассеивается мираж лихорадочных видений, чего люди намечтали за двадцать-то веков, горьким туманцем претворяется земная сласть, тают на глазах гордые башни со всякими там флагами да астролбиями передовой-то науки и, на поверку, сидит человек по-прежнему на голых песках заправской пустыни, под небом глухим. И поздно, и страшно, уму невмещаемо, и злые волцы рыщут округ вертограда твоего... и поневоле ропот на Бога шевелится в сердце: пошто не вступился, не изгнал, не наказал маленьчко, чтоб метались в жгучей истоме, чревом о камень скреблись от ненасытного зуда, в бездонные пропасти низвергались бы, крича от ужаса и не разбиваясь. А не надо, милые, прочь от себя гоните такие мысли! Как пастырю при обширном стаде управиться без кнута да боли?.. Не она ли вознесла на вершину тот род людской? На конфетке далеко не укажишь, без ней и обойтись легко... значит, не сладость нужна, а необходимость. Видали, как извивается червь порубленный, обоими концами хлещется, тоже поди клянет лопату божественного земледельца... а про то ему невдомек, каково всевышнему-то с нами, за каждым углядеть да потрафить, да грудью, вдобавок, заслонить от врага ночного, коего и назвать страшимся, чтобы в дома своя ненароком не впустить...

Сомнительное красноречие о. Матвея, обусловленное стремлением подвести приемлемую философскую базу под совсем надвинувшийся исторический момент, сравнимый разве только с отрубанием головы, не подтверждает распространенного мнения, будто эшафотная высота несколько расширяет кругозор возведенного на нее мыслителя. Напротив, срочные и безысходные обстоятельства понуждали его прорубаться к истине напрямки, в ущерб точности и невзирая на лица, вернее **лики**, включая и **Того**, кто сейчас бесстрастно взирает на священника из своего угла, освещенного сиянием предпраздничной лампы. Вряд ли ему следовало отнимать у о. Матвея наиболее законное право в его смертный час, тем более что задуманная процедура вовсе не предполагала пересмотр первенства в давно решенной дилемме – победитель – побежденный. По ходу Матвеевой мысли требовалось функционально, к Добру или Злу, отнести боль земную, то есть нелицеприятно, в тайниках разума и на долю мгновенья сопоставить вровень две извечно враждующие стихии – небо и ад, а для пущей объективно-

сти и вообще поподробнее, чем в рамках семинарского курса, даже персонально ознакомиться с самим хозяином Зла, который при всей своей занятости, надо думать, тоже не отказался бы, пускай через посредство полномочного резидента, дабы не повредить рассудок собеседника, потолковать с православным батюшкой о кое-каких проистекающих проблемах. Кстати, догадками своими о происхождении горя на земле о. Матвей никогда с супругой своей наяву не делился, другое дело – доверительные соображения, обоюдно сообщаемые ими в совместных сновидениях. Да и то лишь на ушко высказал ей батюшка однажды сокровеннейшее и, значит, кем следует тотчас подслушанное помышленице – пускай вполглазика, через малую дверную щелочку взглянуть бы на пресловутого Господнего соперника: что за ферт такой и в чем его превосходящее качество, что подобные сверхэпохальные гадости дозволяются ему свыше? Перепуганная матушка даже руками на него тогда замахала, долго ли нечистого проныру и в дом пустить, но, видно, и ей запала в душу крупница недозволенного интереса, так что последующие чрезвычайные события исподволь, подсознательно пока, но уже в равной степени готовили обоих к роковой встрече, коварные следствия которой трудно было заблаговременно предусмотреть.

Наверно, о. Матвей и сам понимал малую свою, в создавшейся крайности, пригодность к роли наставника и вожака, однако никто не посмел прервать его, когда он под предлогом защиты Всевышнего косвенно обвинил его в прямой потачке торжествующему Злу, и только Прасковья Андреевна поторопилась отвести в сторону неуместный при детях разговор.

– Уж ты бы поближе к делу-то, отец! – надтреснуто, словно на исходе души, взмолилась она и образно намекнула в том горьком смысле, что казенные-то бумаги и ночью рыщут, не ведая устали и сна. – Опять же птенчики наставленья твоего ждут, а ты каркаешь им невесть что, ровно с ума свихнулся...

Давние трещинки на благодной старо-федосеевской тишине обнаружились как раз в самом начале заседания, когда его прервало хрипучее вступление Финовеича, который с похмелья нуждался в общении с людьми.

– Тут в самый раз свихнешься... я нынешних-то знаю, ребята доскональные, до последнего гвоздя вылуцат. Абы всю хоромину со злости не спалили!

В сущности ничего обидного не было сказано, и, конечно, при отсутствии отклика он через полминутки и сам удалился бы восвояси, если бы не вмешательство Егора, в тоне которого явственно слышались нотки неприязни и ожесточения, вскоре затем развернувшиеся в показательный семейный скандал.

– Не отвлекайте нас, Финовеич, пожалуйста... – не подымая глаз, совсем тихо попросил он и сорвавшимся голосом обидно прибавил насчет полезности горизонтального отдохновения после принятия алкоголя. – И не мешай отцу, мама, пусть выскажется.

– Слышал его **резолюцию**, Матвейко? – с торжествующим смешком возгласил Финовеич, уже тогда подметивший признаки существеннейших перемен, заключенные в дозволении подростка обессилевшему отцу. – Вот уж и оперился твой птенец, на вылет, вдогонку старшему стремится...

Неизвестно пока, к чему относился тот глупый, в перебранке оброненный намек, но несколько дыханий затем, словно черный ветерок подул, собравшиеся перемолчали с опущенными очами. В следующую минуту Никанор уже отводил под руку, на свою половину, сразу покорившегося ему родителя.

– Смешная ты у меня, Парашенька! – будто ничего и не было, оживился по их уходе Матвей. – Сколько годков тебя знаю, а все та же милая, малость сварливая, потешная моя. Поди, думаешь на меня – бесчувственный, колодка сапожная вместо сердца, а мне, веришь ли, стократ горше собственных переживанья ваши. Вот и собрался давеча одно тайное мое лекарство от печали вам преподнести... проверенное, давно пользую его от вас украдкой. И, значит, помогает, коли живой перед вами сижу. В том оно и состоит, чтобы с бережка пучины за ее

закраины посмелее заглянуть. Оно и жутковато, ибо и мыслью-то долгонько туда достигать, зато уж как представишь, какая тишина утешительная там, на доньшке, враз оно и полегчает, вся земная горесть останется позади. Тут главное примириться с самым страшным, перед чем все остальное мелочь. А подороже-то ничего и не припас я вам на черный день, весь тут, не томите меня понуждением надежды, не отягчайте моей доли. Принимаю попреки ваши за скуку и одиночество ваше без друзей, без просвета к избавленью. Чего греха таить, ино и вздохнешь среди ночи: локотка-то не укусишь, да еще задним числом! Сразу как суматоха началась, вакансию мне предлагали на спирто-водочном заводе, брался один разнорабочим меня устроить... да и позже в трамвайном парке мог устроиться, а виноделы и вагоновожатые наравне с прочими входят в царствие небесное!.. В одном не винюся, кровные мои, что счастья ради вашего от сирого Бога моего не отступился: стыдно было вместе со всеми покидать, да еще не за царство-боярство, а всего-навсего за пряник годишний с прогорклым повидлом... Опять же, эва, дьякон-то! А грех свой перед вами понимая, оттого и не поинтересовался никогда, много ли претерпели за отца своего: спросить боязно было! – И вдруг с пронзительной лаской во взоре, как бывает перед отбытием без возвращения, поочередно вгляделся в сидевших перед ним. – Ну, признавайтесь, напоследок, махонькие человечки, немало поди хлебнули со мною горюшка?

Первая в очереди справа, от лестницы в светёлку, оказалась Дуня:

– Кроме того случая, пожалуй... – простосердечно начала она, и по двум мокрым дорожкам, проступившим на щеках, все догадались про того парня в шароварах, что забавы ради прутиком гонял о. Матвея по кладбищу, – больше-то ничего и не было. Меня все жалеют почему-то, с учительницей однажды, например. Она у нас с **задумкой** была, нащурится вдруг и не докличешься, как со мною. Когда каменный уголь проходили, то сказала про кусочек на столе, что и мы все после всемирной катастрофы однажды сплавимся в черный глянцевиный пласт, пригодный потомкам для отопления или приготовления пищи. «Таким образом, дети, поглощенное нами солнечное тепло не пропадет, а снова выделится в виде полезных, больших и малых калорий». Одна девочка, самая злая в классе, спросила у ней про рабочий класс, войдет ли и он туда же? «Непременно...» – в лицо ей сказала Марья Гавриловна. «И лишенцы в ту же кучу?» – и блестящими глазами покосилась на меня. Все так и замерли, а учителька помашила меня пальцем: «Подойди, дай я поцелую тебя, **неприкасаемая** моя». Ну, тут ее вскоре и перевели от нас куда-то.

– А ты, младшенький, герой подпольного труда... Признавайся, не бывало у тебя охоты побранить родителей, что не через ту дверь, как хотелось бы, на свет Божий вас выпустили? – спросил он, как бы прося прощение за доставшуюся детям долю – хлеб и воду лишенцев.

Почему-то Егор счел необходимым встать для ответа:

– Лично со мною таких переживаний не случалось, – и даже головой тряхнул, потому что воли в обрез хватило побороть в себе невыносимую жалость к отцу. – Разве только во снах бывает... иногда...

– Договаривай, вали дерево, раз подрубленное. Сон все одно что окошко потайное в душу, – словно документа для предъявления в самовысшую инстанцию добивался о. Матвей и кинул мельком странный взгляд в верхний угол, где иконы, всем ли слышно. – Хоть иносказательно намекни, про остальное сами догадаемся...

Но тут, вспомнив о непосредственной цели семейного совета, сама хозяйка решила вмешаться в опасный и неуместный разговор.

– Так я хочу сказать, деточки, пришел конец стариковской нашей опеки, больше на родителей не надейтесь, а ступайте в жизнь собственной дорогой, кому какая глянется, не без добрых людей на свете... – расслабленно, руками кругом поводя, проговорила Прасковья Андреевна, будто прощалась со всем, что оставалось позади, и тут дыхание в ней замкнулось, силы оставили ее.

Всеобщее молчание было ей ответом, причем крайне знаменательно, с опущенной головой и потирая руки по комсомольству своему красноречиво безмолвствовал и Никанор.

– Стоп, не торопися, Параша... – остановил Матвей жену, – смелее откройся нам, Егорушка. Во что метил, умница наша? – и вдруг по молчанию сына догадавшись о чем-то, жестом наугад защитился от так и не высказанной тайны, – понял, понял приговор свой... точка, точка мне!

Здесь-то и пригодилось монументальное спокойствие Никанора Шамина:

– А ну, без паники давайте, духовенство и прочие граждане, – сказал он и осведомился, не хотят ли оные гостей погрознее заодно на семейный шумок приманить. Заодно тоном приказания Никанор Васильевич предложил всем передохнуть часок, чтобы потом, с окрепшими силами продолжить семейное совещание: разошлись без сопротивления. Впрочем, не сразу заметили, что младшие Лоскутовы на время исчезли куда-то, и Дуня вскоре вернулась с огорченным лицом и при обсуждении всяких планов вела себя до крайности странно, в частности старалась соскрести с запястья незримые следы чего-то, затем косилась украдкой – не осталось ли? Егор же затратил тот перерыв на вдруг подступившую надобность выплакаться. В промокшей насквозь курточке, под ледяным дождем метался он, пока при виде возникшего из тьмы вертикального строеньища, отхожего места – выгребной ямы с неотопляемым дощатым коробом над нею – почему-то не надоумился собственной вечной гибелью искупить вину перед семейством. По отцовским понятиям, наложить на себя руки было куда меньшим грехом, чем то, что пришло ему на ум. Над вонючей сортирной дырой бесчувственными губами звал он дьявола, чтобы любой ценой выкупить у него спасенье семьи и совершить обычную в таких случаях сделку. По шероховатому холодку в спине почудилось, что покупатель уже стоит за спиной, но, к чести последнего, тот так и не соблазнился приобрести почти неношенный товар и заодно будущность великого деятеля фактически за бесценок по тем деньгам – то ли из нравственных соображений гнушаясь воспользоваться отчаянием юнца, то ли из сомнительной годности места для заключения сделки. Надо отдать должное и противной стороне, удержавшейся наказать негодника если не огнем небесным, то хотя бы воспалением легких за его предосудительный поступок. Ни в одной из его биографий не упоминалось впоследствии, как, склонясь над зиявшей смрадом дырой, последний раз в жизни обливался он горячими слезами, которые вдруг кончились сами собою, и навсегда.

Вереницей огорчений того памятного вечера, включая и оплаченное и отмененное посещение Мирчудеса, и началось перерождение неустойчивого мальчишеского характера в сторону непреклонного, а в некотором смысле и опаснейшего мужества, какое бывает у побежденных как из примиренья с возможной гибелью, так и из презрения к своему прежнему ничтожеству.

Все были уже в сборе, когда Егор твердой волевой походкой вернулся в дом, и, показательно, никого не удивил им на проходе к своему месту, без определенного адреса и, следовательно, ко всем в равной мере относившийся строгий вопрос – почему не начинают?

– Тебя дожидались, Егорушка, – тотчас пояснила Прасковья Андреевна, и в смиренном тоне ее сквозило если не полное покамест признание его старшинства в делах семейных, то намеренье опереться на него в скором будущем.

– Милые мои детки, не ропщите на Бога, что приходит конец нашему счастью, – заговорила она, – как-нибудь дохлебаем до конца, что на донышке осталось.

Заседание семейного совета началось обсуждением платежных возможностей лоскутовской артели. Сначала прикинули на глазок – сколько выйдет **на бочку**, если вплоть до постельного белья спустить все на толкучке по экстренной цене, но, к немалому конфузу студента, предполагаемой выручки едва хватало на частичную оплату аванса. Правда, вслух при нем остерегались поминать спущенный на проволочке в подполье, за плинтус, неприкосновенный золотой фонд в составе пары обручальных колец, да еще поднятый дедом на нижегородской

ярмарке женский художественной работы перстенок с диким камнем **аламандитом**, помогающим от лихорадки, да предназначенная Дуне в приданое дутая браслетка *porte-bonheur*, еще александровская монетка-полуимпериал... Да и поминать не стоило, потому что за **черный** сбыт перечисленного можно было и вовсе жизни лишиться...

Зашедший на шум Финогеич намекнул было, что самое теперь разлюбозное дело идти спать, а неделечку спустя всучить фининспектору натуральную благодарность, не в денежном исчислении по невозможности купить и как бы при стесненных обстоятельствах – продать Гаврилову за бесценок интересующую тысячную вещь. Разведку Финогеич брал на себя, потолкаться в ихней канцелярии для выяснения нужд, долгов и склонностей, но прежде всего – **пользуется** ли вообще.

– Служилому человеку трудно денежку в зажатый кулак вложить, зато обратно башенным краном не вытянешь!

Матушка лишь головой покачала, дескать, совсем ополоумел могильщик:

– И неповинные-то трясемся сутки сплошь – не открыли бы про нас чего и самим неведомо. Придумал, по своей воле экую тайность, хуже кандалов на себя воскласть. Махонький червячок, а всю душу источит...

– **А наилучше всего**, – продолжала она, – если продажи имущества не миновать, то и Бог с ним, дрожать опротивело, только без казенных рук да не продешевить, и надо поискать в адресном бюро старого дружка, в случае не помер, не пришлет ли добросовестного спекулянта на фамильное добро, такое, как канапе или родовая кунья ротонда, стоградусным морозом не прошибешь, но нынешним барыням и не снилось. И с поклоном вручив Гаврилову сколько есть, пускай даже карманы прошарит.

По очевидной безнадежности других попыток ко спасению, помаячила слегка мыслишка – немедля, сквозь охрану и секретарские рогатки прорваться к Скуднову за пощадой, и не то чтобы Матвей опасался по пустякам тревожить покой сановника на основе их сомнительной, даже анекдотической близости, а просто обострившимся предвиденьем будущего решил сберечь свой единственный, последний шанс до какого-то еще более грозного в веренице эпихальных бедствий.

Нависшая над семьей катастрофа давала и детям равноправие голоса, и так как Дуня решительно отказалась от слова, то отец с приниженной лаской пригласил Егора высказаться на **затронутую тему**:

– Уважь нас чем-нибудь окромя брани, железный наш... Приоткрой тайну молчания твоего! – И по тону застарелой неприязни видно стало, что нелюбимым у родителей мальчик стал задолго до нынешних событий, когда кто-то третий безраздельно, возможно с захватом и Дуниной доли, завладел их привязанностью. И теперь даже по уходе из дому деспотически царил в домике со ставнями, занимал место за вечерним столом с признаками своего незримого обитания и заслонял собою весь прочий мир в глазах стариков.

– Этим я хочу сказать, – как-то наотмашь хлестко пояснил Егор выражение, не собственное местному словарю, – что все мы тут в одну масть и в одинаковой степени **ни в чем не повинны** поровну: двойной клепки наша цель! – и подкрепил свою мысль в качестве оправдательного довода, что брошенный в мучителя нож вряд ли отягчит давно решенную участь старо-федосеевского батюшки.

Трудно представить, что творилось у мальчишки на душе после совершившегося перелома. Бурный процесс формирования личности сказывался прежде всего в строе тугой, пружинно-закрученной речи – при почти спокойном лице и до угасания кротком голосе, в особенностях же когда, сославшись на позднее время, призвал **товарищей по судьбе**, самого себя в первую очередь, воздерживаться в дальнейшем от истерик и прочей **петуховины**. Недоверчивое изумление домашних перед таким преображением худощавого, в общем-то, непосильного паренька вскоре уступило место почтительному и настороженному вниманию, как только

после причудливо построенного вступления ребенок перешел к изложению практической части почти бесчеловечного плана, продиктованного всей совокупностью обстоятельств. Застылаемый старшими детьми от ласки родительской, он рос в тени написанного ему на роду, рано осознал пользу закалки: спал на коротком с покатою крышкой сундуке, босиком среди ночи выходил на снег, всякий раз грозя телу своему жестоко наказать за непослушание, – приучал себя уметь все. Уже в те годы в нем просматривался волевой, плотный и мужественный хозяин, усвоивший от предыдущего поколения навык и способ отменять мифы прошлого. В качестве условия Егор ставил на повестку дня признание абсолютной невозможности выкрутиться из беды без чьих-то чрезвычайных жертв, причем бесстрастным взором обвел присутствующих, в каждом поселяя минутный холодок беспредметного пока ужаса.

Он начал с того, что в условиях бесплодности сопротивления все живое в природе идет иногда на добровольную утрату весьма значительной части для сохранности большего... И вдруг всем стало ясно, что речь идет о ком-то из членов семьи, кто по логике целесообразности принял бы на себя одного убойную силу удара. Вдобавок такая гибель – ради спасения ближних – избавила бы его самого от зрелища их последовательных падений, созерцания коих любящему сердцу горше смерти. И тогда все невольно, заколдованными глазами и как бы издали уже, посмотрели на о. Матвея, который выдал нонешнее смятение свое неожиданно громким, виновато-фальшивым смешком.

План благоразумного мальчика Егора Лоскутова сводился к срочному, якобы без ведома семьи, бесследному исчезновению теперь уже подразумеваемого главного юридического ответчика за артель в полном составе, как грозился Гаврилов, также к ряду отвлекающих затем маневров для предотвращения карательного разгрома. Наиболее правдоподобной, в духе времени, представлялась версия, что оказавшийся низким прожигателем жизни отец подателей заявления бежал с места постоянной милицейской прописки, бросив семью без средств к существованию.

– Надо надеяться, – не без робости, на пробу, с белыми дрожащими губами пошутил Егор, – тамошние старцы-отшельники не откажут в приюте погоревшему коллеге, а у Бога найдется совесть довести впавшего в ничтожество служителя своего до их безопасной землянки...

Дня же через три, как только будет обеспечена географическая Матвеева недоступность, в инстанции поступит коллективное, за подписью покинутых и ограбленных старо-федосеевцев, половчей составленное письмо. Поистине Соломоновой мудростью было бы исполнено послание вождю, написанное детским почерком, о взыскании со сбежавшего родителя, изувера и распутника, алиментов за все истекшее полугодие, хотя бы и проведенное таковым без заработка ввиду почти беспробудного пьянства. Для пушей доказательности полезно будет добавить, будто заодно с похищенными сбережениями семьи пройдоха захватил в дорогу имеющее научную ценность церковное оборудование. Вообще-то неплохо было бы пошибче подчеркнуть личность постыдного иерея, приписав ему не только многократные случаи, под пьяную руку, изгнания плачущих ребятишек на стужу в одних рубашонках, но и вовсе несовместимые с его духовным званием приключения вроде, скажем, предосудительных занятий с двумя одновременно беспаспортными девками-канашками, причем повторным произнесением означенного слова, полукошунственного в домике со ставнями, при лампадах, да еще в присутствии сестренки, автор тем самым настаивал на оставлении его в предлагаемом черновике доноса как выразительную интонацию предельного ожесточения доведенных до отчаяния поповских сироток.

– Жаль, что поздно, а кабы знать заранее, то стоило бы разок показаться на публике в подпитии, – обронил он, имея в виду, что народ поймет и простит, а в большой драке все сгодится впрок для охранения беззащитной святыни. – Весь тот раздел надо будет скрепить показанием официального лица, например, в качестве коменданта, Финогеича, тоже к ужасу своему не раз наблюдавшего преступное, в той бесстыжей компании, распятие рижского пивца

прямо в алтаре, а однажды прямо перед самым богослужением, что особенно ценно для разложения верующих...

По расчетам мальчика, удостоверявшие подлинность документа грамматические ошибки, подозрительно кое-где расплывшиеся кляксы, также перечень наиболее злодейских поступков в ребяческом, по возможности комическом изложении должны были не только смягчить сердце признанного друга детей всех времен, народов и континентов, но и подкупить здравый смысл политика. Наиболее преданные турецким султанам янычарские кадры тоже рекрутировались не из своего населения, а из пришлого и презренного, отрекшегося от родины сброда. При очевидном зверстве то был бы самый верный, потому что наикратчайший выход из уже пылающего здания, если бы удалось быстро убедить в том же отшатнувшихся с ужасом стариков, а Прасковья Андреевна даже рот себе концом шали заткнула, чтоб не кричать.

– По нехватке времени... – шелестяще и по-взрослому жестко заговорил Егор, с этой минуты на себя одного возлагая ответственность за исход дела, и даже глаза его странно раскосились по необходимости обозревать во всю ширь поле боя, – по нехватке времени на коленях умоляю вас, папаша, выслушать мои доводы без родительского проклятия, потому что если вникнуть в глубину возможных последствий, то ведь для вас нет выше счастья, чем благополучие оплакивающей вас родни, – он оборвался на полужизне.

И тогда батюшка сказал ему:

– Что ж ты замолк? Зарубил дерево – руби до конца.

Выяснилось, что смысл задуманного хода заключался не в напрасной попытке отбиться от погони, а напротив – единственно разумным ходом, извернувшись в воздухе цельной стороной, снискать милость распалившихся начальников. В воображении его часто рисовался заоблачный, на горном Алтае, уголок непостижимее, чтоб и на карте не числился – ни туда железной дороги, ни автобуса, а лишь вьется меж диких скал чуть нахоженная тропочка в один козий следок. И при себе только харчей корзиночка на первое время, до людей! Нищета на ходьбу легкая, а где покруче – ветерок попутный подвезет... – То была давняя его тяга – с семьей раствориться в неизвестном направлении, зародившаяся после газетной заметки об утаившихся в сибирской тайге отшельниках, обнаруженных с дозорного самолета и потому возвращенных в законное русло прогресса... Так глубоко запала, что иной раз наяву слышал, как все они там на закате, взявшись за руки, тянут в унисон **свете тихий**, самую задушевную из православных стихир...

План Егора поражал своим многоступенчатым расчетом и, применительно к данному казусу, мог служить образчиком доносной технологии, потому что с участием самых ходовых клавиш газетно-циркулярной пропаганды, разве только кроме политико-шпионажных мотивов, за которые пришлось бы расплачиваться семье в полном составе. Чрезмерно сгущенная живопись в обрисовке беглеца не могла смутить даже интеллектуального адресата, тем более толкнуть на проверку криминальных подробностей, сомнение в их правдивости означало бы, мало сказать, жалость, но и прямую принадлежность к лагерю врага. Плотность их укладки диктовалась как раз стремлением Егора потрясти семейный совет и тем самым быстрее, ради сбереженья драгоценного времени, убедить домашних в безотказности предлагаемой операции. Было уже за полночь, а вступительный заход надлежало предпринять во всяком случае до начала занятий в учреждениях, чтобы известием о побеге налогоплательщика по возможности предотвратить рождение грозной бумаги, убийственное шествие которой могло бы приостановить затем разве только высшее, все не упоминаемое лицо... Кстати, все для той же лучшей доходчивости жестокий доклад свой Егор делал стоя, когда же по окончании его сел, втянув в плечи стриженую, с мальчишеской челкой голову и возвратясь в защитное обличье ребенка, то вследствие исключительной силы впечатления никто не пожалел его самого за жестокость, причиненную себе, а как он втайне ждал всеобщего сочувствия! Затем, по свидетельским показа-

ниям Никанора Шамина, воцарилась тишина, в сравнении с которой якобы безмолвие пустыни показалось бы штормовым, баллов на десяток, прибором.

Вполне естественно, первым полагалось откликнуться самому Матвею, от суждения которого зависело принятие плана, ибо в конечном итоге никто не собирался беспомощного старика из дому выгонять в промен на барахло и обжитые стены.

– Смотри, Параша, как бойко нас с тобою описал... ведь чего и не было, поверишь, – с подергиванием лица заговорил о. Матвей, – местами просто Фукидид какой-то. Он у нас неперменный писатель будет! Псевдоним похлеще избери, да атеизму подпускай погуще. Слезу исторгнешь, кто послабже попадетя. За сердце берет, как он ихнюю середку предугадал! – и даже языком пощелкал восхищенно, как бы благословляя ребенка своего на применяемый во спасение семьи подвиг негодяйства. – Панорама-то неохватная, братцы, панорама мысли какая... – в насильственном оживлении тормозился и восклицал он и то жестом приглашал и жену восхититься, какую детку зубатую вырастили невзначай, то изображал как бы салют сыну, который из пещеры львиной пролагал себе выход ко спасению, то наконец, как в присяге, воздевал руку над головой, знаменуя свою готовность на любой срам и яму. – Да я и сам, братцы, хоть в землю закопаюсь сейчас... Мне абы, повторяю, от Бога моего не отвергаться, а то что я без него – долгополый да в эком ровно капоте дамском, на улице стыдно показаться, ровно ряженный. А краски-то можно и погуще подпустить, ты меня не жалеи... вот только нос не красный у меня, хе-хе, да ведь пьяницы-то и вовсе без носов попадаютя! Давай-давай, вкалывай, меньшенький...

В таких поворотах судьбы поневоле приходится мириться с чьими-то неудобствами, как и со своими, но тут такие, слишком Гефсиманские нотки прозвучали в Матвеевой тираде, как бы хватание, со льдины, за ускользящий в половодье бережок, что Егору никак нельзя стало пропустить их мимо ушей:

– Очень прошу вникнуть в мои слова, папаша... – мягко и настойчиво собрался было он добавить к сказанному нечто более важное, в чем ему помешал Никанор, но тут необходимо вкратце очертить обстановку окончательного возвышения Егора.

После давешних волнений из-за любимой, чуть ли не за члена семейства почитаемой канарейки, Дуня к себе наверх не ушла, но и в разговоре участия не принимала, напротив, резко отказалась высказываться и по второму разу, даже головой затрясла, словно оторванная от собственных, уже, видно, налаживавшихся у ней поисков выхода, вследствие которых, видимо, не ухватила во всем объеме замысел братца, иначе давно убежала бы сама. Однако при внешнем спокойствии все в ней слишком уж напряглось, ежеминутно способное бурно выхлестнуться наружу, и тогда весьма понадобился бы Никанор справиться с ней и в объятиях унести в светелку. Во всяком случае все более неуместным становилось пребывание его при секретнейшем да еще антигосударственном сговоре лишенцев как-никак, с другой же стороны, неприличным выглядел и нейтралитет при виде таких конвульсий, – по необходимости высказать точку зрения, ради соблюдения достоинства в Дуниных же глазах, он и поворчал самую малость, и то вполголоса, насчет преувеличения трудностей, которые в сумме становятся клеветой на эпоху.

Похоже, Егор ревниво ждал от него такого замечанья, потому что тотчас, в одно дыханье предложил отцу воспользоваться присутствием трезвого и объективного наблюдателя, особенно с его богатыми связями в партийно-профсоюзных кругах, для получения от него иных, мало-мальски удовлетворительных решений самозащиты.

Державшая руку Никанора в своей Дуня ощутила, как он вздрогнул от неожиданности.

– Как марксист, обязанный диалектически подходить к действительности... – забормотал было он в попытке отмежеваться, но сбился, стал ссылаться на взаимные противоречия церковной этики и революционной практики, также перекрывающего их второго экономиче-

ского закона и проявил столько ребячьей растерянности, что Дуня одобрительно потискала его вдруг вспотевшие, заметавшиеся пальцы.

В их маленьком мире то было последнее сопротивление. По складу речи и скорбно-прищуренному взгляду куда-то за его пределы, мальчик показался матери выше ростом, сутуловатым, даже старообразным слегка. Голос его западал, вовсе пропадал порою от волнения минуты... но прежде чем сказать главное, на разлуку с отцом, Матвеев преемник по свойству ли загнанных в тупик или ради престижа еще не утвердившейся власти не преминул куснуть побольней неосторожно приблизившуюся руку:

– От лица семьи благодарю, верный друг, за строго научный подход к нашему несчастью, – и блеснул глазами в адрес Никанора Шамина, – и будем надеяться, что, несмотря на помянутый второй закон там, вверху, не проведдают **стороной** о наших тут подпольных махинациях!.. Итак, мне нужно от тебя, отец, немножко внимания и справедливости. В иных условиях на произнесенье каждого моего слова, которые я должен сказать, потребовалась бы неделя... Я краток потому, что у нас нет времени даже на вздохи. При паденье глупый кричит, умный пытается упасть ловчей, чтобы меньше разбиться. Моя вина в том, что раньше всех сообразил, где тут выход... и в классе тоже самые трудные задачки всегда решаю первым... Ну, просто, как конструктор, чутьем предвижу эту, ну, взаимную магнитность шестерен, так сказать, слагающих полезное движение. Я сразу откажусь от своей схемы, если явятся другие, но ты же видишь, время идет, а они молчат, мысленно плачут, ненавидят меня и молчат, потому что никто не гонит тебя, а по своей воле покидаешь нас, хоть и по моей подсказке, потому что скоро будет светать, а я всех хитрее и хуже среди вас. Ведь ты больше жизни любишь их, не правда?.. Тогда скажи начистоту, **хватит** тебя глядеть на разные там превращения твоей любимицы Дуньки?.. Сможешь принять от нас ту единственную выручку, которую мы все здесь можем немедленно тебе предложить?

Смысл сказанного был тот, что никто не толкал старого кормчего за борт, но для спасения корабля у него не оставалось иного выхода, кроме как самому ступить за край, в разыгравшуюся пучину. Главным мотивом жертвы было сохранение кровли – не столько для него самого, скажем, на случай его прощенья, даже не для малолеток с беспомощной вдовой-старухой, как все для того же, переполнявшего собою здешние сны и мысли, чтобы в день чуда мог согреть промерзшие кости у готового очага... Впрочем, еще не поздно было, махнув рукою, отдаться на милость штормовой волны, и вот, в стремление облегчить отцовский выбор, как ни двусмысленно выглядело оно сейчас в сущности своей, Егор мужественно присел сбоку и, поглаживая лежавшие на коленях исколотые мастерские Матвеевы руки, попытался в возможной полноте обрисовать ему поэтапные трудности замышляемого подвига – не то закалял волю старику, не то по внезапному велению совести помогал ему отказаться от его собственного теперь намеренья.

– Не будем закрывать глаза, – сказал он с величайшей любовью, – что дело может обойтись тебе еще дороже, хотя не дешевле и для нас.

Если не рассчитывать на чье-то сверхъестественное вмешательство, о. Матвей обрекал себя на могильное молчание – без весточки домой и тем более тайных навещаний семьи, чтобы по штампу на почтовой марке или промелькнувшей в воротах тени не застукали на государственном обмане.

Заранее можно предположить, что по силе неминуемого появления их скандального послания в столичной печати – для оповещения всемирного человечества о падении христианской веры, наверно, и в глухомани заалтайской найдется доверчивый грамотей, который с молчаливым вызовом бросит газетку на стол перед беглецом, когда тот запустит свою воровскую ложку в миску братских шей... и, возможно, до прихода милиции о. Матвей уже не успеет вскинуть за плечи походную котомку, после чего жизнь покончится и начнется образцовое

житие, где он до гроба, без сроков давности и в поминутном страхе разоблачения станет таскать при себе громающую килу легенды.

Судя по некоторым, опущенным здесь краскам, начитанный в литературе Егор с пользой применил к современности всегда дорогие юношеству образы благородных и многострадальных каторжников, чем хоть в малой степени примирил с собой домашних.

Разговор велся вполголоса, но все равно, все равно – сравнимое разве только с исповедью перед эшафотом, зрелище получалось нестерпимое, временами просто раздражающее, и весьма показательно, поистине диктаторскую речь Егора ни разу теперь не перебил никто по явному бессилию придумать нечто более путное взамен... да уж и некогда становилось сомневаться! И, подчиняясь неумолимой логике решения, тотчас затормошился, пришел в деятельное самодвижение о. Матвей:

– Вот спасибо-то, премного тобою доволен, сыночек, за поддержку твою... И подай тебе Господь чего подобного по отцовству твоему не хлебнуть, спаси Господь... Тогда, чем время терять, лучше в дорогу собираться. Нонче денька прибавилось, легче из дому уходить, впопыхах-то не хотелось бы. Ну-ка, подмогни мне, сыночек... – Впрочем, поднявшись самостоятельно, он сделал было к двери шаткий шажок, другой вслед за ним, словно по палубе и впрямь смертельно накренившегося корабля, но тотчас отказался от своего намерения. – Ой, с чего-то ослабел я, братцы мои... Ишь радуга-то желтая закрутилась! Отойдет сейчас, прилечь бы мне на минутку...

С расставленными ладонями, в поисках опоры, он опустился на краешек подставленной табуретки, а мигом откуда-то взявшийся Финогеич, сноровисто прихватив с подмышек, повлек было его на стоявшее поблизости канапе, но о. Матвей воспротивился, выразив желание устроиться чуть ли не на полу, но вместо того слабым заискивающим голосом осведомился вдруг у полноправного теперь распорядителя здешней жизни, не повредит ли делу, не сорвется ли великая операция, кабы отложить ее ровно на сутки – силенок подкопить, туды-сюды, в баньку напоследок наведаться, чтобы послезавтра уже безотлагательно **смыться** из Старо-Федосеева.

– Теперь успех дела зависит от оперативности покидающего дом погорельца, то есть от быстроты твоих сборов, – значительно пожал плечами Егор, как бы намекая, что в создавшихся обстоятельствах и ввиду бессонной теперь гавриловской ярости любое промедление губительно отразилось бы на успехе плана, целиком рассчитанного на опережение всех ходов противника.

Но здесь кто-то вспомнил про завтрашнее воскресенье, а в нерабочий день казенные бумаги тоже дремлют в своих портфелях. В сущности, за весь вечер то была единственная, правда, подсознательная радость – оттого ли, что уже повитого, оплаканного покойника, лишний срок постоявшего на дому, не так жалко отпускать в могилу. Вроде повеселевшим тоном, по праву бывшего хозяина о. Матвей отдал прощальное распоряжение отправляться по постелям. И опять всех несколько подивило каталептическое Дунино спокойствие, – к себе в светелку поднималась она без всхлипываний, лишь с закушенной губкой да, задерживаясь на иных ступеньках, вся сосредоточенная на каком-то, громадной важности решении, где надежда полностью превозмогала отчаяние. Мать ушла чуть раньше.

Дольше всех с отцом оставался Егор, – вполоборота к нему, с осунувшимся старообразным лицом покачивался он, закрыв глаза и в трепетном ожиданье, что вот-вот произнесут его имя. Не его вина, что судьба вела его к мудрости житейской наикратчайшим путем, минуя фазы человеческого созревания. Так и не состоялась желанная, разгрузочная беседа.

– Ладно, отдохнуть ступай, маленький змий мой... утомился поди? – приласкал его издали о. Матвей. – Ничего, все когда-нибудь минется: и скорбь наша, и самый мир сей, остающийся однажды далеко позади...

Мальчик уходил медленно, но опять отец так и не остановил его. Когда же скрылся за дверью, то оказалось вдруг, если мимолетный упадок сил имел место в действительности, то мольба об отсрочке была всего лишь старицовой хитростью, чему имелись давние причины.

В ту же ночь по исходе семейного совета, когда молодежь разошлась спать, старшие Лоскутовы решили не откладывать в долгий ящик и привести в исполнение главный пункт в плане – бегство недоимщика.

Снаряжение в дальнее скитанье началось сразу, едва затихли шорохи кругом. «Чего их будить: обрекая взрослых на бессонницу, горе самой усталостью своею лишь крепит юный сон!» В отыскавшийся среди пыльной завали в чулане лубяной еще вятских времен кузовок доверху насовали всякую первостепенную необходимость приблизительно в Афинагоровом комплекте, необременительно для пожилого путника, но с придачей горстки конфеток – хозяйкину девочку на глазах у матери убажить, чтоб прочь с постоя не гнали. Весь их последний разговор, состоявший из суетливого взаимного наставленья, велся мысленно, вслух же только и было спрошено – не возьмет ли масла постного четвертинку – глотком подкрепиться в дороге, но одновременно с отказом – «не без крошек люди едят, эва, собаки-то бегают»; велено было не забыть неотложную сапожную снасть с мотком дратвы для первого обзаведенья на месте прибытия. Они помолчали минутку, в которую уложилась вся их совместно прожитая жизнь: и тот палисадничек с деревенскими мальвами, через плетень коего поначалу, взорами покамест, схлестнулись они навечно, и лужайка на кроткой северной речке, где белыми ночами гуляли, небось, сплетя запотевшие пальцы, – и самый миг священный, когда в розовое ушко Парашеньке своей вшепнул магическое словцо – таинственная дверь, откуда на свет вылезают пташки, цветы, разные пчелки и прочая радость бытия...

Для снискания жалости и покровительства, особливо у верующих старушек, решено было уходить в старенькой рясе, выношенной до сходства с крестьянским рядном, и вообще брать на себя что похуже, потому что все едино как в землю, чтоб не жалко; опять же поновее могло еще сгодиться на случай возвращения кое-кого в неминуемых отрепьях. Сверху же надеть – шибко кстати пришелся сохранившийся в сундуке как раз про черный день и на любую непогоду годный, в меру укороченный еще тестев армячок, в семейном просторечии именуемый **полпердончик**, одночасьем на ярмарку скатать, а к нему узковерхий, на манер зимней скуфьи, меховой колпачок, применявшийся покойным иереем для согревания зябнувшей лысины. Космы обрезать Матвей не дался, стриженному да ряженному пуше от сыщиков не отбиться! В предвиденье надвигающейся зимы матушка настоятельно, помимо всего прочего, обрядила супруга в темные, от прошлых времен, валенцы в кожаных обсоюзках собственной же его работы, что в совокупности с остальным снаряжением придавало страннику крайне экзотическую внешность на фоне почти летнего, кабы не знобящий ветерок по временам, розового утра. Когда обрядился, старуха обнаружила, что веревкой опоясался поверх фуфайки в три охвата. «Ты чего, чего, – испугалась, – ай погубить себя удумал?» – «Ах, мать, – отмахнулся путник, – отколе знать, какая снасть требуется в дороге!» Попадья все пыталась обвязать его для тепла шалью, на старушечий манер, крест-накрест с узлом не спине, чтоб не развязывать до самого Алтая, еле отбилась. Полная светлынь стояла в окнах, когда, окончательно управившись, по русскому обычаю присели **посвдеть** в дорогу. Оглушенные внезапностью покамест неосознанного горя, они, похоже, улыбались в молчаливой беседе, что вот, чего опасались, пришла пора досматривать самое неправдоподобное, пожалуй, из своих совместных сновидений. Во избежание лишнего шума прощаться вышли на крыльцо, но здесь приличней отвернуться на минутку от спазма заключительных объятий, столь же запретных для созерцания, как старицовой нагота.

– Ну, всему приходит своя кончина, мать, – сказал о. Матвей и, чего давно у них не случалось, приласкал старуху за подбородок.

– Чудно... куда только не простирается человек, а самонужнейшее – посошок-то дубовенький, так за всю жизнь и не успевает припасти...

– Плетни-то еще не перевелись на Руси, – сквозь слезы посмеялась та, – еще подберешь в дороге!

Они двинулись к воротам. Стояла утренняя рань, непогашенный покачивался фонарь на столбе. Солнце еще не всходило, но громадное при почти безоблачном небе розовое озарение за птицефабрикой сулило добрую погоду на выходной день. Уж приступал к работе веселый дворник: предмайский ветер верховой отряхивал с кладбищенской рощи тяжкую вчерашнюю капель, выдувал рябые озерки с тракта во весь континентальный мах, сгонял к горизонту застоявшиеся облачка – сор ночи и зимы. Шустрые воробышки так и вертелись у него под метлой, дразнили подметалу, а он, обернувшись к хвостунам, задира им на голову пернатую одежду, перстом добирался до просвечивающего тельца, а те с разлету кидались в ближнюю воду, целые радуги брызг подымая встречь. В иное время не было о. Матвеем отрадней зрелища, глаз бы не сводил, заслонясь ладошкой от восходившего солнца, а тут ровно ослеп, захваченный вопросительными раздумьями о покидаемых, и чем дальше, тем страшнее было вслух признаться в них.

Сколько раз ранним зимним вечерком наблюдал он близ кафе да у кино одиноких крашенных девчат Дунина возраста, как, пожимаясь от поземки, форсят они в сквозных чулочках, ножки кажут с тревожной приглядкой по сторонам – то ли подстерегают **купца**, то ли милиции остерегаются: с некоторых пор за такое поведение, порочащее новый светлый мир в глазах иностранцев, всех гулящих девок с наголо обритыми башками вывозят в стоверстную даль Подмосковья, откуда и возвращаются те вприпрыжку, простирая руки к дяденькам в теплых кабинах попутных машин. Безработица, слава богу, кончилась на Руси, но чистки **элементов** оставались, а голод да беда по-прежнему стыда не знают! Единственно оберегало Дунюшку – как ни румянь, ни подкрашивай, все одно некрасивая, разве что молоденькая, лакомая на особый вкус, и в складках могущественной цивилизации уж непременно отыщутся нуждающиеся в обслуживании клиенты с причудами и равновесными изысками. Господин грез никогда не гнушался тощеньким, с цыплячьим тельцем: больше съешь!

В обоих толстых столбах кладбищенских ворот имелось по глубокой нише с ветхой скамеечкой внутри. Оттого, что на склоне лет расставанье не дается сразу, старики без сговора втиснулись и туда на полминутку.

– Ну-ка, посидим напоследок... И ни о чем в жизни не попросила ты у меня. Уж как тебе хотелось разочек по морю прокатиться, а я недогадкой прикидывался. Поп при своем приходе ровно пес на цепи... Вышла бы за косого заместо меня, глядишь, пировала теперь в лимонной роще у моря синего на бережку! – и стыдась поздней неуместной ревности перед разлукой навечно, виновато опустил глаза. – Он и в семинарии до дамского полу сластена был. Помнишь, как он на тебя поглядывал?

– Еще бы: вовек не отмоешься, – откликнулась старуха. – Бывало взглянет – ровно до пят облизал всю.

– Чего задумалась?

– Ровно скворцы согласные сидим, уселися.

– Истинно что твои скворцы... И насчет Скуднова ты не жалеи, таких людей нельзя без дела тормозить. Времена только развиваются, не ровен час чего и похуже приспичит: как кубышка, пусть лежит до поры. Меня не жалеи, без полынки и сенца не бывает. Истинно сказано: вся прах, вся пепел, вся персть. Оно, может, еще и не сгонят вас, если письмо посодействует... а коли обойдется, то и часу в десятом, как дети улягутся, выходи ко мне на крыльцо посидеть... мысленно буду ждать тебя на приступочке.

– В дождь и стужу на руках приползу! – клятвенно кивала старуха.

– За хозяйством само собой приглядывай да парнишку сразу-то в хомут не впрягай, надорвется без одышки, еще мальчик. Слезьми упрасивай, на колени стань, сбереги от описи Вадимовы сапоги... Как ты ему с пустыми-то руками в очи глянешь? И еще: не вздумай попрекать, буде воротится твой любимец, а то навек утратишь. А пуще о Дунюшке разум кровью обливается: такая за нас с тобой сердечко свое в омут житейский кинет. Помнишь, как Сонечка у Достоевского, вместе читали, синим огоньком сгорала без единого попреку! Телом своим прегради ей скользкую дорожку... особенно ежели обернется, что Егора по родству загребут. На худой конец сама умертвися, прикинься, будто угорела, деток от себя облегчи. А Бога не бойся, он свой, войдет в твое положение, простит. На коленки встану, Христом тебя заклинаю, Парашенька, дочку не допускай в лахудры-то, вроде как у пьяницы того, помнишь, в книжке читали? А нашей-то вдвое горше придется. Непременно найдется иной, больших денег не пожалеет, чтоб доверху ее, по самые глазыньки хмельные скверной своей накачать, да по щекам ее потом, поповну-то... за Бога, за Россию, все по щекам, пока пальцы у него не занемеют!..

– Господи, чего ты бормочешь, поп... – крестилась со страху Прасковья Андреевна. – Я и сама еще в силах, чужое постирать могу, если сидя... да и Никашка не допустит, сам убьется и любого за нее зарубит: жалеет он ее...

– Вот и хорошо!.. А то ведь и товару-то в Дуньке на грош, а найдутся на русской-то погорельщине поповной полакомиться, тут девичья слеза приправа к удовольствию, слаще нет. Прости, расшумелся, жалко...

Уж и фонарь погас, одиночные людские фигуры появлялись вдалеке, пора было уходить, а все не получалось. Безветренное, до рези синее небо окраины было такое чистое – ни птицы, ни облачка, ни копотинки в нем, даже возникло сожаление, что за недосугом, видно, так никогда и не насладились досыта рассветной тишиной, потом маневровый гудок с окружной дороги напомнил старикам, что пора и расставаться.

Уходя, Матвей заплакал и махнул рукой торопливо.

– Теперь я полностью укомплектованный бродяга, ни один грабитель не польстится, – подымаясь, пошутил о. Матвей. – А знаешь, Параша, всего повидали, а ведь мы с тобою неплохо пожили, а? Я тебя не обижал.

– Уж чего там, было разок... – с давней девичьей усмешкой подмигнула та и, вдруг сморщась, припала к Матвеевой руке, он же, видно, по профессиональной привычке, покрыл ее темя ладонью.

Гул и дымы помаленьку засоряли пророзовевшую небесную тишину. Можно было там и посуше выбрать, но о. Матвей зачем-то двинулся по самой мокряди, приучая себя к невзгодам странника. Он не оборачивался, чтоб зарубцевать скорей... Когда же оранжевый короб на горбу и осторожная мурмолка над ним бесповоротно скрылись за выступом кладбищенской ограды, Прасковья Андреевна вдовьим жестом оправила головной платок и воротилась в дом топить печь.

С начатками грамоты из закапанной воском Минеи привилась о. Матвею ранняя склонность к одиночеству и размышленьям. От дьячка, пастуха и бондаря, первых наставников детства, чаще всего доставалось пареньку за неприличное, по крестьянскому обиходу, пристрастие ко всяким очевидным бесполезностям. Больше сладостей нравилось ему созерцать праздничное чудо радуги или, оцепенев на лужке, слушать полуденное молчание травы, и даже после женитьбы нередко тянуло о. Матвея побродить босичком по пламенеющим в закате холмам и отмелям. С годами ребячья тяга к несбыточным путешествиям даже усилилась чаем иных стран волшебных, никак не сходных со скудной действительностью, а вера в существование самой совершенной из них определила выбор его профессии. Одно время казалось, что тут оно, рядом, когда же выяснилось истинное расстояние до царства Божьего, стали манить о. Матвея здешние, столбовые, с неизвестностью впереди, дороги человечества. По слухам, именно в стремлении к недостижимому и заключается блаженство мудрых.

Из всех зрительных образов детства глубже всего запали в Матвееву память прежние русские странники, как легкой машистой походкой идут они сквозь житейскую толчею, степенные и опрятные, от всего отрешенные старики, пропахшие берестой и полынькой. Не гнетут их забота и хворость, не горбит имущество стоимостью в медный грош. Солнышком да росами выбеленный азам на плечах, да холстинка на отход души в полупустой котомке и как будто нездешняя, **не наша** пыль на их лаптях – в каком из простых сердец не будили они вздоха благородной зависти?.. Так идут они с вешнего половодья по первый снежок, вникая в происходящие по сторонам великие тайности, именно обыденностью своею сокрытые в природе от постороннего глаза. И все попутное, благое и темное, мнится их бесстрастному глазу игрою одушевленных стихий – гроза и роща под ветром, пожар или ярмарка, – от зорьки до зорьки шагают, благовейным помыслом нацелясь на никому незримые дивные обители с пылающими куполами и башнями розового кирпича, пока не призовут на ночлег сладчайший дымок из попутного селенья, звон вечернего молока о подойник. На каждом дворе стол им и пристанище в обмен на нехитрую, за полночь, повесть о всякой заведомо наивной всячине, тем и драгоценной для души, что вовсе не попадает в сутолоке жизни. Непременно надо для здоровья нации, чтобы кто-то детскими очами, просто так, безотрывно глядел в небо.

С годами старо-федосеевского батюшку стало привлекать странничество как избавление от непосильных под старость житейских обязательств. Близилась пора, когда главное вроде сделано и новое поздно начинать, да и незачем. Уже временами такая осенняя прозрачность наступала в душе, на тыщу верст видать во все стороны и не жаль былых излишеств младости, а только радуешься неведь чему. Как зверя инстинкт общности уводит умирать во мрак и глушь лесные, чтобы падалью своей не омрачать праздник жизни, так и Матвея с некоторых пор потянуло в **пустыню** православного отшельничества с ее классическими приманками, как беседы мудрых с самим собою или сладчайшая печаль уединенья, пресловутое лакомство праведников с последующим счастьем раствориться безбольно в шелесте листвы, щебете птиц, бормотанье ручейка... Мечталось, никому не сказавши однажды, пораньше и налегке выйти из дому в направлении непомышляемой, за горизонтом обыденности, тем в особенности милой страны, что вовсе нет ее на свете. И так брести месяц и год в летний зной и по вешней распутице, также по знобящей прохладке первого заморозка, чтобы инейная травка хрустела под стопой, всякий день до полного устатка. Как привянут ноги, то, сухариком подкрепясь у безвестного родника, забираться на ночлег в придорожный стожок поукромней, но и оттуда, пока не смежата очи, все блуждать мысленным взором по засеянному звездами своду небесному с той жуткой воронкой в зените, куда втягиваются великие и помельче тропки жителей земных.

Между прочим, в намеренья Матвеевы входило посетить заодно прикрытые за вредность, на износ времени пущенные монастырьки, а также отведенные под государственную надобность по наличию надежных крепостных стен, препятствующих утечке узников на волю и потому без допуска паломников, чтоб издаля, сквозь колючую проволоку поклониться почивающим там святителям русским, коих из-за перегрузки кадров не успели вывезти пока в музеи на показ заграничных туристов и просвещение отечественной публики, а пуще всего, в утоление пастырской тоски, вывести в окрестных селеньях, не отрыгнуло ли хоть росточек срубленное под корень древо веры народной. В подобные минуты самозабвенья, с прижатым к груди чужим сапогом, сколь часто мнилось ему – нет ничего веселей, как шагать бездумно встречь жизни во всех ее ипостасях – будь то хмельная свадебная поездуха с алыми лентами на дугах либо запряженные клячей скорбные дроги покойника, помимо родни провожаемого на погост еще не изведавшим хомута любопытствующим жеребеночком на обочине, а равным образом покосные возы с голосистыми девицами поверх духовитого сенца или, скажем, гремучий почтовый тарантас, набитый путниками, принявшими на себя пыльную дорожную страду, но иногда и гонимые на край света колодники, кандалным звоном да унылой песней оглашающие знаменитый каторжный тракт... Надо сказать, мнение отца Матвея о том порожищем

потоке человеческого вещества как наглядном примере равновесного благоустроения Господня не изменилось, даже когда сам оказался в нем. Все же наивные чаянья насчет приключений странничества весьма порассеялись вскоре по выходе в путь. Не подозревал, в частности, что за время долголетнего сиденья на сапожной кадушке самое слово это, вышедшее из обихода, приобрело юридическое значение наказуемого бродяжничества. Видимо, лишь предназначенность старо-федосеевского батюшки для генеральных событий впереди сберегла его от возможных последствий бегства.

Началось с того, что, когда в тревожном опустошении, не смея оглянуться на свою старуху у ворот, торопился исчезнуть из ее поля видимости, вдруг надоумился ознакомиться на прощанье со спящей пока столицей, как-никак городом великих иерархов, которую в сутолоке времени толком так и не повидал. Когда же в отмену маршрута повернул в сторону пустой окраины, едва отшатнувшегося, обдав вонью и матерщиной, обогнал его порожний грузовик. Рукавом отирая с губ солоноватую грязь вчерашней непогоды, незадачливый скиталец озабоченно взирал вослед истинно демонскому коробу на колесах, где с лязгом бултыхались, видать, души человеческие в его железной трубухе.

Тем более жалко было уходить, что после деньков ненастья погода быстро разгуливалась. Пока обнимался напоследок со своей будущей вдовой, в небо без единой облачки, торопясь наверстать упущенное, по-хозяйски выкатилось солнышко. Враз заверещали воробьи, где-то пошли трамваи, и, остановившись обмахнуть испарину с лица, раньше времени ощутил тяжесть котомки со всякой снастью для скитанья по таежным урочищам. Не решаясь своим походным видом привлекать к себе внимание властей на оживившихся площадях, бродил он по переулкам глухим, впитывая впечатления для последующего экономного расходования где-то наедине с самим собой. С особой приглядкой обходил он обреченные церковки уже без осеняющих крестов на дырявых куполах, читал хлипкие бумажки-объявленьица на стенах для познания сокровенной частной жизни современников, в нерешимости постоял у рынка, опасаясь со своим грузом застрять в людской толчее... И самое странное, что никто из прохожих не обращал внимание на вполне экзотическую фигуру уходящего из жизни попа.

Сразу по выходе в мир старо-федосеевский батюшка испытал лишь болезненное облегчение, будто стянули через голову постылый и привычный, видать, к коже присохший комут. Еще кровоточило внутри, зато не нужно было изнуряться за верстаком, гадать о сроках неминуемого когда-нибудь лишения кровли и койки, но вдруг, на пороге полной воли, охватил приступ жаркого малодушия.

Собственно, ни воспетое народом озеро Байкальское, ни привлекательная для туризма гора Эльбрус с видами на окружающую местность никогда не манили о. Матвея, а прославленные монастыри, издавна служившие благовестными маяками православного странничества, к тому времени по надежности стен и уединенности расположения полностью были приспособлены под пересыльные базы и точки долговременного заключения с одновременным обращением колокольной меди на нужды образовавшейся промышленности, также пробуждающихся континентов. Сгоряча придуманная алтайская братия не имела определенного адреса, а по отсутствию конечного пункта следования в проездном документе путник подлежал срочному пресечению по уголовной статье за бродяжничество. И так как спешить было некуда, то представлялось разумнее вместо вокзала побродить сперва, проверить на людях свое новое обличье, притерпеться к нагрузке за спиной. Подобная прогулка без целевого назначения приобрела для о. Матвея тот особый жгучий интерес, какой испытывают путешественники в незнакомой стране, начисто отрешенные от тамошних обязанностей и скорбей. И чуть вступил в людскую, постепенно возрастающую толчею, тотчас его понесла с собою на базар или в учреждение торопившаяся толпа, причем в озабоченной спешке никто вовсе не примечал потешного старика с его экзотической, из прошлого века нагрузкой, что внушало уверенность в успехе предприятия. Для пущей незаметности от милиции шел он по теневой стороне улиц, полупустых в

эту пору, и, чтобы скорее приспособиться к нынешнему положению своему, с каким-то ост-  
реньким любопытством присматривался к окружающей, уже чужой действительности, пытаясь  
увидеть ее новыми глазами, **оттуда,**

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.